А. Фадеев

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА

А. ФАДЕЕВ

Собрание сочинений
в четырех томах

ТОМ 3

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1979

Составление и общая редакция
Ст. Заики

Иллюстрации художника
О. Верейского

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Роман

Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе!
Штыками и картечью проложим путь себе...
Чтоб труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял,
В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!

Песня молодежи

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! Точно изваяние... Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа,— человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это ее отражение в воде,— даже трудно сказать, какая из них прекрасней,— а краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — желтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная,— у людей таких и красок и названий-то нет!..

Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, девушка с черными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в темной воде.

— Нашла время любоваться! И чудная ты, Уля, ей-богу! — отвечала ей другая девушка, Валя, вслед за ней высунувшая на речку чуть скуластое и чуть курносенькое, но очень миловидное свежей своей молодостью и добротой лицо. И, не взглянув на лилию, беспокойно поискала взглядом по берегу девушек, от которых они отбились.— Ау!..

— Ау... ау... уу!..— отозвались на разные голоса совсем рядом.

— Идите сюда!.. Уля нашла лилию,— сказала Валя, любовно-насмешливо взглянув на подругу.

И в это время снова, как отзвуки дальнего грома, послышались перекаты орудийных выстрелов — оттуда, с северо-запада, из-под Ворошиловграда.

— Опять!

— Опять...— беззвучно повторила Уля, и свет, с такой силой хлынувший из глаз ее, потух.

— Неужто они войдут на этот раз! Боже мой! — сказала Валя.— Помнишь, как в прошлом году переживали? И все обошлось! Но в прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, как бухает?

Они помолчали, прислушиваясь.

— Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет,— мне делается так больно, словно все это уже ушло от меня навсегда, навсегда,— грудным волнующимся голосом заговорила Уля.— Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже приучила ее не допускать в себя ничего, что может размягчить ее, и вдруг прорвется такая любовь, такая жалость ко всему!.. Ты знаешь, я ведь только тебе могу говорить об этом.

Лица их среди листвы сошлись так близко, что дыхание их смешивалось, и они прямо глядели в глаза друг другу. У Вали глаза были светлые, добрые, широко расставленные, они с покорностью и обожанием встречали взгляд подруги. А у Ули глаза были большие, темно-карие,— не глаза, а очи, с длинными ресницами, молочными белками, черными таинственными зрачками, из самой, казалось, глубины которых снова струился этот влажный сильный свет.

Дальние гулкие раскаты орудийных залпов, даже здесь, в низине у речки, отдававшиеся легким дрожанием листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались на лицах девушек.

— Ты помнишь, как хорошо было вчера в степи вечером, помнишь? — понизив голос, спрашивала Уля.

— Помню,— прошептала Валя.— Этот закат. Помнишь?

— Да, да... Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, она скучная, рыжая, холмы да холмы, и будто она бесприютная, а я люблю ее. Помню, когда мама еще была здоровая, бывало, она работает на баштане, а я, совсем еще маленькая, лежу себе на спине и гляжу высоко, высоко, думаю, ну как высоко я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в самую высочину? И мне вчера так больно стало, когда мы смотрели на закат, а потом на этих мокрых лошадей, пушки, повозки, на раненых... Красноармейцы идут такие измученные, запыленные. Я вдруг с такой силой поняла, что это никакая не перегруппировка, а идет страшное, да, именно страшное, отступление. Поэтому они и в глаза боятся смотреть. Ты заметила?

Валя молча кивнула головой.

— Я как посмотрела на степь, где мы столько песен спели, да на этот закат, и еле слезы сдержала. А ты часто видела меня, чтобы я плакала? А помнишь, когда стало темнеть?.. Они все идут, идут в сумерках, и все время этот гул, вспышки на горизонте и зарево,— должно быть, в Ровеньках,— и закат такой тяжелый, багровый. Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить... Что-то грозное нависло над нашими душами,— сказала Уля, и мрачный, тусклый огонь позолотил ее очи.

— А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка? — сказала Валя с выступившими на глаза слезами.

— Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали! — сказала Уля.— Но что же делать, что же делать! — совсем другим, детским голоском нараспев сказала она, заслышав голоса подруг, и в глазах ее заблестело озорное выражение.

Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, подхватив в узкую загорелую жменю подол темной юбки, смело вошла в воду.

— Девочки, лилия! — воскликнула выскочившая из кустов тоненькая, гибкая девушка с мальчишескими отчаянными глазами.— Нет, чур моя! — взвизгнула она и, резким движением подхватив обеими руками юбку, блеснув смуглыми босыми ногами, прыгнула в воду, обдав и себя и Улю веером янтарных брызг.— Ой, да

тут глубоко! — со смехом сказала она, провалившись одной ногой в водоросли и пятясь.

Девушки — их было еще шестеро — с шумным говором высыпали на берег. Все они, как и Уля, и Валя, и только что прыгнувшая в воду тоненькая девушка Саша, были в коротких юбках, в простеньких кофтах. Донецкие каленые ветры и палящее солнце, будто нарочно, чтобы оттенить физическую природу каждой из девушек, у той позолотили, у другой посмуглили, а у иной прокалили, как в огненной купели, руки и ноги, лицо и шею до самых лопаток.

Как все девушки на свете, когда их собирается больше двух, они говорили, не слушая друг друга, так громко, отчаянно, на таких предельно высоких, визжащих нотах, будто все, что они говорили, было выражением уже самой последней крайности и надо было, чтобы это знал, слышал весь белый свет.

— ...Он с парашютом сиганул, ей-богу! Такой славненький, кучерявенький, беленький, глазки, как пуговички!

— А я б не могла сестрой, право слово,— я крови ужас как боюсь!

— Да неужто ж нас бросят, как ты можешь так говорить! Да быть того не может!

— Ой, какая лилия!

— Майечка, цыганочка, а если бросят?

— Смотри, Сашка-то, Сашка-то!

— Так уж сразу и влюбиться, что ты, что ты!

— Улька, чудик, куда ты полезла?

— Еще утонете, скаженные!..

Они говорили на том характерном для Донбасса смешанном, грубоватом наречии, которое образовалось от скрещения языка центральных русских губерний с украинским народным говором, донским казачьим диалектом и разговорной манерой азовских портовых городов — Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону. Но как бы ни говорили девушки по всему белу свету, все становится милым в их устах.

— Улечка, и зачем она тебе сдалась, золотко мое? — говорила Валя, беспокойно глядя добрыми, широко расставленными глазами, как уже не только загорелые икры, но и белые колени подруги ушли под воду.

Осторожно нащупывая поросшее водорослями дно одной ногой и выше подобрав подол, так что видны стали края ее черных штанишек, Уля сделала еще шаг и, сильно перегнув высокий стройный стан, свободной рукой подцепила лилию. Одна из тяжелых черных кос с пушистым расплетенным концом опрокинулась в воду и поплыла, но в это мгновение Уля сделала последнее, одними пальцами, усилие и выдернула лилию вместе с длинным-длинным стеблем.

— Молодец, Улька! Своим поступком ты вполне заслужила звание героя союза... Не всего Советского Союза, а, скажем, нашего союза неприкаянных дивчат с рудника Первомайки! — стоя по икры в воде, вытаращив на подругу округлившиеся мальчишеские карие глаза, говорила Саша.— Давай квитку! — И она, зажав между колен юбку, своими ловкими тонкими пальцами вправила лилию в черные, крупно вьющиеся по вискам и в косах Улины волосы.— Ой, как идет тебе, аж завидки берут!.. Обожди,— вдруг сказала она, подняв голову и прислушиваясь.— Скребется где-то... Слышите, девочки? Вот проклятый!..

Саша и Уля быстро вылезли на берег.

Все девушки, подняв головы, прислушивались к прерывистому, то тонкому, осиному, то низкому, урчащему рокоту, стараясь разглядеть самолет в раскаленном добела воздухе.

— Не один, а целых три!

— Где, где? Я ничего не вижу...

— Я тоже не вижу, я по звуку слышу...

Вибрирующие звуки моторов то сливались в одно нависающее грозное гудение, то распадались на отдельные, пронзительные или низкие, рокочущие звуки. Самолеты гудели уже где-то над самой головой, и, хотя их не было видно, точно черная тень от их крыльев прошла по лицам девушек.

— Должно быть, на Каменск полетели, переправу бомбить...

— Или на Миллерово.

— Скажешь — на Миллерово! Миллерово сдали, разве не слыхала сводку вчера?

— Все одно, бои идут южнее.

— Что же нам делать, дивчата? — говорили девушки, снова невольно прислушиваясь к раскатам дальней

артиллерийской стрельбы, которая, казалось, приблизилась к ним.

Как ни тяжела и ни страшна война, какие бы жестокие потери и страдания ни несла она людям, юность с ее здоровьем и радостью жизни, с ее наивным добрым эгоизмом, любовью и мечтами о будущем не хочет и не умеет за общей опасностью и страданием видеть опасность и страдание для себя, пока они не нагрянут и не нарушат ее счастливой походки.

Уля Громова, Валя Филатова, Саша Бондарева и все остальные девушки только этой весной окончили школу-десятилетку на руднике Первомайском.

Окончание школы — это немаловажное событие в жизни молодого человека, а окончание школы в дни войны — это событие совсем особенное.

Все прошлое лето, когда началась война, школьники старших классов, мальчики и девочки, как их все еще звали, работали в прилегающих к городу Краснодону колхозах и совхозах, на шахтах, на паровозостроительном заводе в Ворошиловграде, а некоторые ездили даже на Сталинградский тракторный, делавший теперь танки.

Осенью немцы вторглись в Донбасс, заняли Таганрог и Ростов-на-Дону. Из всей Украины одна Ворошиловградская область еще оставалась свободной от немцев, и власть из Киева, отступавшая с частями армии, перешла в Ворошиловград, а областные учреждения Ворошиловграда и Сталино, бывшей Юзовки, расположились теперь в Краснодоне.

До глубокой осени, пока установился фронт на юге, люди из занимаемых немцами районов Донбасса все шли и шли через Краснодон, меся рыжую грязь по улицам; и казалось, грязи становится все больше и больше оттого, что люди наносят ее со степи на своих чоботах. Школьники совсем было приготовились к эвакуации в Саратовскую область вместе со своей школой, но эвакуацию отменили. Немцы были задержаны далеко перед Ворошиловградом, Ростов-на-Дону у немцев отбили, а зимой немцы понесли поражение под Москвой, началось наступление Красной Армии, и люди надеялись, что все еще обойдется.

Школьники привыкли к тому, что в их уютных квартирах, в стандартных каменных, под этернитовыми крышами домиках в Краснодоне, и в хуторских избах «Пер-

вомайки», и даже в глиняных мазанках на «Шанхае» — в этих маленьких квартирках, казавшихся в первые недели войны опустевшими оттого, что ушел на фронт отец или брат,— теперь живут, ночуют чужие люди: работники пришлых учреждений, бойцы и командиры ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной Армии.

Они научились распознавать все роды войск, воинские звания, виды оружия, марки мотоциклов, грузовых и легковых машин, своих и трофейных. С первого взгляда разгадывали типы танков — не только тогда, когда танки тяжело отдыхали где-нибудь сбоку улицы, под прикрытием тополей, в мареве струящегося от брони раскаленного воздуха, а и когда, подобно грому, катились по пыльному ворошиловградскому шоссе или буксовали по осенним, расползшимся, и по зимним, заснеженным, военным шляхам на запад.

Они уже не только по обличью, а и по звуку различали свои и немецкие самолеты, различали их и в пылающем от солнца, и в красном от пыли, и в звездном, и в черном, несущемся вихрем, как сажа в аду, донецком небе.

— Это наши «лаги» (или «миги», или «яки»),— говорили они спокойно.

— Вон «мессера» пошли!..

— Это «Ю-87» пошли на Ростов,— небрежно говорили они.

Они привыкли к ночным дежурствам по отряду ПВХО, дежурствам с противогазом через плечо на шахтах, на крышах школ, больниц. И никто уже не содрогался сердцем, когда воздух сотрясался от дальней бомбежки и лучи прожекторов, как спицы, скрещивались вдали, в ночном небе над Ворошиловградом, и зарева пожаров вставали то там, то здесь по горизонту или когда вражеские пикировщики среди бела дня обрушивали фугаски на тянувшиеся далеко в степи колонны грузовиков, а потом с воем били из пушек и пулеметов вдоль по шоссе, от которого в обе стороны, как распоротая глиссером вода, разбегались бойцы и кони.

Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни во весь голос на ветру с грузовиков в степи; полюбили летнюю страду среди необъятных пшениц, изнемогающих под тяжестью зерна, задушевные разговоры

и внезапный смех в ночной тиши, где-нибудь в овсяной полове; полюбили долгие бессонные ночи на крыше, когда горячая ладонь девушки, не шелохнувшись, и час, и два, и три покоится в шершавой руке юноши, и утренняя заря занимается над бледными холмами, и роса блестит на серовато-розовых крышах, каплет со свернувшихся осенних листочков акаций прямо на землю в палисаднике, и пахнет загнивающими в сырой земле корнями отвянувших цветов и дымом дальних пожарищ, и петух кричит так, будто ничего не случилось...

И вот этой весной они окончили школу, простились со своими учителями и организациями, и война, точно она их ждала, глянула им прямо в очи.

23 июня наши войска отошли на Харьковском направлении. А 3 июля, как гром, разразилось сообщение по радио, что нашими войсками после восьмимесячной обороны оставлен город Севастополь.

Старый Оскол, Россошь, Кантемировка, бои западнее Воронежа, бои на подступах к Воронежу, 12 июля — Лисичанск. И вдруг хлынули через Краснодон наши отступающие части.

Лисичанск — это было уже совсем рядом. Лисичанск — это значило, что завтра в Ворошиловград, а послезавтра сюда, в Краснодон и «Первомайку», на знакомые до каждой травинки улочки с пыльными жасминами и сиренями, выпирающими из палисадников, в дедов садочек с яблонями, в прохладную, с закрытыми ставенками, хату, где еще висит на гвозде шахтерская куртка отца, как он ее сам повесил, придя с работы, перед тем как идти в военкомат,— в ту самую хату, где материнские теплые, в жилочках, руки вымыли до блеска каждую половицу, и полили китайскую розу на подоконнике, и набросили на стол пахнущую свежестью сурового полотна цветастую скатерку,— может войти, войдет фашист-немец!

За время передышки в городе так прочно, будто на всю жизнь, обосновались очень положительные, рассудительные, всегда все знавшие бритые майоры-интенданты. Они с веселыми прибаутками перекидывались с хозяевами в карты, покупали на базаре соленые кавуны, охотно объясняли положение на фронтах и при случае даже не щадили консервов для хозяйского борща. В клубе имени Горького при шахте № 1-бис и в клубе

имени Ленина в городском парке всегда крутилось много лейтенантов, любителей потанцевать, веселых и не то обходительных, не то озорных — не поймешь. Лейтенанты то появлялись в городе, то исчезали, но всегда наезжало много новых, и девушки так привыкли к их постоянно меняющимся загорелым мужественным лицам, что все они казались уже одинаково своими.

И вдруг их сразу никого не стало.

На станции Верхнедуванной, этом мирном полустанке, где, возвращаясь из командировки или поездки к родне или на летние каникулы после года учения в вузе, каждый краснодонец считал себя уже дома,— на этой Верхнедуванной и по всем другим станцийкам железной дороги на Лихую — Морозовскую — Сталинград грудились станки, люди, снаряды, машины, хлеб.

Из окон домиков, затененных акациями, кленочками, тополями, слышался плач детей, женщин. Там мать снаряжала ребенка, уезжавшего с детским домом или школой, там провожали дочь или сына, там муж или отец, покидавший город со своей организацией, прощался с семьей. А в иных домиках с закрытыми наглухо ставнями стояла такая тишина, что еще страшнее материнского плача,— дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха-мать, проводив всю семью, опустив черные руки, неподвижно сидела в горнице, не в силах уже и плакать, с железною му́кою в сердце.

Девушки просыпались утром под звуки дальних орудийных выстрелов, ссорились с родителями,— девушки убеждали родителей уезжать немедленно и оставить их одних, а родители говорили, что жизнь их уже прошла, а вот девушкам-комсомолкам надо уходить от греха и беды,— девушки наскоро завтракали и бежали одна к другой за новостями. И так, сбившись в стайку, как птицы, изнемогая от жары и неприкаянности, они то часами сидели в полутемной горенке у одной из подруг или под яблоней в садочке, то убегали в тенистую лесную балку у речки, в тайном предчувствии несчастья, какое они даже не в силах были охватить ни сердцем, ни разумом.

И вот оно разразилось.

— Ворошиловград уже, поди, сдали, а нам не говорят! — резким голосом сказала маленькая широколицая девушка с остреньким носом, блестящими, гладкими,

точно приклеенными, волосами и двумя короткими и бойкими, торчащими вперед косицами.

Фамилия этой девушки была Вырикова, а звали ее Зиной, но с самого детства никто в школе не звал ее по имени, а только по фамилии: Вырикова да Вырикова.

— Как ты можешь так рассуждать, Вырикова? Не говорят — значит, еще не сдали,— сказала Майя Пегливанова, природно смуглая, как цыганка, красивая черноокая девушка, и самолюбиво поджала нижнюю полную своевольную губку.

В школе, до выпуска этой весной, Майя была секретарем комсомольской организации, привыкла всех поправлять и всех воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы всегда все было правильно.

— Мы давно знаем все, что ты можешь сказать: «Девочки, вы не знаете диалектики!» — сказала Вырикова так похоже на Майю, что все девушки засмеялись.— Скажут нам правду, держи карман пошире! Верили, верили и веру потеряли! — говорила Вырикова, посверкивая близко сведенными глазами и, как жучок — рожки, воинственно топыря свои торчащие вперед острые косицы.— Наверно, опять Ростов сдали, нам и тикать некуда. А сами драпают! — сказала Вырикова, видимо, повторяя слово, которое она часто слышала.

— Странно ты рассуждаешь, Вырикова,— стараясь не повышать голоса, говорила Майя.— Как можешь ты так говорить? Ведь ты же комсомолка, ты ведь была пионервожатой!

— Не связывайся ты с ней,— тихо сказала Шура Дубровина, молчаливая девушка постарше других, коротко остриженная по-мужски, безбровая, с диковатыми светлыми глазами, придававшими ее лицу странное выражение.

Шура Дубровина, студентка Харьковского университета, в прошлом году, перед занятием Харькова немцами, вернулась в Краснодон к отцу, сапожнику и шорнику. Она была года на четыре старше остальных девушек, но всегда держалась их компании; она была тайно, по-девичьи, влюблена в Майю Пегливанову и всегда и везде ходила за Майей,— «как нитка за иголкой», говорили девушки.

— Не связывайся ты с ней. Коли она уже такой колпак надела, ты ее не переколпачишь,— сказала Шура Дубровина Майе.

— Все лето гоняли окопы рыть, сколько на это сил убили, я так месяц болела, а кто теперь в этих окопах сидит? — не слушая Майи, говорила маленькая Вырикова.— В окопах трава растет! Разве не правда?

Тоненькая Саша с деланным удивлением приподняла острые плечи и, посмотрев на Вырикову округлившимися глазами, протяжно свистнула.

Но, видно, не столько то, что говорила Вырикова, сколько общее состояние неопределенности заставляло девушек с болезненным вниманием прислушиваться к ее словам.

— Нет, в самом деле, ведь положение ужасное? — робко взглядывая то на Вырикову, то на Майю, сказала Тоня Иванихина, самая младшая из девушек, длинноногая, почти девочка, с крупным носом и толстыми, заправленными за крупные уши прядями темно-каштановых волос. В глазах у нее заблестели слезы.

С той поры как в боях на Харьковском направлении пропала без вести ее любимая старшая сестра Лиля, с начала войны ушедшая на фронт военным фельдшером, все, все на свете казалось Тоне Иванихиной непоправимым и ужасным, и ее унылые глаза всегда были на мокром месте.

И только Уля не принимала участия в разговоре девушек и, казалось, не разделяла их возбуждения. Она расплела замокший в реке конец длинной черной косы, отжала волосы, заплела косу, потом, выставляя на солнце то одну, то другую мокрые ноги, некоторое время постояла так, нагнув голову с этой белой лилией, так шедшей к ее черным глазам и волосам, точно прислушиваясь к самой себе. Когда ноги обсохли, Уля продолговатой ладошкой обтерла подошвы загорелых по высокому суховатому подъему и словно обведенных светлым ободком по низу ступней, обтерла пальцы и пятки и ловким привычным движением сунула ноги в туфли.

— Эх, дура я, дура! И зачем я не пошла в спецшколу, когда мне предлагали? — говорила тоненькая Саша.— Мне предлагали в спецшколу энкаведе,— наивно разъясняла она, поглядывая на всех с мальчишеской беспечностью,— осталась бы я здесь, в тылу у немцев,

вы бы даже ничего не знали. Вы бы тут все как раз зажурились, а я себе и в ус не дую. «С чего бы это Сашка такая спокойная?» А я, оказывается, здесь остаюсь от энкаведе! Я бы этими дурачками из гестапо,— вдруг фыркнула она, с лукавой издевкой взглянув на Вырикову,— я бы этими дурачками вертела, как хотела!

Уля подняла голову и серьезно и внимательно посмотрела на Сашу, и что-то чуть дрогнуло у нее в лице: то ли губы, то ли тонкие, причудливого выреза ноздри.

— Я без всякого энкаведе останусь. А что? — сердито выставляя свои рожки-косицы, сказала Вырикова.— Раз никому нет дела до меня, останусь и буду жить, как жила. А что? Я учащаяся, по немецким понятиям вроде гимназистки: все ж таки они культурные люди, что они мне сделают?

— Вроде гимназистки?! — вдруг вся порозовев, воскликнула Майя.

— Только что из гимназии, здрасте!

И Саша так похоже изобразила Вырикову, что девушки снова рассмеялись.

И в это мгновение тяжелый страшный удар, потрясший землю и воздух, оглушил их. С деревьев посыпались жухлые листки, древесная пыль с коры, и даже по воде прошла рябь.

Лица у девушек побледнели, они несколько секунд молча глядели друг на друга.

— Неужто сбросил где-нибудь? — спросила Майя.

— Они ж давно пролетели, а новых не слыхать было! — с расширенными глазами сказала Тоня Иванихина, всегда первая чувствовавшая несчастье.

В этот момент два взрыва, почти слившихся вместе,— один совсем близкий, а другой чуть запоздавший, отдаленный,— потрясли окрестности.

Словно по уговору, не издав ни звука, девушки кинулись к поселку, мелькая в кустах загорелыми икрами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Девушки бежали по выжженной солнцем и вытоптанной овцами и козами настолько, что пыль взбивалась из-под ног, донецкой степи. Казалось невероятным, что их только что обнимала свежая лесная зелень. Балка,

где протекала река с тянувшейся по ее берегам узкой полосой леса, была так глубока, что, отбежав триста — четыреста шагов, девушки не могли уже видеть ни балки, ни реки, ни леса,— степь поглотила все.

Это не была ровная степь, как астраханская или сальская,— она была вся в холмах и балках, а далеко на юге и на севере вздымалась высокими валами по горизонту, этими выходами на поверхность земли крыльев гигантской синклинали, внутри которой, как в голубом блюде, плавал раскаленный добела воздух.

То там, то здесь по изборожденному лицу этой выжженной голубой степи, на холмах и в низинах, виднелись рудничные поселки, хутора среди ярко- и темно-зеленых и желтых прямоугольников пшеничных, кукурузных, подсолнуховых, свекловичных полей, одинокие копры шахт, а рядом — высокие, выше копров, темно-голубые конусы терриконов, образованных выброшенной из шахт породой.

По всем дорогам, связывавшим между собой поселки и рудники, тянулись группы беженцев, стремившихся попасть на дороги на Каменск и на Лихую.

Отзвуки дальнего ожесточенного боя, вернее — многих больших и малых боев, шедших на западе и северозападе и где-то совсем уже далеко на севере, были явственно слышны здесь, в открытой степи. Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными облаками лежали то там, то здесь по горизонту.

Девушкам, едва они выбежали из лесной балки, прежде всего бросились в глаза три новых очага дыма — два ближних и один дальний — в районе самого города, еще не видного за холмами. Это были серые слабые дымки, медленно рассеивавшиеся в воздухе, и, может быть, девушки даже не обратили бы на них внимания, если бы не эти взрывы и не терпкий, как бы чесночный запах, все более чувствовавшийся по мере того как девушки приближались к городу.

Они взбежали на круглый холм перед поселком Первомайским, и глазам их открылись и самый поселок, разбросанный по буграм и низинам, и шоссе из Ворошиловграда, пролегавшее здесь по гребню длинного холма, отделявшего поселок от города Краснодона. По всему видному отсюда протяжению шоссе густо шли воинские части и колонны беженцев и, обгоняя их, неистово

ревя клаксонами, мчались машины — обыкновенные гражданские и военные, раскрашенные под зелень, побитые и пыльные, машины грузовые, легковые, санитарные. И рыжая пыль, вновь и вновь взбиваемая этим множеством ног и колес, витым валом стояла в воздухе на всем протяжении шоссе.

И тут случилось невозможное, непостижимое: железобетонный копер шахты № 1-бис, могучий корпус которого один из всех городских строений виден был по ту сторону шоссе, вдруг пошатнулся. Толстый веер взметенной ввысь породы на мгновение закрыл его, и новый страшный подземный удар, гулом раскатившийся по воздуху и где-то под ногами, заставил девушек содрогнуться. А когда все рассеялось, никакого копра уже не было. Темный, поблескивающий на солнце конус гигантского террикона неподвижно стоял на своем месте, а на месте копра клубами вздымался грязный желто-серый дым. И над шоссе, и над взбаламученным поселком Первомайским, и над невидным отсюда городом, над всем окружающим миром стоял какой-то слитный протяжный звук, точно стон, в котором чуть вплескивали далекие человеческие голоса,— то ли они плакали, то ли проклинали, то ли стонали от муки.

Все это: мчащиеся машины, и идущие непрерывным потоком люди, и этот взрыв, потрясший небо и землю, и исчезновение копра,— все это одним мгновенным, страшным впечатлением обрушилось на девушек. И все чувства, что стеснились в их душах, вдруг пронизало одно невыразимое чувство, более глубокое и сильное, чем ужас за себя,— чувство разверзшейся перед ними бездны конца, конца всему.

— Шахты рвут!.. Девочки!..

Чей это был вопль? Кажется, Тони Иванихиной, но он точно вырвался из души каждой из них:

— Шахты рвут!.. Девочки!..

Они больше ничего не сказали, не успели, не смогли сказать друг другу. Группа их сама собой распалась: большинство девушек побежало в поселок, по домам, а Майя, Уля и Саша побежали ближней тропинкой через шоссе в город, в райком комсомола.

Но в ту самую секунду, как они, не сговариваясь, распались на две группы, Валя Филатова вдруг схватила любимую подругу за руку.

— Улечка! — сказала она робким, униженным, просящим голосом.— Улечка! Куда ты? Идем домой...— Она запнулась.— Еще что случится...

А Уля круто, всем корпусом обернулась к ней и молча взглянула на нее,— нет, даже не на нее, а как бы сквозь нее, в далекую-далекую даль, и в черных глазах ее было такое стремительное выражение, будто она летела,— должно быть, такое выражение глаз бывает у летящей птицы.

— Обожди, Улечка...— сказала Валя умоляющим голосом и притянула ее за руку, а другой, свободной рукой быстро вынула лилию из черных вьющихся волос Ули и бросила на землю.

Все это произошло так быстро, что Уля не только не успела подумать, зачем Валя сделала это, но просто не заметила этого. И вот они, не отдавая себе в том отчета, за все время их многолетней дружбы впервые побежали в разные стороны.

Да, трудно было поверить, что все это правда, но когда три девушки во главе с Майей Пегливановой пересекли шоссе, они убедились в этом своими глазами: рядом с гигантским конусовидным терриконом шахты № 1-бис уже не было стройного красавца копра со всеми его могучими подъемными приспособлениями, только желто-серый дым всходил клубами к небу, наполняя все вокруг невыносимым чесночным запахом.

Новые взрывы, то более близкие, то отдаленные, потрясали землю и воздух.

Кварталы города, примыкавшие к шахте № 1-бис, были отделены от центра города глубокой балкой с протекающим по дну ее грязным, заросшим осокой ручьем. Весь этот район, если не считать балки с лепящимися по ее склонам вдоль ручья глинобитными мазанками, был, как и центр города, застроен одноэтажными каменными домиками, рассчитанными на две-три семьи. Домики крыты были черепицей или этернитом, перед каждым был разбит палисадник — частью под огородом, частью в клумбах с цветами. Иные хозяева вырастили уже вишни, или сирень, или жасмин, иные высадили рядком, внутри, перед аккуратным крашеным заборчиком, молодые акации, кленочки. И вот среди этих аккуратных домиков и палисадников теперь медленно текли колонны рабочих, служащих, мужчин и жен-

щин, перемежаемые грузовиками с имуществом предприятий и учреждений Краснодона.

Все так называемые «неорганизованные жители» высыпали из своих домиков. С выражением страдания, а то и любопытства одни смотрели из своих палисадников на уходящих, другие тащились по улицам вдоль колонн, с узлами и мешками, с тачками, где среди семейного добра сидели малые дети,— иные женщины несли младенцев на руках. Подростки, привлеченные взрывом, бежали к шахте № 1-бис, но там стояла цепь милиционеров и не пускала. А навстречу катился поток людей, бежавших от шахты, в который вливались с улочки, со стороны рынка, разбегавшиеся женщины-колхозницы с корзинами и тачками с зеленью и снедью, повозки, запряженные лошадьми, и возы, запряженные волами.

Люди в колоннах шли молча с сумрачными лицами, сосредоточенными на одной думе, настолько поглотившей их, что, казалось, люди в колоннах даже не замечают того, что творится вокруг. И только шагавшие обок руководители колонн то останавливались, то забегали вперед, чтобы помочь пешим и конным милиционерам навести порядок среди беженцев, запрудивших улицы и мешавших движению колонн.

Женщина в толпе перехватила Майю за руку, и Саша Бондарева тоже остановилась возле них, а Уля, стремившаяся только как можно скорее попасть в райком, бежала дальше вдоль заборов, грудью налетая на встречных, как птица.

Зеленый грузовик, с ревом выползший из-за поворота из балки, откинул Улю вместе с другими людьми к палисаднику одного из стандартных домиков. Если бы не калитка, Уля сбила бы с ног небольшого роста, белокурую, очень изящно сложенную, как выточенную, девушку со вздернутым носиком и прищуренными голубыми глазами, стоявшую у самой калитки, между двух свисавших над ней пыльных кустов сирени.

Как ни странно это было в такой момент, но, налетев на калитку и едва не сбив эту девушку, Уля в каком-то мгновенном озарении увидела эту девушку кружащейся в вальсе. Уля слышала даже музыку вальса, исполняемую духовым оркестром, и это видение

вдруг больно и сладко пронзило сердце Ули, как видение счастья.

Девушка кружилась на сцене и пела, кружилась в зале и пела, она кружилась до утра со всеми без разбора, она никогда не уставала и никому не отказывала покружиться с ней, и голубые ее глаза, ее маленькие ровные белые зубы сверкали от счастья. Когда это было? Это было, должно быть, перед войной, это было в той жизни, это было во сне.

Уля не знала фамилии этой девушки, все звали ее Люба, а еще чаще — Любка. Да, это была Любка, «Любка-артистка», как иногда называли ее мальчишки.

Самое поразительное было то, что Любка стояла за калиткой среди кустов сирени совершенно спокойная и одетая так, точно она собирается идти в клуб. Ее розовое личико, которое она всегда оберегала от солнца, и аккуратно подвитые и уложенные валом золотистые волосы, маленькие, словно выточенные из слоновой кости руки с блестящими ноготками, будто она только что сделала маникюр, и маленькие стройные полные ножки, обутые в легкие кремовые туфельки на высоких каблуках,— все это было такое, точно Любка вот-вот выйдет на сцену и начнет кружиться и петь.

Но еще больше поразило Улю то необыкновенно задиристое и в то же время очень простодушное и умное выражение, которое было в ее розовом, с чуть вздернутым носиком лице, в полных губах немного большого для ее лица, нарумяненного рта, а главное — в этих прищуренных голубых, необыкновенно живых глазах.

Она, как к чему-то совершенно естественному, отнеслась к тому, что Уля едва не выломила перед ней калитку, и, не взглянув на Улю, продолжала спокойно и дерзко смотреть на все, что происходило на улице, и кричала черт знает что.

— Балда! Ты что ж людей давишь?.. Видать, сильно у тебя заслабила гайка, коли ты людей не можешь переждать! Куда? Куда?.. Ах ты, балда — новый год!— задрав носик и посверкивая голубыми в пушистых ресницах глазами, кричала она водителю грузовика. Водитель, как раз для того, чтобы люди схлынули, застопорил машину напротив калитки.

Грузовик был полон имущества милиции под охраной нескольких милиционеров.

— Вон вас сколько поналазило, блюстители! — обрадовавшись этому новому поводу, закричала Любка.— Нет того, чтобы народ успокоить, сами — фьюить!..— И она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка.

— И чего звонит, дура! — обиженный этой явной несправедливостью, огрызнулся с грузовика милицейский начальник, сержант.

Но, видно, он сделал это на беду себе.

— А, товарищ Драпкин! — приветствовала его Любка.— Откуда это ты выискался, красный витязь?

— Замолчишь ты или нет?..— вспылил вдруг «красный витязь», сделав движение, будто хочет выпрыгнуть.

— Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать! — не повышая голоса и нисколько не сердясь, сказала Любка.— Счастливого пути, товарищ Драпкин! — И она небрежным мягким движением своей маленькой руки напутствовала побагровевшего от ярости, но действительно так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицейского начальника.

Человек со стороны, слыша такие ее высказывания, при этой ее внешности и при том, что она спокойно оставалась на месте, когда все вокруг бежало, мог бы принять ее за злейшую «контру», поджидающую немцев и издевающуюся над несчастьем советских людей, если бы не это простодушное детское выражение в ее голубых глазах и если бы ее реплики не были направлены большей частью тем людям, которые их действительно заслужили.

— Эй ты, в шляпе! Гляди-ка, сколько на жинку навалил, а сам пустой идешь! — кричала она.— Жинка у тебя вон какая маленькая. Еще шляпу надел!.. Горе мне с тобой!..

— Ты что, бабушка, под шумок колхозные огурцы ешь? — кричала она старухе на возу.— Думаешь, советская власть уходит, так уже тебе и не отчитаться ни перед кем? А бог на небе? Он, думаешь, не видит? Он все видит!..

Никто не обращал на ее реплики внимания, и она не могла не видеть этого,— похоже было, что она восстанавливает справедливость для собственного развлечения. Ее бесстрашие и спокойствие так понравились Уле,

что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и обратилась прямо к ней.

— Люба, я комсомолка с Первомайки, Ульяна Громова. Скажи мне, с чего все это началось?

— Обыкновенно...— охотно ответила Любка, дружелюбно обратив свои голубые сияющие и дерзкие глаза на Улю.— Наши оставили Ворошиловград, оставили еще на заре. Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям...

— А райком комсомола? — упавшим голосом спросила Уля.

— Ты что, облезлый, девчонку бьешь? У, злыдень! Вот выйду, наподдам тебе! — тоненьким голоском завопила Любка какому-то мальчишке в толпе.— Райком комсомола? — переспросила она.— Райком комсомола, он, как и полагается, в авангарде, он еще на заре выехал... Ну что ты, девушка, глаза вылупила? — сердито сказала она Уле. Но вдруг, взглянув на Улю и поняв, что происходило в ее душе, улыбнулась: — Я шутю, шутю... Ясно, приказали ему, вот он и выехал, не сбежал. Ясно тебе?

— А как же мы? — вдруг вся переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля.

— А ты, стало быть, тоже уезжай. Команда такая еще с утра дана. Где ж ты была с утра?

— А ты? — в упор спросила Уля.

— Я?..— Люба помолчала, и умное лицо ее вдруг приняло постороннее, безразличное выражение.— А я еще посмотрю,— сказала она уклончиво.

— А ты разве не комсомолка? — настойчиво спрашивала Уля, и ее большие черные глаза с сильным и гневным выражением на мгновение встретились с прищуренными, настороженными глазами Любки.

— Нет,— сказала Любка, чуть поджав губы, и отвернулась.— Папка! — вскрикнула она и, распахнув калитку, побежала на своих высоких каблучках навстречу группе людей, которые, заметно выделяясь среди толпы, испуганно и с каким-то неожиданным почтением расступавшейся перед ними, шли сюда, к дому.

Впереди шли директор шахты № 1-бис Валько, плотный, бритый мужчина лет пятидесяти, в пиджаке и сапогах, с лицом мрачным и черным, как у цыгана, и известный всему городу знатный забойщик той же

шахты Григорий Ильич Шевцов. За ними шло еще несколько шахтеров и двое военных. А позади, на некотором расстоянии, катилась сборная, из разных людей, толпа любопытных: даже в самые необычные и тяжелые моменты жизни среди людей находится известное число просто любопытных.

Григорий Ильич и другие шахтеры были в спецовках с откинутыми башлыками. Вся их одежда, лица, руки были в угле. Один из них нес через плечо тяжелый моток электрического кабеля, другой — ящик с инструментами, а в руках у Шевцова был какой-то странный металлический аппарат с торчащими из него концами обнаженного провода.

Они шли молча и точно боясь встретиться глазами с кем-либо из толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды, катился по их измазанным углем лицам. И лица их были такие измученные, точно эти люди несли на себе непомерную тяжесть.

И Уля вдруг поняла, почему все на улице загодя испуганно расступались перед ними,— вся дорога была перед ними свободна. Это были люди, которые собственными руками взорвали шахту № 1-бис — гордость Донецкого бассейна.

Любка подбежала к Григорию Ильичу, взяла его за темную жилистую руку своей маленькой белой ручкой, которую он сразу крепко сжал, и пошла рядом с ним.

В это время шахтеры во главе с директором шахты Валько и Шевцовым подошли к калитке и с явным облегчением сбросили через заборчик в палисадник, прямо на цветы, предметы, которые они несли,— моток кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический аппарат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой возможны были и эти цветы и многое другое,— все это было уже кончено.

Люди сбросили все это и некоторое время постояли, не глядя друг на друга, в какой-то неловкости.

— Ну что ж, Григорий Ильич, сбирайся швидче, машина на мази, людей посажу и всем гамузом за тобой,— сказал Валько, не подымая на Шевцова глаз из-под своих широких и сросшихся, как у цыгана, бровей.

И он в сопровождении шахтеров и военных медленно пошел дальше по улице.

У калитки остались Григорий Ильич с Любкой, которую он по-прежнему держал за руку, и старик-шахтер с прокуренными до желтизны, редкими, точно выщипанными усами и бородкой, до крайности высохший и голенастый. И Уля, на которую они не обращали внимания, тоже стояла рядом, словно решение вопроса, который ее мучил, она могла получить только здесь.

— Любовь Григорьевна, кому сказано? — сердито сказал Григорий Ильич, взглянув на девушку, не отпуская, однако, ее руки.

— Сказала, не поеду,— угрюмо отозвалась Любка.

— Не дури, не дури,— явно волнуясь, тихо сказал Григорий Ильич.— Как можешь ты не ехать? Комсомолка...

Любка, вспыхнув, вскинула глаза на Улю, но в лице ее тотчас появилось строптивое, даже нахальное выражение.

— Комсомолка без году неделя,— сказала она, поджав губы.— Кому я что сделала? И мне ничего не сделают... Мне мать жалко,— добавила она тихо.

«Отреклась от комсомола!» — вдруг с ужасом подумала Уля. Но в то же мгновение мысль о собственной больной матери жаром отозвалась в груди ее.

— Ну, Григорий Ильич,— таким страшным низким голосом, что удивительно было, как он выходил из такого высохшего тела, сказал старик,— пришло время нам расставаться... Прощай...— и он прямо посмотрел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему перед ним со склоненной головой.

Григорий Ильич молча стащил с головы кепку. У него были светло-русые волосы и худое, с глубокими продольными бороздами, лицо пожилого русского мастерового, с голубыми глазами. Хотя он был уже не молод и одет был в эту неуклюжую спецовку и лицо и руки его были в угле, чувствовалось, что он хорошо сложен и крепок и красив старинной русской красотой.

— А может, рискнешь с нами? А? Кондра́тович? — спросил он, не глядя на старика и явно конфузясь.

— Куда же нам со старухой? Пущай уж нас наши дети с Красной Армией вызволяют.

— А старший твой что ж? — спросил Григорий Ильич.

— Старший? О нем что ж и говорить,— сумрачно сказал старик и махнул рукой с таким выражением, как будто хотел сказать: «Ведь ты и сам знаешь мой позор, зачем же спрашиваешь?» — Прощай, Григорий Ильич,— печально сказал он и протянул Шевцову высохшую костистую руку.

Григорий Ильич подал свою. Но что-то было еще недосказано ими, и они, держа друг друга за руку, еще постояли некоторое время.

— Да... что ж... Моя старуха и, вишь, дочка тоже остаются,— медленно говорил Григорий Ильич. Голос его вдруг пресекся.— Как это мы ее, Кондратович? А?.. Красавицу нашу... Всей, можно сказать, страны кормилицу... Ах!..— вдруг необыкновенно тихо выдохнул он из самой глубины души, и слезы, сверкающие и острые, как кристаллы, выпали на его измазанное углем лицо.

Старик, хрипло всхлипнув, низко наклонил голову. И Любка заплакала навзрыд.

Уля, кусая губы, не в силах удержать душившие ее слезы бессильной ярости, побежала домой, на «Первомайку».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В то время, когда на окраинах города все было охвачено этим волнением отступления и спешной эвакуации, ближе к центру города все уже несколько утихло, все выглядело более обыденно. Колонны служащих, беженцы с семьями уже схлынули с улиц. У подъездов учреждений или во дворах стояли в очередь подводы, грузовые машины. И люди, которых было не больше чем требовалось для дела, грузили на подводы и на машины ящики с инвентарем и мешки, набитые связками документов. Слышен был говор, негромкий и как бы нарочито относящийся только к тому, чем люди занимались. Из распахнутых дверей и окон доносился стук молотков, иногда — стрекот машинок: наиболее педантичные управляющие делами составляли последнюю опись вывозимого и брошенного имущества. Если бы не дальние раскаты артиллерийской стрельбы и сотрясающие землю глубокие толчки взрывов, могло бы показаться, что

учреждения просто переезжают из старых помещений в новые.

В самом центре города, на возвышенности, стояло новое одноэтажное здание с раскинутыми крыльями, обсаженное по фасаду молодыми деревцами. Оно видно было людям, покидавшим город, с любого пункта. Это было здание райкома и районного исполкома, а с прошлой осени в нем помещался и Ворошиловградский областной комитет партии большевиков.

Представители учреждений, предприятий беспрерывно входили в здание через главный вход и почти выбегали из здания. Неумолчные звонки телефонов, ответные распоряжения в трубку, то нарочито сдержанные, то излишне громкие, доносились из раскрытых окон. Несколько легковых машин, гражданских и военных, выстроившись полукругом, поджидало возле главного подъезда. Последним в ряду машин стоял сильно пропыленный военный вездеходик. С заднего сиденья его выглядывало двое военных в выцветших гимнастерках — небритый майор и громадного роста молодой сержант. В лицах и позах шоферов и этих военных было одно неуловимо общее выражение: они ждали.

В это время в большой комнате, в правом крыле здания, разыгрывалась сцена, которая по внутренней своей силе могла бы затмить великие трагедии древних, если бы по внешнему своему выражению не была так проста. Руководители области и района, кто должен был сейчас уехать, прощались с руководителями, кто оставался завершить эвакуацию и с приходом немцев бесследно исчезнуть, раствориться в массе, перейти в подполье.

Ничто так не сближает людей, как пережитые вместе трудности.

Все время войны, от первого ее дня до нынешнего, было слито для этих людей в один беспрерывный день труда такого нечеловеческого напряжения, какое под силу только закаленным, богатырским натурам.

Все, что было наиболее здорового, сильного и молодого среди людей, они отдали фронту. Они перевели на восток наиболее крупные предприятия, которые могли бы попасть под угрозу захвата или разрушения: тысячи станков, десятки тысяч рабочих, сотни тысяч семейств. Но, как по волшебству, они тут же изыскали

новые станки и новых рабочих и снова вдохнули жизнь в опустевшие шахты и корпуса.

Они держали производство и всех людей в том состоянии готовности, когда по первой же необходимости все снова можно было поднять и двинуть на восток. И в то же самое время они безотказно выполняли такие обязанности, без которых немыслима была бы жизнь людей в советском государстве: кормили людей, одевали их, учили детей, лечили больных, выпускали новых инженеров, учителей, агрономов, держали столовые, магазины, театры, клубы, стадионы, бани, прачечные, парикмахерские, милицию, пожарную охрану.

Они трудились на протяжении всех дней войны, как если бы это был один день. Они забыли, что у них может быть своя жизнь: семьи их были на востоке. Они жили, ели, спали не на квартирах, а в учреждениях и предприятиях,— в любой час дня и ночи их можно было застать на своих местах.

Отпадала одна часть Донбасса, за ней другая, потом третья, но с тем большим напряжением трудились они на оставшихся частях. С предельным напряжением они трудились на последней части Донбасса, потому что она была последняя. Но до самого конца они поддерживали в людях это титаническое напряжение сил, чтобы вынести все, что война возложила на плечи народа. И если уже ничего нельзя было выжать из энергии других людей, они вновь и вновь выжимали ее из собственных душевных и физических сил, и никто не мог бы сказать, где же предел этим силам, потому что им не было предела.

Наконец, пришел момент, когда нужно было покинуть и эту часть Донбасса. Тогда в течение нескольких дней они подняли на колеса еще тысячи станков, еще десятки тысяч людей, еще сотни тысяч тонн ценностей. И вот наступила та последняя минута, когда им самим уже нельзя было оставаться.

Они стояли тесной группой в большой комнате секретаря Краснодонского районного комитета партии, где уже было снято с длинного стола заседаний красное сукно. Они стояли друг против друга, шутили, поталкивали друг друга в плечо и все не решались произнести слова прощания. И у тех, кто уезжал, было так тяжело,

и смутно, и больно на душе, будто ворон когтил им душу.

Естественным центром этой группы был работник обкома Иван Федорович Проценко, выдвинутый на подпольную работу еще осенью прошлого года, когда перед областью впервые встала угроза оккупации. Но тогда дело само собой отложилось.

Иван Федорович был маленький, складно и ловко сшитый тридцатипятилетний мужчина с зачесанными, редеющими, с залысинами на висках, русыми волосами, с румяным лицом, раньше всегда чистым, бритым, а теперь заросшим мягкой, темной — уже не щетиной, но еще не бородкой: он начал отпускать ее недели две назад, когда понял по ходу дел на фронте, что не миновать ему подполья.

Он дружелюбно и уважительно тряс руку стоявшего перед ним высокого пожилого человека в военной форме без знаков различия. Худое, мужественное лицо этого человека, испещренное мелкими морщинками — следами застарелого переутомления,— примечательно было тем выражением спокойствия, простоты и в то же время значительности, которое присуще бывает настоящим крупным руководителям и возникает вследствие большего знания и понимания ими того, что происходит на свете.

Человек этот, один из руководителей недавно созданного Украинского партизанского штаба, прибыл в Краснодон еще вчера, чтобы установить взаимодействие между партизанскими отрядами области и частями действующей армии.

Тогда еще не думали, что отступление зайдет так далеко, надеялись задержать противника хотя бы на рубеже Нижнего Донца и Нижнего Дона. По предписанию штаба Иван Федорович должен был установить связь между партизанским отрядом, в котором ему предстояло базироваться, и дивизией, перебрасываемой в район Каменска на поддержку нашего заслона на Северном Донце. Дивизия эта, сильно пострадавшая в боях в районе Ворошиловграда, только-только подходила к Краснодону, а ее командир прибыл вчера вместе с представителями партизанского штаба и политического управления Южного фронта. Командир дивизии, ге-

нерал лет сорока, стоял тут же, дожидаясь очереди проститься с Иваном Федоровичем.

Иван Федорович тряс руку партизанского руководителя, который и в мирное время был его руководителем, запросто бывал на дому Ивана Федоровича и хорошо знал его жену,— Иван Федорович тряс ему руку и говорил:

— Спасибо и еще раз спасибо, Андрей Ефимович, за помощь, за науку. Передайте наше партизанское спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву. Коли при случае придется побывать в центральном штабе, расскажите, что завелись, мол, теперь и в нашей Ворошиловградской такие-сякие партизаны... А коли выпадет вам, Андрей Ефимович, счастье побачить главкома товарища Сталина, так скажите ему, что долг свой выполним с честью...

Иван Федорович говорил по-русски, временами невольно перескакивая на родной украинский.

— Выполните — вас и так услышат. А то, что выполните, не сомневаюсь,— с мужественной улыбкой, осветившей все морщинки его лица, сказал Андрей Ефимович. Вдруг он обернулся к людям, окружавшим Ивана Федоровича, и сказал: — Хитрый же этот Проценко: еще и воевать не начал, а уже прощупывает, нельзя ли снабжение получать из самого центрального штаба!

Все засмеялись, кроме генерала, который во все время разговора стоял с застывшим на его полном, сильном лице выражением суровой печали.

В ясных синих глазах Ивана Федоровича промелькнула хитринка, и они заискрились, да не оба сразу, а то один, то другой, будто какая-то резвая искорка скакнула из глаза в глаз на одной ножке.

— Снабжение у меня свое заховано,— сказал он.— А кончится, будем жить, як тот старый Ковпак, без интендантства: что у ворога возьмем, то и наше... Ну, а коли чего-нибудь подкинете...— Иван Федорович развел руками, и снова все засмеялись.

— Передайте наше великое спасибо работникам политуправления фронта, они нам великую помощь оказали,— говорил Иван Федорович, тряся руку пожилого военного в звании полкового комиссара.— А вам, ребятки... вам уж не знаю, що и казати, только расцеловать могу...— И растроганный Иван Федорович по очереди обнял и расцеловал молодых хлопцев из НКВД.

Он был человек тонкий и понимал, что в любом деле нельзя обидеть ни одного работника, большого или малого, коли он, работник, вложил в дело свою долю. Так поблагодарил он все организации и всех людей, которые помогли ему в формировании отрядов и подпольной сети. Долгим и тяжким было его прощание с товарищами по обкому. Накрепко связала их дружба-судьба за все эти месяцы войны, пролетевшие, как один день.

С увлажненными глазами оторвался он от друзей и посмотрел вокруг, с кем же он еще не простился. Генерал — он был невысокого роста и плотного сложения — молча сделал навстречу Ивану Федоровичу быстрое, сильное движение всем корпусом и протянул руку, и в простом русском лице генерала вдруг появилось что-то детское.

— Спасибо, спасибо вам,— с чувством сказал Иван Федорович.— Спасибо, что потрудились лично заехать. Теперь мы с вами вроде как одной веревочкой связаны...— И он потряс плотную руку генерала.

Детское выражение мгновенно сошло с лица генерала. Он сделал недовольное, как будто даже сердитое движение своей крупной круглой головой в фуражке, потом маленькие умные глаза его остановились на Иване Федоровиче с прежним суровым выражением. Хотелось ему, видно, сказать что-то очень важное, но он ничего не сказал.

Решительное мгновение наступило.

— Береги себя,— изменившись в лице, сказал Андрей Ефимович и обнял Проценко.

Все снова стали прощаться с Иваном Федоровичем, с его помощником, с остающимися работниками и один за другим выходили из кабинета с выражением некоторой виноватости. Лишь один генерал вышел с высоко поднятой головой, обычной быстрой, легкой походкой, неожиданной при его полноте. Иван Федорович не пошел их провожать, он только слышал, как на улице взревели машины.

Все это время в кабинете неумолчно работали телефоны и помощник Ивана Федоровича попеременно хватал то одну, то другую трубку и просил позвонить через несколько минут. Только Иван Федорович простился с последним из отъезжавших, как помощник мгновенно протянул ему одну из трубок.

— С хлебозавода... раз десять уже звонили...

Иван Федорович маленькой рукой взял трубку, сел на угол стола и сразу стал не тем человеком, то добродушным и растроганным, то хитроватым и веселым, который только что прощался со своими товарищами. В жесте, которым он взял трубку, в выражении его лица и в голосе, которым он заговорил, появились черты спокойной властности.

— Ты не тарахти, ты меня послухай,— сказал он, сразу заставив замолчать голос в трубке.— Я тебе сказал, что транспорт будет, значит, он будет. Горторг заберет у тебя хлеб и будет народ в дороге кормить. А уничтожать столько хлеба — преступление. Зачем же ты его всю ночь пек? Я вижу, ты сам торопишься, так ты не торопись, пока я тебе не разрешил торопиться. Понятно? — И Иван Федорович, повесив трубку, снял другую, разливавшуюся пронзительной трелью.

В раскрытое окно, выходившее в сторону шахты № 1-бис, видно было движение воинских частей, грузовых машин, покидавших город, колонн эвакуируемых жителей. Отсюда с холма видно было почти как на карте, что движение распадается в основном по трем руслам: главный поток двигался на юг, к Новочеркасску и Ростову, несколько меньший — на юго-восток, на Лихую, а еще меньший — на восток, на Каменск. Вытянувшиеся в ряд машины, только что покинувшие здание райкома, держали путь на Новочеркасск. И только пропыленный вездеходик генерала пробирался по улицам в сторону ворошиловградского шоссе.

В это время мысли генерала, возвращавшегося к своей дивизии, были уже далеко от Ивана Федоровича. Палящее солнце искоса било ему в лицо. Пыль окутывала и машину, и генерала с шофером, и примолкших на заднем сиденье небритого майора и рослого сержанта. Звуки дальней артиллерийской стрельбы, рев машин на шоссе, вид людей, покидавших город,— все это невольно приковывало мысли этих столь разных по возрасту и по званию военных людей к грозной действительности.

Из всех людей, прощавшихся с Иваном Федоровичем, только представитель Украинского партизанского штаба и генерал, как люди военные, понимали, что означало взятие немецкими танковыми частями Миллерова и их бросок на Морозовский — город на железной

дороге, связывавшей Донбасс со Сталинградом. Это означало, что Южный фронт уже изолирован от Юго-Западного и что Ворошиловградская и большая часть Ростовской области отрезаны от центра, а Сталинград — от Донбасса.

Задача дивизии состояла теперь в том, чтобы возможно дольше задержать немцев, наседавших на юг от Миллерова, до тех пор, пока армии Южного фронта успеют отойти к Новочеркасску и Ростову. А это значило, что дивизия, которой командовал генерал, через несколько дней или вовсе перестанет существовать, или попадет во вражеское окружение. Мысль об окружении была глубоко противна генералу. Но генерал не хотел допустить и того, чтобы дивизия его перестала существовать. С другой стороны, он знал, что выполнит свой долг до конца. И все душевные силы его были направлены теперь на решение этой неразрешимой задачи.

По возрасту своему генерал принадлежал не к старшему, а к среднему поколению советских военачальников, к тому поколению, которое начало свой путь в гражданскую войну или вскоре после гражданской войны совсем еще юными и малозаметными людьми.

Рядовой солдат, он исходил ногами ту самую донецкую степь, через которую мчался теперь на вездеходе. Сын курского крестьянина, девятнадцатилетний пастух, он начал свой воинский путь, когда уже гремела бессмертная слава Перекопа. Он стал солдатом в период ликвидации банд Махно на Украине: это был последний слабый отзвук великих битв против врагов революции. Он сражался еще под командованием Фрунзе. В те юные годы он выдвинулся как стойкий боец. Он выдвинулся как умный боец. Но он выдвинулся не только поэтому: стойкие и умные люди не редкость в народе. Исподволь, незаметно, казалось бы даже медленно, усваивал он все то, чему учили бойцов-красноармейцев ротные политруки, батальонные и полковые комиссары — вся бесчисленная, безыменная армия работников политотделов и воинских партийных ячеек, да живет во веки веков память об этих людях! И он не просто усваивал их науку,— он перерабатывал и прочно укладывал ее в своей душе. И вдруг выдвинулся среди боевых товарищей своих как человек незаурядного политического дарования.

Дальнейший путь его был прост и головокружителен, как путь любого из военачальников его поколения.

Великую Отечественную войну он начал командиром полка. За плечами его была уже Военная академия имени Фрунзе, Халхин-Гол, линия Маннергейма. Это было неслыханно много для человека его происхождения, его возраста, но как этого было еще мало! Отечественная война сделала его полководцем. Он рос, но еще больше того — его растили. Его растили теперь на опыте великой войны, как растили когда-то в военном училище, потом в Академии, а потом на опыте двух малых войн.

Поразительным было это новое ощущение, сознание самого себя, крепнущее в ходе войны, несмотря на всю горечь отступления. Солдат наш лучше, чем солдат противника, не только в смысле морального превосходства,— какие могли быть здесь сравнения! — а просто в военном смысле. Наши командиры неизмеримо выше не только по своей политической сознательности, но и по военному образованию, по свойству быстро схватывать новое, применять практический опыт разносторонне. Военная техника не хуже, а в известной части даже лучше, чем у противника. Военная мысль, создавшая все это и направляющая все это, исходит из великого исторического опыта, но в то же время она нова. смела, как породившая ее революция, как это невиданное в истории советское государство, как гений людей, сформулировавших и претворивших в жизнь эту мысль,— она парит на крыльях орлиных. А приходится все-таки отступать. Противник берет пока что числом, внезапностью. жестокостью, не поддающейся нормальным определениям совести, берет всякий раз предельным напряжением сил, когда уже не думают о резервах.

Как и многие советские военачальники, генерал довольно рано понял, что эта война, больше чем какая-либо война в прошлом,— война резервов людских, материальных. Их нужно было уметь создавать в ходе самой войны. Еще сложнее того было ими оперировать: распределять во времени, направлять туда, куда надлежит. Разгром противника под Москвой, его поражение на юге говорили не только о превосходстве нашей военной мысли, нашего солдата, нашей техники,— еще больше они говорили о том, что великие резервы народа. го-

сударства в бережливых руках, умелых руках, в золотых руках.

Обидно, очень обидно было снова отступать на глазах народа, когда, казалось, уже все, все известно о враге и о себе!

Генерал молча ехал, погруженный в свои думы. Едва вездеход, пробравшись не без труда улицами, запруженными эвакуируемым населением, достиг ворошиловградского шоссе, как почти над самой головой, ревя моторами, один за другим прошли три немецких пикировщика. Они вывернулись так внезапно, что ни генерал, ни сопровождавшие его офицер и сержант не успели выскочить и остались в машине. Поток бойцов и беженцев, раздвоившись, хлынул в обе стороны шоссе,— кто бросился ничком в канаву, кто привалился к завалинке дома или прижался к стенке.

И в это мгновение генерал увидел на самой обочине шоссе одинокую стройную девушку в белой кофточке, с длинными черными косами. Все шоссе на громадном протяжении опустело, девушка осталась совершенно одна. С бесстрашным мрачным выражением проводила она глазами этих промчавшихся над нею раскрашенных птиц с черными крестами на распластанных крыльях, летевших так низко, что, казалось, они обдали девушку ветром.

Что-то вдруг клокнуло в горле у генерала, и спутники испуганно посмотрели на него. Генерал сердито покрутил своей крупной круглой головой, будто воротник жал ему шею, и отвернулся, не в силах видеть эту одинокую девушку на шоссе. Вездеход круто свернул и, прыгая по неровной местности, помчался рядом с шоссе по степи — не в сторону Каменска, а в сторону Ворошиловграда, откуда только-только подходила к Краснодону дивизия генерала.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пикировщики, промчавшиеся над Улей Громовой, уже где-то за городом дали несколько пулеметных очередей по шоссе и скрылись в режущем глаза от солнечного блеска воздухе. И только через несколько минут по-

слышались вдали глухие взрывы,— должно быть, пикировщики бомбили переправу на Донце.

В поселке Первомайском все ходуном ходило. Навстречу Уле неслись подводы, бежали целые семьи. Она знала всех этих людей, как и они знали ее, но никто не смотрел на нее, не заговаривал с ней.

Самым неожиданным впечатлением было впечатление от Зинаиды Выриковой, «гимназистки», которая с невообразимо испуганным лицом сидела среди двух женщин на возу, заваленном ящиками, узлами и кулями с мукой. Какой-то дед в картузе, свесив набок белые сапоги в муке, концами вожжей изо всей силы хлестал клячонку, тщетно пытаясь поднять ее в гору на галоп. Несмотря на неимоверную жару, Вырикова была в драповом коричневом пальто, но без платка и шляпки, и поверх драпового жесткого воротника по-прежнему воинственно торчали вперед ее косицы.

Поселок Первомайский был самым старым шахтерским поселком в этом районе,— от него, собственно, и начался город Краснодон. «Первомайским», или в просторечии «Первомайкой», он стал называться с недавнего времени. В прежние времена, когда уголь в этих местах еще не был обнаружен, здесь расположены были казачьи хутора, самым крупным из которых считался хутор Сорокин.

Уголь открыли здесь в начале века. Первые шахтенки, закладывавшиеся по пласту, были наклонные и такие маленькие, что уголь подымали конными или даже ручными воротками. Шахтенки принадлежали разным хозяевам, но по старой памяти весь рудник называли — рудник Сорокин.

Шахтеры, выходцы из центральных русских губерний и с Украины, селились по хуторам у казаков, роднились с ними, да и сами казаки уже работали на шахтах. Семьи разрастались, делились, строились рядом.

Закладывались новые шахты — за длинным холмом, по которому пролегает теперь ворошиловградское шоссе, и дальше за балкой, что разделяет теперь город Краснодон на две неравные части. Эти новые шахты принадлежали одинокому помещику Ярманкину, или «бешеному барину», поэтому и новый поселок, возникший вокруг шахт, первое время назывался в просторечии поселок Ярманкин, или «Бешеный». Дом самого «бешеного бари-

на» — каменный серый одноэтажный дом, в одной половине которого был разбит зимний сад с диковинными растениями и заморскими птицами,— в те времена один стоял на высоком холме за балкой, открытый всем ветрам, и его тоже называли «бешеным».

Уже при советской власти, в годы первой и второй пятилеток, в этом районе были заложены новые шахты, и центр рудника Сорокина переместился в эту сторону, застроился стандартными домиками, крупными зданиями учреждений, больниц, школ, клубов. На холме, рядом с домом «бешеного барина», выросло красивое, с крыльями здание районного исполкома. А в самом доме «бешеного барина» разместилась проектная контора треста «Краснодонуголь», служащие которой уже и понятия не имели, что это за дом такой, где они проводят третью часть своей жизни.

Так рудник Сорокин превратился в город Краснодон.

Уля, ее подруги и товарищи по школе росли вместе со своим городом. Совсем еще маленькими школьницами и школьниками в праздник древонасаждения они участвовали в посадке деревьев и кустов на заваленном мусорными кучами и заросшем лопухами пустыре, отведенном городским советом под парк. Мысль о том, что здесь должен быть парк, возникла среди старых комсомольцев — тех еще поколений, что помнили «бешеного барина», поселок Ярманкин, первую немецкую оккупацию и гражданскую войну. Некоторые из них и сейчас работали в Краснодоне,— у иных уже седина пробрызнула в волосах или в казацком буденновском усе,— но в большинстве жизнь разбросала их по всей нашей земле, а кое-кто пошел высоко в гору. А руководил той посадкой садовник Данилыч, он и тогда уже был старый. Но он и теперь работал в парке старшим садовником, хотя стал уже совсем ветхим.

И вот он разросся, этот парк, и стал любимым местом отдыха для взрослых, а для молодежи он был даже не местом, а самой жизнью в пору ее юного цветения, он рос вместе с ними, он был юн, как они, но его зеленые кроны уже шумели на ветру, и в солнечные дни там уже было тенисто и можно было найти таинственные укромные уголки, а ночью, под луной. он был прекрасен, а в дождливые осенние ночи, когда опадал

мокрый желтый лист, виясь и шурша во тьме, там было даже страшновато, в этом парке.

Так, росла молодежь вместе со своим парком, вместе со своим городом и по-своему крестила его районы, слободки, улицы.

Отстроят новые бараки,— это место так и назовут: «Новые бараки». Уже и бараков никаких нет, уже каменные дома вокруг, но название переживает то, что его породило. До сих пор существует окраина «Голубятники». Когда-то это были три деревянные хибарки на отлете и мальчишки водили там голубей, теперь там тоже стандартные дома. «Чурилино» — это и вовсе был один домик, где жил шахтер Чурилин. «Сеняки» — там был раньше сенной двор. «Деревянная» — это совсем отдельная улицу за переездом, за парком, она так и осталась отдельной от всего города, и домики остались те же, деревянные. Там живет девушка Валя Борц с темно-серыми глазами и светло-русыми золотистыми косами, самолюбивая девушка, не старше семнадцати лет. «Каменная» — это улица первых стандартных каменных домов. Теперь таких домов много, но только эту улицу называют «Каменной»: она была первой. А «Восьмидомики» — это уже целый район, несколько улиц на том месте, где стояло всего восемь таких стандартных домиков.

Со всех концов нашей земли стекаются люди в Донбасс. И первый вопрос у них: где жить? Китаец Ли Фан-ча слепил себе на пустыре жилье из глины и соломы, а потом стал лепить комнатки, одну к другой, как соты, и сдавать их внаем, пока пришлые люди не поняли, что незачем снимать комнатки у Ли Фан-чи, можно слепить свои. Так образовался обширный район лепящихся друг к другу мазанок,— этот район назвали «Шанхаем». Потом такие же мазанки-соты возникли вдоль всей балки, разделяющей город, и на пустырях вокруг города, и эти гнезда мазанок стали называть «шанхайчиками».

С той поры, как была пущена в ход самая крупная в районе шахта № 1-бис, заложенная как раз между хутором Сорокином и бывшим поселком Ярманкином, город Краснодон распространился в сторону хутора Сорокина и почти слился с ним. Так хутор Сорокин, давно уже сросшийся с соседними, более мелкими хуторами,

превратился в поселок Первомайский — один из районов города.

От других районов города его отличало только то, что здесь большинство жилых домиков осталось от прежних казачьих хуторов,— это были собственные домики, каждый на свой манер, и среди населения здесь по-прежнему было много казаков, работавших не на шахтах, а на степи, сеявших хлеб и объединившихся в несколько колхозов.

Домик родителей Ули Громовой был расположен в низине, на дальней окраине поселка,— раньше это был хутор Гаврилов, и домик этот был старым казачьим домиком.

Матвей Максимович Громов был родом украинец, из Полтавской губернии, и с малых лет ходил с отцом на заработки в Юзовку. Был он рослым, сильным, красивым и отважным парнем с ниспадающими русыми кудрями, кольцами завивавшимися понизу, славился как силач-забойщик, и его любили девушки. И не было ничего удивительного в том, что, попав в эти края на заработки в те самые, казавшиеся Уле библейскими, времена, когда здесь открылись первые шахтенки, он пленил Матрену Савельевну, бывшую тогда еще маленькой черноглазой казачкой Матрешей с хутора Гаврилова.

В русско-японскую войну он служил в 8-м Московском гренадерском полку, шесть раз был ранен, два раза тяжело, имел много наград и последнюю — за спасение знамени своего гренадерского полка — святого Георгия.

С той поры здоровье его сдало. Некоторое время он еще работал на малых шахтенках, а потом стал служить при шахте кучером, да так и осел здесь, на хуторе Гаврилове, после бродячей своей жизни, в домике, доставшемся Матреше в приданое.

Едва Уля взялась за калитку родного дома, силы оставили ее. Уля любила мать и отца, и, как это бывает в юности, она не то что не думала, а не могла представить себе, что в самом деле придет такая минута жизни, когда надо будет самостоятельно решать свою судьбу отдельно от семьи. И вот эта минута пришла.

Уля знала, что ее мать и отец слишком привязаны к своему дому и слишком стары и больны, чтобы ре-

шиться на уход из дому. Сын был в армии, а Уля была девушка без определившегося пути в жизни, человек без должности, и не могла взять их на свое попечение. А у другой дочери, много старше Ули, бывшей замужем за служащим шахтоуправления, человеком уже пожилым, жившим в их семье,— у этой старшей дочери были свои дети, и она тоже не решалась на уход из дому. И все они уже давно решили, что бы ни случилось, никуда не уходить с родного места.

Одна Уля до этой вот крайней минуты не имела ни ясного плана, ни твердой цели в душе своей. Ей все казалось, что ею должны распорядиться другие. То ей хотелось уйти в армию, обязательно в авиацию, и она писала письма брату, который служил техником в одной из авиационных частей, не поможет ли он ей поступить в летную школу. Иногда ей казалось, что проще всего было бы пойти на курсы медицинских сестер, как сделали некоторые из краснодонских девушек,— таким путем она могла бы очень скоро попасть в действующую армию. То ее преследовала тайная мечта уйти в партизанское подполье, в места, занятые врагом. То вдруг ею овладевала такая жажда учиться, учиться дальше! Ведь война не вечна, вот кончится она, надо будет жить, трудиться, и как еще нужны будут люди, знающие дело,— она ведь очень скоро может стать инженером или учителем. Но так никто и не распорядился ее судьбой, и вот подошло время, когда она должна отворить калитку и...

Тут только она почувствовала, как страшно может обернуться жизнь. Она должна бросить мать, отца врагу на поругание и одна ринуться в этот неизвестный и страшный мир лишений, скитаний, борьбы... Она почувствовала такую слабость в коленях, что едва не опустилась на землю. Ах, если бы она могла залезть сейчас в эту маленькую обжитую хатку, закрыть ставни, упасть в свою девичью постель и так вот лежать тихо-тихо и ничего не решать. Кому какое дело до черненькой девочки Ули! Вот так вот забраться в постель, поджать ноги и жить среди близких, любящих людей — будь что будет... Да и что оно будет, и когда оно будет, и долго ли оно будет? А может быть, это не так уж страшно?

Но в то же мгновение она содрогнулась от унижения гордости, унижения от самой возможности допустить

такой выход. Да уже и не было времени выбирать: к ней уже бежала мать навстречу. Какая сила подняла ее с постели? За матерью шли отец, сестра, муж сестры, бежали ребятишки. Печать необыкновенного волнения лежала на всех лицах, а маленький племянник плакал.

— Куда же ты запропала, доню моя? Тебя же с самой зари найти не могут. Беги скорей до Анатолия, коли он не уехал, беги, доню! — говорила мать, и слезы, которые она даже не пыталась убрать, катились по ее загорелым бледным морщинистым щекам.

Мать все еще была чернява, хотя и стара и начала гнуться к земле. Она была чернява, и черные глаза у нее были красивые, как у большой дикой птицы, хотя сама она была маленькая. И характером она была сильная и умная,— дочери и старый Матвей Максимович слушались ее. Но вот пришел час, когда дочь должна была решить сама за себя, и силы матери надломились.

— Кто искал? Анатолий? — быстро спросила Уля.

— Та с райкому шукали,— стоя позади матери с тяжело опущенными большими руками, говорил отец.

Как он был уже стар! Спереди он почти совсем облысел, только на затылке да на висках еще остались следы былых кудрей, они всё еще завивались кольчиками, но в гренадерских рыжеватых усах его было уже столько седины, и щетина на лице была седоватая, и нос совсем сизый, и кирпичного цвета лицо его, лицо солдата, было все в морщинах.

— Беги, беги, доню! — повторяла мать.— Обожди, я Анатолия склычу! — И она, маленькая, старая, побежала между грядок к соседям Поповым, сын которых Анатолий вместе с Улей окончил в этом году первомайскую школу.

— Да ложитесь же вы, мама, я сама!

Уля бросилась за матерью, но та уже бежала вишенником вниз, и они побежали вместе, старая и молодая.

Усадьбы Громовых и Поповых граничили садами, полого спускавшимися в пересохшую балочку, по самому дну которой пролегала граница — плетень. Но хотя они всю жизнь были соседями, Уля никогда не видалась с Анатолием помимо школы да комсомольских собраний, где он часто выступал с докладами. В детстве у него были свои мальчишеские интересы, а в старших классах

над ним подтрунивали, будто он боится девочек. И правда, когда он встречался с Улей, да и не только с Улей, где-нибудь на улице или на квартире, он так терялся, что даже не успевал поздороваться, а если здоровался, то краснел так, что любую девочку вгонял в краску. Об этом девочки иногда говорили между собой и подсмеивались над Анатолием. Но все-таки Уля уважала его, он был такой начитанный, умный, замкнутый, любил те же стихи, что и Уля, собирал жуков и бабочек, минералы и растения.

— Таисья Прокофьевна! Таисья Прокофьевна! — кричала мать, перегнувшись через низенький плетень в садик соседей.— Толечка! Уля пришла...

Где-то на той стороне вверху, невидная за деревьями, отозвалась тоненьким голоском сестренка Анатолия. И вот он уже сам бежал среди деревьев, усеянных маленькими поспевающими вишенками,— в украинской, вышитой по подолу и концам рукавов, рубашке с расстегнутым воротом и в узбекской шапочке на затылке, которую он носил, чтобы не рассыпались его зачесанные назад длинные, овсяного цвета, волосы.

Его всегда серьезное худое загорелое лицо с белесоватыми бровями было сильно разгорячено, он так вспотел, что мокрые пятна кругами выступали у него под мышками. И, видно, он совсем забыл о том, что Ули можно стесняться.

— Ульяна... ты знаешь, я тебя с самого утра ищу, ведь я уже всех ребят и дивчат обегал, я из-за тебя Витьку Петрова задержал с отъездом, они у нас здесь, отец его ужас как ругается, собирайся немедленно! — быстро говорил он.

— Мы же ничего не знали. Чье это распоряжение?

— Распоряжение райкома — всем уходить. Немцы вот-вот будут здесь. Я всех предупредил, а вашей всей компании нет, я ужас как перенервничал. А тут с хутора Погорелого едут Витька Петров с отцом. Отец у него еще в гражданскую войну партизанил тут против немцев, задерживаться ему, конечно, нельзя ни минуты, и, представляешь себе, Витька специально заезжает за мной! Вот товарищ, так товарищ! Отец у него лесничий, лошади у них в лесхозе хар-рошие! Я, конечно, стал их задерживать. Отец ругается, я говорю: «Вы же сам старый партизан, понимаете, что товарища бросать нельзя,

к тому же, говорю, вы, должно быть, человек бесстрашный...» Вот мы тебя и ждем,— быстро говорил Анатолий, желая, видимо, немедленно поделиться с Улей всем, что он пережил, взглядывая на нее то светло-серыми, то голубыми, вдруг просиявшими глазами, которые мгновенно придавали такое обаяние его белесоватому лицу.

И как это оно казалось ей раньше ничем не примечательным? В лице Анатолия было выражение душевной силы, да, именно силы — где-то в складке полных губ, в широком вырезе ноздрей.

— Толя,— сказала Уля,— Толя... ты...— Голос ее дрогнул, она протянула ему через плетень узкую загорелую руку.

И тогда он смутился.

— Быстро, быстро,— сказал он, боясь встретиться с ее черными, прожигавшими его насквозь глазами.

— Я уже все собрала,— подъезжайте к воротам... подъезжайте... подъезжайте,— повторяла Улина мама, и слезы все катились и катились по ее лицу.

До этой минуты мать еще не совсем верила, что дочь ее пустится одна в этот огромный, распавшийся мир, но она знала, что дочери оставаться опасно, и вот нашлись добрые люди, и взрослый человек с ними, и теперь все уже было кончено.

— Но, Толя, ты предупредил Валю Филатову? — сказала Уля с решимостью в голосе.— Ты же понимаешь, это моя лучшая подруга, я не могу уехать без нее.

На лице Анатолия изобразилось такое искреннее огорчение, что он не мог, да и не пытался скрыть его.

— Ведь лошади-то не мои и нас уже четыре человека... Я просто не знаю,— растерялся он.

— Но ты понимаешь, что я не могу бросить ее и уехать?

— Лошади, конечно, очень сильные, но все-таки пять человек...

— Вот что, Толя, спасибо тебе за все, за все... Вы езжайте, а я с Валей... мы пешком пойдем,— решительно сказала Уля.— Прощайте!

— Господи, как же пешком, доню моя! Я ж тебе все платья, белье в чемодан сложила, а постель?..— И мать, по-детски утирая кулаками лицо, громко заплакала.

Благородство Ули по отношению к подруге не только не казалось Анатолию удивительным,— оно казалось ему вполне естественным, было бы удивительно, если бы Уля поступила иначе. Поэтому он не раздражался и не выражал нетерпения,— он просто искал выхода из положения.

— Да ты хоть спроси у нее! — воскликнул он.— Может, она уже уехала, а может, и не собирается никуда, она же не комсомолка все-таки!

— Я за нею сбегаю,— воспрянула Матрена Савельевна; она уже совсем потеряла меру силам своим.

— Да ложитесь же вы, мама, я все сама сделаю! — сказала Уля в сердцах.

— Толька! Скоро вы там? — сильным, звучным голосом позвал сверху, от хаты Поповых, Виктор Петров.

— Лошади, конечно, у них сильные. В крайнем случае мы можем по очереди бежать за телегой,— вслух размышлял Анатолий.

Но Уле не понадобилось идти за Валей. Только Уля с матерью поднялись к крылечку дома, там, между этим крылечком и домашними пристройками, кухонькой и сарайчиком для коровы, стояла среди домашних Ули осунувшаяся Валя Филатова. Бледность в лице ее проступила даже сквозь сильный загар.

— Валюша, собирайся, есть лошади, мы его уговорим, чтобы он взял нас обеих! — быстро сказала Уля.

— Обожди, мне нужно сказать тебе два слова...

Валя взяла ее за руку.

Они отошли к калитке.

— Уля! — сказала Валя, прямо взглянув ей в глаза своими широко расставленными светлыми глазами, выражавшими подлинную муку.— Уля! Я не поеду никуда, я... Уля! — сказала она с силой.— Ты необыкновенный человек, да, да, в тебе есть что-то сильное, большое, ты все можешь, и правду говорит моя мама — бог дал тебе крылья... Улечка, ты мое счастье на свете,— говорила Валя с жаром любви,— самое счастливое, что у меня было на свете, это ты, но я... я не поеду с тобой. Я самый обыкновенный человек, я это знаю, и я всегда мечтала о самом обыкновенном... Вот, думала, выучусь, буду работать, встречу хорошего, доброго человека, выйду замуж, будут у меня дети, мальчик, девочка, будет у нас жизнь светлая, простая, и больше

ни о чем я не думала. Улечка, я не умею бороться, я боюсь пуститься на сторону одна... Да, да, я вижу, теперь все рушилось, эти мои мечты, но у меня мама старенькая, я никому ничего худого не сделала, я человек незаметный, и я останусь и... и прости меня...

И Валя заплакала в платочек, который она все время комкала в руках. И Уля, вдруг обняв и прижав ее к себе, тоже заплакала над ее такой знакомой, милой пахучей русой головкой.

С самого детства дружили они, вместе учились, переходили из класса в класс, делили друг с другом первые девичьи радости, горести, тайны. Уля была замкнута и только в минуты особенного душевного состояния раскрывала себя, а Валя всегда говорила ей все, все, не поспевая своими чувствами за ходом Улиных признаний, но разве в юности заботятся о том, чтобы понимать друг друга,— радость состоит в чувстве доверия, в возможности поделиться. И оказалось, что они совсем, совсем разные... Но столько чистых, прозрачных дней стояло за их нежной, святой девичьей дружбой, что горе разлуки раздирало их сердца.

Валя чувствовала, что она отказывается сейчас от чего-то самого большого и светлого в своей жизни, дальше оставалось что-то очень серое и что-то очень неизвестное и ужасное.

А Уля чувствовала, что она теряет единственного человека, которому она могла в минуту счастья или самого великого душевного стеснения раскрыть всю себя, какая она есть, Уля. Она не заботилась о том, чтобы подруга понимала ее, она знала только, что всегда найдет отклик чувства — доброты и покорности, любви и просто чуткости — в ее душе. И Уля плакала потому, что это был конец ее детства, она становилась взрослой; она выходила в мир, и выходила одна.

Только теперь она вспомнила, как Валя вынула из ее волос лилию и бросила на землю. Уля поняла теперь, зачем Валя сделала это. В момент такого потрясения Валя догадалась, как странно выглядела бы ее подруга с этой лилией в волосах там, где рвут шахты, и поэтому она освободила ее от этой лилии. Значит, она вовсе не была такой обыкновенной, как она говорила, она могла понимать многое.

Какое-то предчувствие говорило им, что то, что происходит между ними, происходит в последний раз. Они не только чувствовали, они знали, что они в каком-то особенном, душевном смысле прощаются навсегда. Поэтому они плакали от всего сердца, не стесняясь своих слез и не пытаясь их сдерживать.

Много слез было пролито в эти годы — не только на донецкую, а и на всю порушенную, выжженную, политую кровью советскую землю. Среди этих слез были и слезы бессилия, ужаса, прямой нестерпимой физической боли. Но сколько было слез высоких, святых, благородных — самых святых и благородных, какие только проливало человечество.

Едва затарахтела, подъезжая к воротам, длинная с косыми решетками, селянская, переделанная из гарбы телега, заваленная узлами и чемоданами, запряженная в дышло двумя добрыми гнедыми конями, которыми правил крупный пожилой мужчина с мясистым сильным лицом, в полувоенной гимнастерке и кожаной фуражке,— Уля оторвалась от подруги, низом продолговатой ладони, как подушечкой, смахнула слезы, и лицо ее приняло обычное выражение.

— Прощай, Валя...

— Прощай, Улечка.— Валя заплакала в голос.

Они поцеловались.

Подвода остановилась у ворот. Из-за нее, красные и потные от бега и тоже заплаканные, показались мать Анатолия — Таисья Прокофьевна, здоровая, с светлыми глазами и волосами, рослая, белотелая казачка, и младшая сестра Анатолия, Наташа. Отец его с первых дней объявления войны был на фронте.

Анатолий сидел уже на возу; рядом с ним сидел, в распахнутой на груди майке, темноволосый, миловидный, с выражением грусти в смелых мальчишеских глазах, Виктор Петров, державший в руках обернутую во что-то мягкое и перевязанную шнуром гитару.

Уля повернулась, и точно деревянная, пошла навстречу семье. Ей уже несли чемодан, узлы, платок. Мать, со своими черными глазами большой дикой птицы, маленькая и старая, метнулась к ней.

— Мама,— сказала Уля.

Мать всплеснула сухонькими ручками и упала замертво.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Со времени великого переселения народов не видела донецкая степь такого движения масс людей, как в эти июльские дни 1942 года.

По шоссейным, грунтовым дорогам и прямо по степи под палящим солнцем шли со своими обозами, артиллерией, танками отступающие части Красной Армии, детские дома и сады, стада скота, грузовики, беженцы — то колоннами, то вразброд, толкая перед собой тачки с вещами и с детьми на узлах.

Они шли, топча созревающие и уже созревшие хлеба, и никому уже не было жаль этого хлеба — ни тем, кто топтал, ни тем, кто сеял,— они стали ничьими, эти хлеба: они оставались немцам. Колхозные и совхозные картофельные поля и огороды были открыты для всех. Беженцы копали картофель и пекли его в золе костров, разведенных из соломы или станичных плетней,— у всех, кто шел или ехал, можно было видеть в руках огурцы, помидоры, сочащийся ломоть кавуна или дыни. И такая пыль стояла над степью, что можно было, не мигая, смотреть на солнце.

То, что поверхностному взгляду отдельного человека, как песчинка вовлеченного в поток отступления и отражающего скорее то, что происходит в душе его, чем то, что совершается вокруг него, могло показаться случайным и бессмысленным, было на самом деле невиданным по масштабу движением огромных масс людей и материальных ценностей, приведенных в действие сложным, организованным, движущимся по воле сотен и тысяч больших и малых людей, государственным механизмом войны.

Но как это бывает в вынужденном быстром отступлении, кроме главных, больших, хотя и трудных, но осмысленных движений масс войск и гражданского населения, по всем дорогам и прямо по степи в направлении на восток и юго-восток шли беженцы, мелкие учреждения и коллективы, разрозненные команды и обозы войск, разбитых в боях, потерявших связь, сбившихся с пути, группы военных, отставших по болезни или ранению, по недостатку транспорта. Эти то бо́льшие, то меньшие группы, не имевшие никакого представления о том, что же в действительности происходит на фронте,

шли, куда им казалось вернее и выгоднее, забивали все поры и вены главного движения и прежде всего забивали переправы через Донец, где у паромов и понтонных мостов, подвергаясь вражеской бомбардировке с воздуха, в течение суток крутились целые таборы людей, машин, подвод.

Как ни бессмысленно для гражданских людей было движение на Каменск в условиях, когда немецкие части уже вышли далеко по ту сторону Донца, на Морозовский, значительная часть беженцев из Краснодона устремилась именно в этом направлении, потому что в этом направлении двигались только что миновавшие Краснодон головные части дивизии, перебрасываемой на подкрепление нашей обороны на Донце южнее Миллерова. И именно в этот поток попала запряженная двумя добрыми гнедыми конями селянская телега, на которой ехали Уля Громова, Анатолий Попов, Виктор Петров и его отец.

Едва скрылись из глаз последние хуторские строения, когда подвода среди других подвод и машин уже перевалила на пологий съезд с холма, из глубины неба внезапно вырвался чудовищный рев мотора, и снова низко над головами, застив солнце, промчались немецкие пикировщики, ударили по шоссе из пулеметов.

Отец Виктора, энергичный большой мужчина в кожаной фуражке, с мясистым лицом и сильным голосом, вдруг побелел.

— В степь! Ложись! — крикнул он ужасным голосом.

Но ребята уже соскочили с телеги и бросились в пшеницу. Отец Виктора, опустив вожжи, тоже соскочил с телеги и тут же на месте исчез, будто испарился, будто это был не мужик-лесничий в тяжелых сапогах, а дух бесплотный. Одна Уля осталась на возу, — она сама не знала, почему она не побежала. Но в то же мгновение испуганные кони рванули так, что едва не выкинули ее из телеги.

Уля попыталась поймать вожжи, но не смогла дотянуться: кони, едва не налетев грудью на бричку впереди, взмыли на дыбы и рванули в сторону, чуть не оборвав постромки. Устойчивая, длинная, вместительная телега было опрокинулась, но снова стала на колеса. Уля, уцепившись одной рукой за край телеги, а

другой за какой-то тяжелый чувал, напрягала все силы, чтобы не выпасть: ее тут же задавили бы бесновавшиеся вокруг лошади других подвод.

Громадные гнедые кони, обезумев, рвались по вытоптанному хлебу среди людей и подвод, вздымаясь на дыбы, храпя и брызгая пеной. Вдруг с брички впереди соскочил высокий, широкоплечий, светловолосый юноша с непокрытой головой и кинулся, казалось, под самых коней.

Уля не сразу сообразила, что произошло, но через мгновение она увидела меж конских голов с взметенными гривами и оскаленными пастями его очень юное, свежее, сверкающее глазами, с выражением необычайного напряжения и силы, с румянцем на щеках, скуластое лицо.

Схватив сильной рукой одного храпящего коня за вожжу у самых удил, юноша стоял между конем и дышлом, больше напирая на коня, чтобы не быть сшибленным дышлом. Юноша стоял, рослый, аккуратный, в хорошо выглаженной серой паре с темно-красным галстуком и выглядывавшим из карманчика пиджака белым костяным наконечником складной ручки. Другой рукой он поверх дышла пытался поймать за вожжу другого коня. Только по вздувшемуся под серым пиджаком бугру мускулов и по резко обозначившимся жилам у загорелой кисти руки, которой он держал коня, видно было, каких усилий это ему стоило.

— Тпру... тпру...— говорил он не очень громко, но повелительно.

И в тот момент, как ему удалось схватить за вожжу другого коня, оба коня вдруг сразу присмирели в его руках. Они еще встряхивали гривами, косясь на него звериными очами, но он не отпускал их, пока они вовсе не притихли.

Юноша выпустил вожжи из рук, и первое, что он сделал, к немалому удивлению Ули,— он большими ладонями аккуратно пригладил свои почти не растрепавшиеся, расчесанные на косой пробор светло-русые волосы. Потом он поднял на Улю совершенно мокрое от пота скуластое лицо мальчика с большими глазами в длинных темных золотистых ресницах и широко, простодушно и весело улыбнулся.

— Добрые к-кони, могли разнести,— сказал он, чуть заикаясь, глядя с этой своей широкой улыбкой на Улю, которая, все еще держась за край телеги и за чувал, чуть раздувая ноздри, с уважением смотрела на него черными глазами.

Люди возвращались на шоссе, ища свои подводы и машины. В иных местах, должно быть возле убитых и раненых, грудились женщины: оттуда доносились стоны и причитания.

— Я так боялась, что они собьют тебя дышлом! — сказала Уля, чуть подрагивая ноздрями от волнения.

— Я сам того боялся. Да кони не злые, холощеные,— наивно сказал он и большой загорелой рукой с длинными пальцами небрежно потрепал по потной глянцевитой шее коня, ближе к которому стоял.

Вдали, где-то уже на Донце, послышались глухие и одновременно резкие удары бомбежки.

— Очень людей жалко,— сказала Уля, оглядываясь вокруг.

Подводы и люди уже шли мимо с обеих сторон, куда хватал глаз, будто большая шумливая река катилась.

— Да, жалко. А особенно матерей наших. Что они переживают! И что им еще предстоит пережить! — сказал юноша, и лицо его сразу стало серьезным, и на лбу его собрались не по возрасту резкие продольные морщины.

— Да, да...— беззвучно сказала Уля, сразу представив мать свою, как она лежала, маленькая, распластавшись на выжженной земле.

Отец Виктора Петрова так же внезапно, как и исчез, возник возле коней и с преувеличенным вниманием стал ощупывать постромки, шлеи, вожжи. За ним, посмеиваясь и виновато крутя головой в узбекской шапочке и все же не теряя обычного серьезного выражения, показался Анатолий Попов, за ним Виктор, тоже немного сконфуженный.

— Гитара-то моя цела? — быстро спросил Виктор, озабоченно оглянув воз. И, увидев обернутую в стеганое одеяло, заложенную между узлов гитару, взглянул на Улю своими смелыми грустными глазами и рассмеялся.

Юноша, все еще стоявший между конями, поднырнул под дышло и под шею коню и, свободно и легко

неся на широких плечах крупную непокрытую голову со светлыми волосами, подошел к возу.

— Анатолий! — радостно воскликнул он.

— Олег!

Они крепко взяли друг друга за руки повыше локтей, и в то же время Олег покосился на Улю.

— Кошевой,— назвал он себя и протянул ей руку.

Одно плечо, левое, было у него чуть выше другого. Он был очень юн, совсем еще мальчик, но от его загорелого лица, высокой легкой фигуры, даже от одежды, хорошо проглаженной, с этим темно-красным галстуком и белым наконечником складной ручки, от всей его манеры двигаться, говорить с легким заиканием исходило такое ощущение свежести, силы, доброты, душевной ясности, что Уля сразу почувствовала доверие к нему.

А он с невольной наблюдательностью юноши мгновенно охватил глазами ее облеченный в белую кофту и темную юбку стройный стан с гибкой и сильной талией деревенской девушки, привычной к полевой страде, черные глаза, направленные на него, волнистые косы, ноздри причудливого выреза, длинные, стройные загорелые ноги, едва ниже колен прикрытые темной юбкой,— вспыхнул, резко повернулся к Виктору и, смущенный, подал ему руку.

Олег Кошевой учился в самой крупной краснодонской школе — имени Горького,— расположенной в городском парке. Улю и Виктора он видел впервые, а с Анатолием он был связан той беспечной дружбой, которая нередко возникает между активными комсомольцами, дружбой от одного комсомольского совещания до другого.

— Да, вот где привелось встретиться,— сказал Анатолий.— А помнишь, еще третьего дня мы заходили к тебе всем гамузом воды напиться, и ты нас всех познакомил... со своей бабушкой! — засмеялся он.— Она что, с тобой едет?

— Нет, б-бабка осталась. И мама осталась,— сказал Олег, и на лбу его снова собрались продольные морщины.— Нас пятеро: Коля, мамин брат,— никак язык не повернется назвать его дядей! — улыбнулся он.— Жинка его, да их мальчишка, да д-дед, что нас везет,—

и он кивком головы указал на бричку впереди, откуда его уже несколько раз окликали.

Бричка, запряженная низкорослым, прытким на ноги буланым коньком, теперь все время катилась впереди, а гнедые кони так напирали сзади, что их влажные ноздри обдавали жаром шеи и уши сидящих в бричке.

Дядя Олега Кошевого, Николай Коростылев, или дядя Коля, инженер-геолог треста «Краснодонуголь», в синей пиджачной паре, красивый, чернобровый, кареглазый и флегматичный молодой человек, старше племянника всего лет на семь, друживший с ним, как с равным, поддразнивал его Улей.

— Этого, брат, упускать нельзя,— бубнил дядя Коля скучным голосом, не глядя на племянника,— шутка сказать, девку какую мало от смерти не спас! Здесь, брат, дело не обойдется без сватов. Верно, Марина?

— А ну вас к богу! Я так злякалась!

— А правда, хороша? — спрашивал Олег у своей молоденькой тетушки.— Просто чудо, как хороша!

— А Леночка?.. Ах ты, Олежка-дролежка! — так и пронзив его черненькими глазками, сказала тетушка.

Тетушка Марина была из прехорошеньких тетушек-хохлушек, которые, кажется, сошли с лубочной картинки,— в вышитой украинской кофте, в монистах, черненькая, белозубая, с пышными волосами, пушистым облаком стоящими вокруг головы,— даже внезапные сборы в дорогу не помешали ей убраться к лицу.

Она придерживала рукой трехлетнего толстого мальчика, необыкновенно жизнерадостно отзывавшегося на все, что он видел вокруг, и не подозревавшего, в какой ужасный мир он попал.

— Нет, я так скажу: Леночка, она, правда, пара нашему Олегу, а эта хоть и хорошенькая, а она нашего Олега никак не полюбит, бо Олег ще мальчик, а вона вже дивчина дай боже,— быстро говорила тетушка Марина, беспокойно поводя черными глазками вокруг и то и дело поглядывая на небо.— Это коли жинка уже старая, так ей нравятся мальчики, а коли вона ще молоденькая, то ей николи не полюбится моложе ее, то я по себе скажу,— говорила она такой скороговоркой, которая показывала, что тетушка действительно «злякалась».

Лена Позднышева была девушка-одноклассница, оставшаяся в Краснодоне, с которой Олег дружил, в которую был влюблен и которой были посвящены многие страницы его дневника. Может быть, он, Олег, и вправду поступил нехорошо по отношению к ней, так восторженно отозвавшись об Уле? Но что же в этом может быть нехорошего? Леночка — это уже навсегда в душе его, это уже никогда не может уйти, а Уля... И он снова видел перед собой Улю, и этих коней, и снова чувствовал, как конь слева дышал на него. И неужели после всего этого Марина может быть права, то есть эта девушка может не полюбить его оттого, что он еще мальчик! «Ах ты, Олежка-дролежка!..» Он был влюбчив и сам знал это за собой.

Обе подводы, бричка и селянская телега с косыми решетками, долго еще маневрировали по степи, стараясь обогнать колонну, но были еще сотни и тысячи людей, стремившихся также пробиться вперед, и везде, куда ни хватал глаз, был все тот же поток людей, машин и подвод.

И постепенно образы Ули и Леночки покинули Олега, и все заслонил этот беспрерывный поток людей, в котором, как утлые лодки в море, покачивались бричка, запряженная буланым коньком, и телега с гнедыми конями.

Степь без конца и края тянулась на все концы света, тучные дымы пожаров вставали на горизонте, и только далеко-далеко на востоке необыкновенно чистые, ясные, витые облака кучились в голубом небе, и не было бы ничего удивительного, если бы вылетели из этих облаков белые ангелы с серебряными трубами.

И вспомнилась Олегу мама с мягкими, добрыми руками...

...Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой,— он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее, руки твои,— ведь им столько выпало работы в жизни,— но они всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в темные жилочки.

Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении,

тихо, в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили на пеленки, и помню, как ты в тулупчике, зимой, несла ведра на коромысле, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: «бе-а — ба, ба-ба». Я вижу, как сильной рукой своею ты подводишь серп под жито, сломленное жменью другой руки, прямо на серп, вижу неуловимое сверкание серпа и потом это мгновенное плавное, такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых стеблей.

Я помню твои руки, несгибающиеся, красные, залубеневшие от студеной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни,— казалось, совсем одни на свете,— и помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела — пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались! Я видел, как они месили глину с коровьим пометом, чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдаванским вином. А с какой покорной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась вокруг шеи отчима, когда, он, играя с тобой, поднял тебя на руки,— отчим, которого ты научила любить меня и которого я чтил, как родного, уже за одно то, что ты любила его.

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои!

Ты проводила на войну сыновей,— если не ты, так другая, такая же, как ты,— иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен,— все это сделали руки матери моей — моей, и его, и его.

Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать,— не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя седеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы.

Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости...

Такие мысли и чувства теснились в душе Олега. Он уже не мог забыть того, что мать его осталась «там» и бабушка Вера. «подруга дней моих суровых», которая тоже была мамой, мамой его матери и дяди Коли, тоже осталась «там».

И лицо Олега стало серьезным, неподвижным, большие глаза в темно-золотистых ресницах заволоклись влажной пеленой. Он сидел, ссутулившись, свесив ноги, сцепив длинные сильные пальцы больших рук, и резкие продольные морщины легли у него на лбу.

Притихли и дядя Коля, и Марина, и даже их маленький сынишка, и такая же тишина установилась на подводе, следовавшей за ними. Потом и буланый конек и добрые гнедые кони в этой страшной жаре и толчее притомились, и обе подводы незаметно снова выбились на шоссе, по которому все катился и катился поток людей, машин и подвод.

И что бы ни делали, ни думали, ни говорили люди в этом великом потоке людского горя — шутили ли они, придремывали, кормили детей, заводили знакомства, поили лошадей у редких колодцев, за всем этим и надо всем незримо простиралась черная тень, надвигавшаяся из-за спины, простершая крылья уже где-то на севере

и на юге, распространявшаяся по степи еще быстрее, чем этот поток.

И ощущение того, что они вынужденно покидают родную землю, близких людей, бегут в безвестность и что сила, бросившая эту черную тень, может настигнуть и раздавить их,— тяжестью лежало на сердце у каждого.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Среди машин и беженцев, двигавшихся по обочине шоссе, куда прибило бричку и телегу, ползла грузовая машина шахты № 1-бис, на которой среди работников и имущества шахтоуправления ехали директор шахты Валько и Григорий Ильич Шевцов, с которым Уля всего несколько часов назад рассталась у калитки его дома.

Тут же пешком двигался детский дом для сирот участников Отечественной войны, помещавшийся в свое время на «Восьмидомиках»,— мальчики и девочки в возрасте пяти — восьми лет, в сопровождении двух девушек-нянь и заведующей домом — воспитательницы, пожилой женщины с пронзительными, невидящими глазами, с красным платком на голове, повязанным, как у жницы, и в резиновых пропылившихся ботах, надетых прямо на чулок.

Детский дом сопровождало несколько подвод с имуществом дома, и на них сажали по очереди притомившихся детей.

С того момента, как грузовик шахты № 1-бис настиг этот детский дом, все пассажиры грузовика поспрыгивали с машины и усадили в нее ребят. Григорию Ильичу так понравилась белокурая голубоглазая девочка с серьезным личиком и толстыми щечками — «пампушками», как называл их Григорий Ильич,— что он почти всю дорогу нес девочку на руках, целовал ей ручки и щечки-пампушки и разговаривал с ней, сам такой же белокурый и голубоглазый, как она.

За подводами детского дома, к которым присоединились теперь бричка и телега, двигалась сильно растянувшаяся по шоссе воинская часть с кухнями, пулеметами, артиллерией. Взгляд опытного военного сразу об

ратил бы внимание на то, что часть сильно оснащена противотанковыми ружьями и пушками. Странно выделяясь на фоне донецкого неба, плавно колыхаясь, как хоругви, медленно плыли гвардейские минометы. Издалека не видно было грузовиков, на которых они были установлены, и казалось, что эти странные сооружения сами по себе плывут над всей этой растянувшейся на многие километры массой военных и гражданских людей.

Сгущенная пыль какого-то уже ржавого цвета въелась в сапоги бойцов и командиров,— часть несколько суток была на походе. В голове колонны прямо за подводами, обтекая их, когда движение подвод замедлялось, шла рота автоматчиков. Они шли с прокаленными, как огнеупорный кирпич, лицами, неся перед собой на груди, как младенцев, свои автоматы, придерживаемые одной рукой, натруженной, а то и перевязанной после ранения.

Подвода, на которой ехала Уля, по какому-то неписаному распорядку сразу стала как бы принадлежностью хозяйства роты автоматчиков, частью самой роты: и на походе и на стоянке подвода неизменно оказывалась в центре роты, и, куда бы Уля ни глядела, она все время встречала бросаемые исподволь, а то и прямо направленные на нее взгляды молодых воинов в этих пропыленных сапогах и пилотках и в не раз пропотевших, высохших и вновь пропотевших, вываленных в сырой земле, в песке, в болоте, в хвое, в солончаке, выдержавших ливни и палящее солнце солдатских гимнастерках.

Несмотря на отступление, бойцы были в обычном в присутствии девушек бодром, озорном, шутливом настроении, и, как и во всякой роте на походе или на отдыхе, в роте автоматчиков оказался свой любимец-балагур.

— Куда, куда без приказа? — кричал он отцу Виктора, когда тот, используя малейшую возможность продвинуться вперед, понукал коней.— Не-ет, друг милый, вам теперь без нас ходу нет. Мы вас приписали к нашей роте навечно, служить вам теперь, как медному котелку. Мы вас и на довольствие зачислили, на шильное, мыльное, на приварок, а девушку — храни гос-

подь и православная церковь ее красоту! — каждое утро будем кофеем поить. Сладким!..

— Верно, Каюткин, не давай роту в обиду! — смеялись автоматчики, весело поглядывая на Улю.

— А что? Мы сей же час это проверим. Товарищ старшина! Федя! Аль он спит? Гляди, ребята, на ходу спит... Старшина! Подметки потерял...

— А ты головы не потерял?

— Одну глупую потерял, да она случайно у тебя на плечах оказалась, а умная при мне. Оне ж у меня приставные, гляди...

И Каюткин, аккуратно взявшись за свою некрупную голову — одной рукой за подбородок, а другой за затылок под пилоткой, небрежно сдвинутой на одну бровь,— выкатив глаза, стал производить головой вращательные движения, как бы вывинчивая шею. Иллюзия того, что голова отделяется от туловища, была настолько полной, что вся рота и все, кто был вблизи, грохнули хохотом. Уля не выдержала и тоже рассмеялась, звонко, по-детски, и смутилась. И все автоматчики радостно посмотрели на Улю, точно они знали, что Каюткин делает это для нее.

Он был физически мал, но необыкновенно ловок в движениях, этот балагур Каюткин. Лицо у него было все в мелких морщинках, но такое подвижное, что никак нельзя было угадать, сколько ему лет,— ему могло быть и за тридцать, и не больше двадцати, а по фигуре и повадке он был совсем мальчишка. Глаза у него были большие, синие, тоже в сети мелких морщинок, и, когда он умолкал, в них проглядывала вдруг идущая с самого глубокого дна застарелая усталость, но он будто не хотел, чтобы люди видели его усталость, и почти не умолкал.

— Вы откуда будете, молодые люди? — обратился он к товарищам Ули.— Вот видите! Вы из Краснодона,— удовлетворенно сказал он.— А девушка, скажем, будет кому-нибудь из вас сестрица? Или, извиняюсь, папаша, ваша дочь?.. Что ж это такоича? Девушка вполне свободная, ни дочь, ни сестра, ни мужняя жена! В Каменске ее, не иначе, мобилизуют. Мобилизуют, поставят регулировщицей. При сплошном поулошном движении! — И Каюткин неповторимым жестом показал на все, что творилось на шоссе и на степи.— Уж лучше

ей к нам, в роту автоматчиков!.. Ей-богу, вы, ребята, скоро попадете в Россию, там девок страсть как много, а у нас в роте ни одной. А нам такая девушка очень нужна для прививки настоящей речи и для благородства поведения...

— Уж это как она сама захочет,— с улыбкой отвечал Анатолий, смущенно поглядывая на Улю, которая, стараясь не смеяться и все же смеясь, глядела в сторону, чтобы не встретиться глазами с Каюткиным.

— У-у, ее мы уговорим! — воскликнул Каюткин.— Мы от нашей роты таких ребят выставим, они какую хочешь девушку уговорят!

«А что, если и в самом деле пойти, вот соскочить с телеги и пойти?» — вдруг с замиранием сердца подумала Уля.

Олег Кошевой, теперь все время шагавший рядом с телегой, не сводил с Каюткина глаз, как завороженный. Он был влюблен в Каюткина и хотел, чтобы все были влюблены в него. Стоило Каюткину открыть рот, как Олег уже смеялся, закинув голову, показывая все свои зубы. От удовольствия он даже потирал кончики пальцев, так ему нравился Каюткин. Но Каюткин словно и не чувствовал этого, даже ни разу не взглянул на него, как он ни разу не взглянул на Улю и ни на одного из людей, которых забавлял.

В одно из таких мгновений, когда Каюткин отпустил что-то совсем уже отчаянное и бойцы рассмеялись, с ротой поравнялся догнавший ее прямо по степи, весь покрытый слежавшейся пылью вездеходик.

— Смир-рно!..

Возникший из гущи роты капитан с длинной жилистой шеей, придерживая рукой болтающуюся кобуру, быстро перебирая худыми ногами, побежал к остановившемуся вездеходу, откуда выглянул полный генерал в новой фуражке на крупной круглой голове.

— Не надо, не надо,— сказал генерал,— отставить...

Он вылез из вездехода, пожал откозырявшему капитану руку, в то же время быстро оглядывая шагавших по пыли автоматчиков маленькими глазами, весело блестевшими на его суровом простом лице.

— Скажи, пожалуйста, наши курские и — Каюткин! — сказал он с видимым удовольствием. И, сделав рукой знак вездеходу, чтобы тот двигался следом по

степи, генерал неожиданно легким для его комплекции шагом пошел вместе с автоматчиками.— Каюткин — это отлично... Ежели жив Каюткин, значит, дух войска непобедим,— говорил он, весело глядя на Каюткина, но обращаясь к теснившимся к нему на ходу бойцам.

— Служу Советскому Союзу! — сказал Каюткин не в том искусственно приподнятом, шутливом тоне, в каком он говорил до сих пор, а очень серьезно.

— Товарищ капитан, бойцы знают, куда и зачем идем? — спросил генерал, обращаясь к идущему рядом, чуть отставая, командиру роты.

— Знают, товарищ генерал...

— Здорово показали себя тогда у водокачки, помните? — сказал генерал, быстрым взглядом окидывая бойцов, теснившихся к нему.— А главное — себя сохранили... А-а, вот то-то и оно! — воскликнул он, будто кто-то возражал ему.— Помереть нетрудно...

Все понимали, что генерал не столько хвалит за прошлое, сколько подготавливает к будущему. Улыбки сошли со всех лиц, и в них возникло неуловимо общее значительное выражение.

— Народ молодой, а опыт у вас знаете какой? Разве можно, например, сравнить с тем, как я был молодым,— говорил генерал.— Было время, шагал и я по этой дорожке. Ну-у, и враг был другой, и техника не та! По сравнению с той школой, что я тогда прошел, вы прошли университет...

Генерал сделал такое движение своей крупной головой, как будто ему хотелось не то что-то прогнать, не то утвердить. Это было у него в одних случаях выражение недовольства, а в других — удовлетворения. Сейчас это было выражение удовлетворения. Должно быть, ему приятно было вспомнить молодость и радовал его вид автоматчиков с их боевой выправкой, ставшей уже для них естественной.

— Разрешите обратиться,— сказал Каюткин.— Далеко он прошел?

— Далеко, черти бы его не учили! — сказал генерал.— Так далеко, что нам с вами вроде бы уж и неловко.

— И дальше пойдет?

Генерал некоторое время шел молча.

— От нас с вами зависит... С тех пор как мы его зимой побили, он силенок подкопил. Собрал технику со всей Европы и ударил в одном месте, по нас с вами. Расчет такой — не выстоим. А резервов у него нет... А-а, вот то-то и оно!..

Взгляд генерала упал на подводу впереди, и вдруг он узнал среди людей на подводе ту одинокую девушку на шоссе, над которой неслись немецкие пикировщики. Он представил себе все, что могло произойти и в судьбе и в душе этой девушки за то время, пока он на своем вездеходе успел только побывать во втором эшелоне дивизии и нагнать миновавшие Краснодон головные части. Выражение не то чтобы жалости, а сумрачной озабоченности появилось на лице генерала, и он вдруг заторопился.

— Успеха вам!

И, сделав знак вездеходу остановиться, он тем легким шагом, который был так неожидан при полноте генерала, быстро пошел к вездеходу.

Все время, пока генерал находился среди автоматчиков, вопросы, обращенные к нему, и жесты Каюткина были совершенно серьезными. Как видно, он и не считал нужным проявлять перед генералом те самые черты, благодаря которым он был заметен среди бойцов и любим ими. Но как только вездеход скрылся из глаз, прежняя энергия шутливой веселости вновь овладела Каюткиным.

Боец-пехотинец, громадного роста, с большими и черными, как сковороды, руками, запыхавшись, выбился из задних рядов колонны, держа в руке какие-то тяжелые предметы, завернутые в замасленную тряпку.

— Товарищи! Где здесь, сказали мне, шахтерская машина идет? — спрашивал он.

— Вон она, да только стоит! — пошутил Каюткин, указав на грузовик, весь усаженный детишками.

Колонна действительно остановилась из-за затора впереди.

— Извините, товарищи,— сказал боец, подходя к Валько и Григорию Ильичу, бережно поставившему белокурую девочку на землю,— хочу вам инструмент отдать. Вы народ мастеровой, и он вам сгодится, а мне он лишняя тяжесть на походе.— И он стал разворачивать перед ними замасленную тряпку.

Валько и Григорий Ильич, склонившись, смотрели ему на руки.

— Видали? — торжественно сказал боец, показывая в развернутой в его больших руках тряпке набор новеньких слесарных инструментов.

— Не понял — продаешь, что ли? — спросил Валько и недружелюбно поднял на него из-под сросшихся бровей цыганские свои глаза.

Кирпично-красное лицо бойца побагровело до того, что все покрылось капельками пота.

— Как только язык у тебя ворочается! — сказал он.— Я его на степе подобрал. Иду, а он так и лежит в тряпке,— должно, кто обронил.

— А может, выбросил, чтобы легче кульгать! — усмехнулся Валько.

— Мастеровой человек инструмента не выбросит. Обронил,— холодно сказал боец, обращаясь уже только к Григорию Ильичу.

— Спасибо, спасибо, друг...— сказал Григорий Ильич и торопливо стал помогать бойцу завертывать инструменты.

— Ладно, что пристроил, а то ведь жалко, инструмент хороший. У вас вон машина, а мне-то на походе, в полной выкладке, куда там! — говорил боец, повеселев.— Счастливо вам! — И он, пожав руку одному Григорию Ильичу, побежал обратно и скоро замешался в колонне.

Валько некоторое время молча смотрел ему вслед, и на лице его было выражение мужественного одобрения.

— Человек... Да...— хрипло сказал Валько.

И Григорий Ильич, державший в одной руке инструменты, а другой поглаживавший по головке белокурую девочку, понял, что его директор недоверчиво отнесся к бойцу не по недостатку сердца. Должно быть, директор привык к тому, что люди иногда обманывают его — руководителя предприятия, на котором работали тысячи людей, которое давало тысячи тонн угля в сутки. Предприятие это было теперь взорвано его, директора, собственными руками, люди частью были вывезены, частью остались на погибель. И Григорий Ильич впервые подумал, как темно может быть сейчас на душе у директора.

К вечеру стали слышны впереди звуки орудийной стрельбы. Ночью они приблизились, можно было даже расслышать пулеметные очереди. И всю ночь там, в районе Каменска, видны были вспышки, иногда настолько сильные, что они освещали всю колонну. Зарева пожаров окрашивали небо то там, то здесь в винный цвет и тяжело и багрово отливали среди темной степи по вершинам курганов.

— Братские могилы,— сказал отец Виктора, молча сидевший на телеге с огоньком самокрутки, иногда вырывавшим из темноты его мясистое лицо.— Это не стародавних времен могилы, это наши могилы,— глухо сказал он.— Мы пробивались тут с Пархоменко да с Ворошиловым и захоронили своих...

Анатолий, Виктор, Олег и Уля молча поглядели на курганы, облитые заревом.

— Да, сколько мы в школе сочинений написали о той войне, мечтали, завидовали отцам нашим,— и вот она пришла, война, к нам, будто нарочно, чтобы узнать, каковы мы, а мы уезжаем...— сказал Олег и глубоко вздохнул.

За ночь в движении колонны произошли перемены. Теперь машины и подводы учреждений и гражданских лиц и толпа беженцев вовсе не двигались,— говорили, что впереди проходят воинские части. Дошла очередь и до автоматчиков, они завозились в темноте, тихо позвякивая оружием, за ними вся часть зашевелилась. Машины, давая дорогу ей, теснились, рыча моторами. Во тьме мерцали огоньки цигарок,— казалось, что это звездочки в небе.

Кто-то тронул Улю за локоть. Она обернулась. Каюткин стоял со стороны воза, обратной той, где сидел отец Виктора и где стояли мальчики.

— На минуточку,— сказал он едва слышным шепотом.

Что-то такое было в его голосе, что она сошла к нему с воза. Они отошли немного.

— Извиняйте, что побеспокоил,— тихо сказал Каюткин,— нельзя вам ехать на Каменск, его вот-вот немец возьмет, а по той стороне Донца немец и вовсе далеко пошел. Про то, что я вам сказал, вы никому не говорите, я на то права не имел, но люди вы свои, и

мне жалко, коли вы пропадете ни за что. Надо вам свернуть куда южнее, и то дай бог, чтобы поспели.

Каюткин говорил с Улей так бережно, будто огонек держал в ладонях, лицо его было плохо видно в темноте, но оно было серьезным и мягким и в глазах не было усталости — они блестели в темноте.

И на Улю подействовало не то, что он сказал, а то, как он говорил с ней. Она молча глядела на него.

— Как зовут-то тебя? — тихо спросил Каюткин.

— Ульяна Громова.

— Нет ли у тебя карточки своей?

— Нет.

— Нет...— повторил он печально.

Чувство жалости к нему и в то же время какое-то озорное чувство вдруг так и подхватило Улю,— она близко, совсем близко склонилась к его лицу.

— У меня нет карточки,— сказала она шепотом,— но если ты хорошо, хорошо посмотришь на меня,— она помолчала и некоторое время смотрела ему прямо в глаза своими черными очами,— ты не забудешь меня...

Он замер, только большие глаза его некоторое время печально светились в темноте.

— Да, я не забуду тебя. Потому что тебя нельзя забыть,— прошептал он чуть слышно.— Прощай...

И он, грохоча тяжелыми солдатскими сапогами, присоединился к части, которая все уходила и уходила во тьму со своими цигарками, нескончаемая, как Млечный Путь.

Уля еще раздумывала, сказать ли кому-нибудь о том, что он сказал ей, но, видно, это было известно не только ему и уже проникло в колонну.

Когда она подошла к телеге, многие машины и подводы сворачивали в степь, на юго-восток. В том же направлении потянулись вереницей беженцы.

— Придется на Лихую,— послышался хриплый голос Валько.

Отец Виктора о чем-то спросил его.

— Зачем разлучаться, будем двигаться вместе, раз уж судьба связала нас,— сказал Валько.

Рассвет застал их уже в степи без дороги.

Он был так прекрасен в открытой степи, этот рассвет,— проясневшее небо над необъятными пространствами хлебов, здесь почти не тронутых; светло-зеле-

ная отава на дне балок, посеребренная росою, в капельках которой радужно отражался скользящий вдоль балок нежный свет солнца, встававшего прямо на людей. Но тем печальнее в свете этого раннего утра выглядели измученные, заспанные, осунувшиеся лица детей и сумрачные, измятые, полные тревоги лица взрослых.

Уля увидела заведующую детским домом, в этих ее насквозь пропылившихся резиновых ботах, надетых прямо на чулок. Лицо у заведующей почернело. Всю дорогу она шла пешком и только с ночи подсела на одну из подвод. Донецкое солнце, казалось, иссушило и выжгло ее дотла. Эту ночь она, видно, тоже не спала и уже все время молчала, все делала машинально, в пронзительных, невидящих глазах ее было потустороннее, не здешнего мира выражение.

С самого раннего утра в воздухе, не умолкая, стоял рокот моторов. Самолетов не было видно, но впереди слева слышны были сотрясавшие воздух гулкие бомбовые удары, и иногда где-то очень далеко стрекотали пулеметы в небе.

Там, над Донцом и Каменском, невидимые отсюда, а только слышимые, развертывались воздушные бои. И только один раз они увидели впереди уходивший низом, отбомбившийся немецкий пикировщик.

Олег вдруг соскочил с брички и подождал, пока телега поравняется с ним.

— Подумать только, нет, только подумать,— сказал он, идя рядом с телегой, держась за край ее и глядя на товарищей большими повлажневшими глазами,— ведь если немцы за Донцом, а эта часть, что шла с нами, задерживает их в Каменске, ей уже не уйти, и этим автоматчикам, и этому парню чудесному, что всех веселил, и этому генералу, всем им уже не уйти! И они, конечно, знали это, когда шли, они знали это! — взволнованно говорил Олег.

Мысль о том, что Каюткин прощался с ней перед смертью, так и пронзила сердце Ули, и она вся вспыхнула от стыда, когда вспомнила то, что она сказала ему. Но чистый внутренний голос говорил ей, что она не сказала ничего такого, что было бы тяжко вспомнить Каюткину, когда он встретит свой смертный час.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Беженцы все еще проходили через Краснодон, и над городом все время стояли облака пыли, покрывавшей одежду людей, цветы, листья лопухов и тыкв грязно-черно-рыжим слоем.

За парком погромыхивал взад-вперед по ветке железнодорожный состав, подбиравший от шахты к шахте оборудование, какое еще можно было вывезти. Слышно было сопение паровоза, свистки, рожок стрелочника. Оттуда, с переезда, доносились возбужденные человеческие голоса, шелест множества ног по пыли, урчанье машин и грохот колес артиллерии по помосту,— это продолжали отходить воинские части. И слышны были то в том, то в другом направлении за холмами дальние гулкие раскаты орудийных залпов, как будто там, за этими холмами, по необъятному простору степи покатывали с места на место громадную, с боками до неба, порожнюю бочку.

На широкой улице, упиравшейся в ворота парка, возле двухэтажного каменного здания треста «Краснодонуголь» еще стоял грузовик, и люди, мужчины и женщины, выносили через главные распахнутые двери последние остатки имущества треста и грузили их на машину.

Люди работали спокойно, споро, молчаливо. Их лица с выражением хмурой озабоченности и руки, отяжелевшие от таскания тюков и чемоданов, были потны и грязны. А немного в сторонке, под самыми окнами треста, стояли юноша и девушка и разговаривали так увлеченно и беззаветно, что видно было — и этот грузовик, и потные, грязные люди, и все, что происходило вокруг, не было и не могло быть для них важнее того, о чем они говорили.

Девушка в розовой кофте и в желтых туфлях на босу ногу была крупная, полная, русая, с темными, матово поблескивающими, как миндалины, глазами, чуть косоватыми. Оттого, что она чуть косила, она смотрела на юношу немного сбоку, повернув на белой полной атласной шее вскинутую точеную голову.

Юноша был длинный, нескладный, сутуловатый, в синей застиранной косоворотке с короткими для его длинных рук рукавами, подпоясанной узким ремешком,

в серых в коричневую полоску, коротковатых брюках и в тапочках на босу ногу. Длинные прямые темные волосы не слушались его, когда он говорил, падали на лоб, на уши, и он то и дело закидывал их резким движением головы. Лицо его принадлежало к тому типу бледных лиц, которые почти не берет загар. К тому же юноша был явно застенчив. Но в выражении лица его было столько природного юмора и в то же время затаенного, вот-вот готового вспыхнуть вдохновения, что это волновало девушку: она смотрела ему в лицо не отрываясь.

Им не было никакого дела, слушают ли их и смотрят ли на них люди. Но за ними наблюдали.

Наискосок через улицу, возле калитки стандартного дома, стояла сильно побитая, местами порыжевшая, местами вытертая до какого-то жестяного блеска, точно ей, как евангельскому верблюду, пришлось-таки ободрать бока, пролезая сквозь игольное ухо, черная легковая машина старой конструкции, высоко поставленная на колесах. Это было первое детище советского автомобилестроения, везде уже вышедшее из употребления и в просторечии именуемое «газик».

Да, это был «газик» — из тех, что прошли тысячи, десятки тысяч километров по степям Дона и Казахстана и по тундрам Севера, что взбирались едва не по козьим тропам на горы Кавказа и Памира, что проникли в таежные дебри Алтая и Сихотэ-Алиня, обслужили строительство Днепровской плотины, и Сталинградского тракторного, и Магнитостроя, что подвозили Чухновского и его товарищей к северному аэродрому для спасения экспедиции Нобиле и сквозь метели и торосы ползли по амурской ледяной трассе на подмогу первым строителям Комсомольска,— одним словом, это был «газик» из тех, что, напрягая усилия, вытянули на своей спине всю первую пятилетку, вытянули, устарели и уступили свое место более совершенным машинам, детищам тех самых заводов, которые они вытянули.

«Газик», что стоял возле стандартного дома, был закрытый «газик»-лимузин. Внутри него, у заднего сиденья, в ногах, стоял длинный тяжелый ящик; сбоку, поперек сиденья и ящика, лежало два чемодана, один на другом; поверх них, под самой крышей,— два туго набитых рюкзака; к ним прислонены были два автомата «ППШ» с надетыми дисками, и еще рядом лежала стоп-

ка дисков. А на месте, оставшемся свободным, сидела белокурая загорелая женщина со строгими чертами лица, в плотном дорожном платье неопределенного, от частого пребывания под солнцем и дождем, цвета. Ей уже негде было свободно поставить ноги, и она, закинув одну на другую, едва поместила их между ящиком и дверцей.

Женщина беспокойно поглядывала в сквозные отверстия дверок лимузина,— стекол в дверцах давно уже не было,— то на крыльцо стандартного дома, то в сторону грузившейся у треста машины. Видно было, что она ждет кого-то, ждет довольно долго, и ей неприятно, что люди, которые грузят на машину, могут видеть и этот одинокий лимузин и ее, женщину, в лимузине. Беспокойство, как тень, пробегало по ее строгому лицу, потом она снова откидывалась на сиденье и в отверстие в дверце пристально и задумчиво смотрела на юношу и девушку, разговаривавших под окнами треста. Постепенно черты ее лица смягчались, и, не замечаемый ею самой, слабый отзвук доброй и грустной улыбки возникал в ее серых глазах и на ее твердых, резкого рисунка губах.

Женщине было тридцать лет, и она не знала, что это выражение доброго сожаления и грусти, возникавшее в лице ее, когда она смотрела на юношу и девушку, только и было выражением того, что ей уже тридцать лет и что она не может быть такой, как эти юноша и девушка.

Несмотря на все, что происходило вокруг и на всем белом свете, юноша и девушка объяснялись в любви. Они не могли не объясниться, потому что они должны были расстаться. Но они объяснялись в любви, как объясняются только в юности, то есть говорили решительно обо всем, кроме любви.

— Я так рада, Ванечка, что ты пришел, у меня точно тяжесть с души упала,— говорила она, глядя на него своими мерцающими, поблескивающими глазами с этим косым поворотом головы, милее которого не было для него ничего на свете,— я уже думала, мы уедем, и я так тебя и не увижу...

— Но ты понимаешь, почему я не заходил эти дни? — спрашивал он глуховатым баском, сверху вниз глядя на нее близорукими глазами, в которых, как угли под золой, теплилось вот-вот готовое вспыхнуть вдохновение.— Нет, я знаю, ты все, все понимаешь... Я дол-

жен был уехать еще три дня тому назад. Я уже совсем сложился и даже красоту навел перед тем, как зайти к тебе проститься, вдруг меня — в райком комсомола. Пришел в аккурат этот приказ об эвакуации, и все навыворот пошло. Мне и досадно, что курсы мои уехали, а я остался, и ребята просят помочь, и я сам вижу, что помочь надо... Сегодня Олег предлагал мне место в бричке, ехать на Каменск,— ты знаешь, как мы с ним дружим,— но мне было уже неловко уезжать...

— Ты знаешь, у меня точно тяжесть с сердца упала,— сказала она, неотрывно глядя на него своими матово поблескивающими глазами.

— Признаться, я в душе тоже был рад: думаю, я ее еще много-много раз увижу. Черта с два! — басил он, не в силах оторваться от ее глаз, весь в плену того жаркого, нежного тепла, которое шло от ее чуть раскрасневшегося лица и полной шеи и от всего ее большого, чувствующегося под розовой кофточкой тела.— Нет, ты представляешь себе? Школа имени Ворошилова, школа имени Горького, клуб Ленина, детская больница — и все на меня. Счастье, что помощник хороший нашелся — Жора Арутюнянц. Помнишь? Из нашей школы. Вот парень! Сам вызвался. Мы с ним не помним, когда и спали. И днем и ночью — все на ногах: подводы, машины, погрузка, фураж, там шина чертова порвалась, там бричку надо в кузню. Бред сивой кобылы!.. Но я, конечно, знал, что ты не уехала. От отца знал,— сказал он с застенчивой улыбкой.— Вчера ночью иду мимо вашего дома, у меня аж сердце оборвалось! А что, думаю, ежели постучать? — Он засмеялся.— Потом вспомнил родителя твоего — нет, думаю, Ваня, терпи...

— Ты знаешь, у меня просто тяжесть...— начала было она.

Но он, увлеченный, не дал ей договорить.

— Сегодня я, правда, уже решил плюнуть на все. Уедет, думаю! Ведь не увижу! И что ж ты скажешь? Оказалось, детский дом — тот, что на Восьмидомиках, что организовали зимой для сирот,— еще не эвакуирован. Заведующая — она рядом с нами живет — прямо ко мне, чуть не плачет: «Товарищ Земнухов, выручите. Хоть через комитет комсомола достаньте транспорт». Я говорю: «Уехал уже комитет комсомола, обратитесь

в отдел народного образования».— «Я, говорит, с ним все эти дни связана, обещали вот-вот вывезти, а сегодня утром прибежала — у них и для себя-то транспорта нет. Пока сбегала туда-сюда, уже и отдела народного образования не осталось...» — «Куда же он делся, говорю, ежели у него транспорта нет?» — «Не знаю, говорит, как-то рассосался...» Отдел народного образования рассосался! — Ваня Земнухов вдруг так весело расхохотался, что его непослушные длинные прямые волосы попадали на лоб и на уши, но он их тотчас же откинул резким движением головы.— Вот чудики! — смеялся он.— Ну, думаю, пропало твое дело, Ваня! Не видать тебе Клавы, как своих ушей! И можешь представить, себе, взялись мы с Жорой Арутюнянцем за это дело, достали пять подвод. И, знаешь, у кого? У военных. Заведующая прощалась, слезами нас до нитки промочила. И ты думаешь, это все? Я говорю Жоре: «Беги укладывай свой мешок, а я пока уложу свой». Потом я ему намекаю, что мне-де в одно место надо, ты, мол, заходи за мной, немного, в случае чего, обожди, в общем, внушаю ему всякое такое... Только я мешок свой уложил, вваливается ко мне этот, знаешь ты его? Ну, Толя Орлов? У него еще прозвище — «Гром гремит»...

— У меня просто тяжесть с сердца упала,— прорвавшись наконец сквозь поток его слов и страшно понизив голос, проговорила Клава со страстным блеском в глазах.— Я так боялась, что ты не зайдешь, ведь я же не могла сама зайти к тебе,— говорила она на каких-то бархатных низах своего голоса.

— Почему же? — спросил он, внезапно удивившись этой мысли.

— Ну, как ты не понимаешь? — Она смутилась.— А что бы я отцу сказала?

Пожалуй, это было самое большое, на что она могла пойти в этом разговоре: дать наконец понять ему, что их отношения не есть обыкновенные отношения, что в этих отношениях есть тайна. Она в конце концов должна была напомнить ему об этом, если он сам не хочет об этом говорить.

Он замолчал и так посмотрел на нее, что вдруг все ее крупное лицо и белая полная шея до самого выреза розовой кофты на груди стали как эта кофта.

— Нет, ты не думай, что он плохо к тебе относится,— быстро заговорила она, мерцая своими косоватыми, как миндалины, глазами,— он столько раз говорил: «Умный этот Земнухов...» И ты знаешь,— тут она снова перешла на неотразимые бархатные низы своего голоса,— если бы ты захотел, ты мог бы поехать с нами.

Эта вдруг возникшая возможность уехать с любимой девушкой не приходила ему в голову и так была заманчива, что он растерялся, посмотрел на девушку, неловко улыбнулся, и вдруг лицо его стало серьезным, и он рассеянно поглядел вдоль улицы. Он стоял спиной к парку, и вся перспектива улицы, уходящая на юг, облитая жарким солнцем, бившим в лицо, открылась перед ним. Улица точно обрывалась вдали, там был спуск ко второму переезду, и далеко-далеко видны были голубые холмы в степи, за которыми вставали дымы дальних пожаров. Но он этого ничего не видел: он был сильно близорук. Он только услышал раскаты орудийных выстрелов, свистки паровоза за парком и такой мирный, знакомый с детства, такой свежий и ясный под степным небом рожок стрелочника.

— У меня же, Клава, и вещей с собой нет,— сказал он грустно и растерянно и развел руками, словно показывая и свою непокрытую голову с распадающимися длинными темно-русыми волосами, и эту с короткими рукавами застиранную сатиновую рубаху, и коротковатые поношенные брюки в коричневую полоску, и тапочки на босу ногу.— Я даже очков не захватил, я и тебя-то как следует не вижу,— грустно пошутил он.

— Мы попросим папу и заедем за вещами,— тихо и страстно говорила она, искоса глядя на него. Она даже сделала движение взять его за руку, но не решилась.

И, как нарочно, отец Клавы, в кепке и сапогах и в сером поношенном пиджаке, неся два чемодана, весь обливаясь потом, вышел из-за грузовика, высматривая место, куда поставить чемоданы. Машина была загружена с верхом.

— Давай, товарищ Ковалев, я пристрою,— говорил работник, стоявший среди тюков и ящиков, и, опустившись на одно колено, придерживаясь рукой за край грузовика, по очереди принял чемоданы.

В это время, так же обходя грузовик, подошел и отец Вани, несший перед собой обеими худыми, жилистыми загорелыми руками узел, похожий на узел из прачечной,— должно быть, с бельем. Ему было очень трудно нести этот узел: он нес его перед собой в вытянутых руках, едва волоча подгибающиеся и шаркающие по земле длинные ноги. Его вытянутое морщинистое загорелое лицо, все в поту, даже побледнело, и на этом худом, изможденном лице страшно выделялись сильно белесые, с нездоровым блеском, строгие до мучительности глаза.

Отец Вани, Александр Федорович Земнухов, работал сторожем в тресте, а Ковалев, отец Клавы, заведующий хозяйством управления, был его непосредственным начальником.

Ковалев был из тех многочисленных завхозов, которые в обычное время спокойно несут бремя человеческого негодования, насмешек и презрения, выпадающих на долю всех завхозов, в отместку за зло, причиняемое человечеству некоторыми их нечестными собратьями,— он был одним из тех завхозов, которые в тяжелые минуты жизни обнаруживают, что же такое есть на свете настоящий завхоз.

В течение всех последних дней, с того момента, как он получил от директора приказ эвакуировать имущество треста, он, невзирая на мольбы и жалобы сослуживцев, льстивые проявления дружбы со стороны тех из начальников, которые в обычное время замечали его не больше, чем половую щетку в передней у голландской печки, невзирая на все это, он так же спокойно, ровно и споро, как всегда, упаковал, погрузил и отправил все, что имело хоть какую-нибудь ценность. Этим утром, на заре, он получил приказ уполномоченного по эвакуации треста не задерживаться долее ни минуты, уничтожить документы, которые нельзя вывезти, и немедленно выезжать на восток.

Но, получив этот приказ, Ковалев так же спокойно и быстро препроводил сначала самого уполномоченного с его имуществом и, неизвестно откуда и как добывая все виды транспорта, продолжал отправлять оставшееся имущество треста, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть. Пуще всего он боялся, что и в этот трагический день его, как всегда, обвинят в том, что он

прежде всего устраивает себя, и поэтому он твердо решил уехать вместе с семьей на последней машине, которую он все-таки приберег на этот случай.

А старик Земнухов, Александр Федорович, сторож треста, по старости своей и болезни вообще не собирался и не мог выехать. Несколько дней тому назад он, как и все служащие, кто не мог выехать, получил окончательный расчет с двухнедельным выходным пособием, то есть все его дела с трестом были покончены. Но все эти дни и ночи он, так же волоча свои изуродованные ревматизмом ноги и шаркая ступнями, помогал Ковалеву паковать, грузить и отправлять имущество треста, потому что старик уже привык относиться к имуществу треста, как к своему имуществу.

Александр Федорович был старый донецкий шахтер, чудесный плотник. Еще молодым парнем, выходцем из Тамбовской губернии, он начал ходить на шахты на заработки. И в глубоких недрах донецкой земли, в самых страшных осыпях и ползунах, немало закрепил выработок его чудесный топорик, который в руках у него поклевывал, играл и пел, как золотой петушок. С юных лет работая в вечной сырости, Александр Федорович нажил свирепый ревматизм, вышел на пенсию и стал сторожем в тресте и работал сторожем так, как будто он по-прежнему был плотником.

— Клавка, собирайся, матери помоги! — взревел Ковалев, тыльной стороной грязной плотной ладони смахивая пот со лба под задранным козырьком кепки.— А, Ваня! — безразлично сказал он, увидев Земнухова.— Видал, что делается? — Он яростно покачал головой, но тут же схватился руками за узел, который нес перед собой Александр Федорович, и помог взвалить на машину.— Действительно, можно сказать, дожили,— продолжал он, отдышиваясь.— Ах, сволочь! — и лицо его перекосилось от особенно гулкого раската той страшной бочки, что, как сумасшедшая, весело покатывалась по горизонту.— А ты что же, не едешь, или как? Как он у тебя, Александр Федорович?

Александр Федорович, не ответив и не взглянув на сына, пошел за новым узлом: он и боялся за сына и был недоволен им за то, что сын еще несколько дней тому назад не уехал в Саратов, вдогонку за вороши-

ловградскими юридическими курсами, где Ваня учился этим летом.

Клава, услышав слова отца, сделала Ване таинственный знак глазами, и даже тронула за рукав, и уже сама хотела что-то сказать отцу. Но Ваня опередил ее.

— Нет,— сказал он,— я не могу ехать сейчас. Я должен еще достать подводу Володе Осьмухину, он лежит после операции аппендицита.

Отец Клавы свистнул.

— Достанешь ее! — сказал он одновременно насмешливо и трагически.

— А кроме того, я не один,— избегая взгляда Клавы, с вдруг побелевшими губами сказал Ваня.— У меня товарищ, Жора Арутюнянц, мы тут вместе с ним крутились и дали слово, что пойдем вместе пешком, когда все кончим.

Теперь путь к отступлению был отрезан, и Ваня посмотрел на Клаву, темные глаза которой заволоклись туманом.

— Вот как! —сказал Ковалев с полным безразличием к Ване, к Жоре Арутюнянцу и к их уговору.— Значит, прощай пока,— и он шагнул к Ване и, вздрогнув от орудийного залпа, протянул ему свою потную широкую ладонь.

— Вы на Каменск поедете или на Лихую? — спросил Ваня очень басистым голосом.

— На Каменск?! Немцы вот-вот возьмут Каменск!—взревел Ковалев.— На Лихую, только на Лихую! На Белокалитвенскую, через Донец — и лови нас...

Что-то тихо треснуло и зазвенело над их головами, и сверху посыпался мусор.

Они подняли головы и увидели, что это распахнулось окно на втором этаже, в комнате, где помещался плановый отдел треста, и в окно высунулась толстая, лысоватая, малиновая голова, с лица и шеи которой буквально ручьями катился пот,— казалось, он сейчас начнет капать на людей под окном.

— Да разве ж вы не уехали, товарищ Стаценко? — удивился Ковалев, признав в этой голове начальника отдела.

— Нет, я разбираю здесь бумаги, чтобы не осталось немцам чего-нибудь важного,— очень тихо и вежливо, как всегда, сказал Стаценко грудным низким голосом.

— Вот-то удача вам, скажи на милость! — воскликнул Ковалев.— Ведь мы же минут через десяток уехали бы!

— А вы езжайте, я найду, как выбраться,— скромно сказал Стаценко.— Скажи-ка, Ковалев, не знаешь, чья это вон машина стоит?

Ковалев, его дочь, Ваня Земнухов и работник на машине повернули головы в сторону «газика».

Женщина в «газике» мгновенно переменила положение, подавшись вперед, чтобы ее не было видно в отверстие в дверце.

— Да он вас не возьмет, товарищ Стаценко, у него своей хворобы хватит! — воскликнул Ковалев.

Он так же, как и Стаценко, знал, что в этом домике с прошлой осени живет работник обкома партии Иван Федорович Проценко, живет один, снимая комнату у чужих людей: жена его работала в Ворошиловграде.

— А мне и не нужно его милости,— сказал Стаценко и посмотрел на Ковалева маленькими красными глазками застарелого любителя выпить.

Ковалев вдруг смутился и быстро покосился на работника на машине,— не понял ли тот слов Стаценко в том нехорошем смысле, в каком они были высказаны.

— Я, в простоте душевной, полагал, что они уже все давным-давно удрали, а вдруг гляжу — машина, вот я и подумал: что бы это за машина? — с добродушной улыбкой пояснил Стаценко.

Некоторое время они еще поглядели на «газик».

— Выходит, еще не все уехали,— сказал Ковалев, помрачнев.

— Ах, Ковалев, Ковалев! — сказал Стаценко грустным голосом.— Нельзя быть таким правоверным — больше, чем сам римский папа,— сказал он, перевирая поговорку, которой Ковалев и вовсе не знал.

— Я, товарищ Стаценко, человек небольшой,— хрипло сказал Ковалев, выпрямившись и глядя не вверх, на окно, а на работника на машине,— я человек небольшой и не понимаю ваши намеки...

— Что ж ты на меня-то серчаешь? Я ж тебе ничего такого не сказал... Счастливого пути, Ковалев! Вряд ли увидимся уже до самого Саратова,— сказал Стаценко, и окно наверху захлопнулось.

Ковалев невидящими глазами и Ваня с выражением некоторого недоумения поглядели друг на друга. Ковалев вдруг густо побагровел, словно его обидели.

— Клавка, собирайся! — взревел он и пошел вокруг машины в здание треста.

Ковалев действительно был обижен, и был обижен не за себя. Ему обидно было, что человек, не простой, рядовой человек, как он, Ковалев, который по незнанию обстоятельств дела имел бы право роптать и жаловаться, а человек, подобный Стаценко, то есть приближенный к власти, немало хлеба-соли съевший с ее представителями и сказавший им в хорошие времена немало льстивых, витиеватых слов,— этот человек теперь осуждал этих людей, когда они уже не могли заступиться за себя.

Женщина в «газике», вконец обеспокоенная привлеченным ею вниманием, вся порозовев, сердито смотрела на входную дверь в стандартный домик.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Распахнув окна, чтобы сквозняком выдуло дым от сожженных документов, в одной из комнат, выходящих на глухой двор, сидели Иван Федорович и с ним еще двое. Хозяева квартиры выехали несколько дней тому назад. В комнате, как и во всем доме, было пустынно, уныло, бесприютно: живая душа покинула дом, осталась одна оболочка. Предметы были сдвинуты со своих мест. Иван Федорович и двое его собеседников сидели не за столом, а посреди комнаты на стульях. Они делились наметками предстоящей работы, обменивались явками.

Иван Федорович должен был сейчас уехать на партизанскую базу, куда несколько часов тому назад уже выехал его помощник. Как одному из руководителей областного подполья, Ивану Федоровичу надлежало находиться при отряде, базировавшемся в лесу возле станицы Митякинской, на границе Ворошиловградской и Ростовской областей. А двое его товарищей оставались здесь, в Краснодоне: природные донецкие шахтеры, оба они участвовали в гражданской войне во времена еще той немецкой оккупации и деникинщины.

Филипп Петрович Лютиков, оставленный секретарем подпольного райкома, был немного постарше своего товарища,— было ему уже за пятьдесят. В густых волосах Филиппа Петровича прорезалась неравномерная проседь, больше на висках и в чубе. Седина пробрызнула и в его коротко подстриженных колючих усах. Чувствовалось, что он был когда-то физически сильным человеком, но с годами и в теле и в лице его появилась нездоровая полнота, лицо оплыло книзу, и от этого подбородок, тяжеловатый от природы, казался теперь еще тяжелее. Лютиков привык следить за собой и даже в нынешних обстоятельствах одет был в опрятный черный костюм, плотно облегавший его большое тело, и в чистую белую рубашку с отложным воротничком и туго повязанным галстуком.

Старый мастеровой, герой труда еще тех первых лет восстановления хозяйства, он выдвинулся как производственник: был директором сначала совсем маленьких, а потом все более крупных предприятий. В Краснодоне он работал уже лет пятнадцать, в последние годы — начальником механического цеха Центральных мастерских треста «Краснодонуголь».

Его товарищ по подполью, Матвей Шульга, по отчеству Ко́стиевич, как его чаще называли,— Ко́стиевич это по-украински Константинович,— принадлежал к самому первому призыву промышленных рабочих, брошенных на помощь деревне. Родом из Краснодона, он так всю жизнь и проработал потом в разных районах Донбасса на должностях, связанных с деревней. С начала войны он работал заместителем председателя исполкома одного из северных сельских районов Ворошиловградской области.

В отличие от Лютикова, который еще со времени первой угрозы оккупации знал, что останется в подполье, Шульга получил назначение всего лишь два дня тому назад, по его личной просьбе, после того как район, в котором он работал, был занят немцами. Нашли, что удобно и выгодно оставить Шульгу для подпольной работы именно здесь, в Краснодоне: с одной стороны, он был человек местный, а с другой — его уже здесь мало кто знал.

Матвей Шульга, или Костиевич, был мужчина лет сорока пяти, с сильными круглыми плечами и крепким,

резких очертаний, загорелым лицом, с редкими темными крапинами в порах лица — этими следами профессии; они остаются навек у людей, долго работавших шахтерами или литейщиками. Костиевич сидел сейчас в кепке, сдвинутой на затылок, голова его была коротко острижена под машинку, из-под кепки выступало его могучее темя той крепкой кости, что редко выпадает человеку; у него и очи были воловьи.

Во всем Краснодоне не было людей, настроенных так же спокойно и в то же время торжественно-приподнято, как они трое.

— Хороший народ, прямо, можно сказать, настоящий народ остался под твоим командованием, с таким народом большие дела можно делать,— говорил Иван Федорович.— Сам-то ты у кого думаешь жить?

— А там, где и жил,— у Пелагеи Ильиничны,— сказал Лютиков.

На лице Ивана Федоровича выразилось не изумление, а как бы некоторое сомнение.

— Что-то не понял я тебя,— сказал он.

— Чего ж мне прятаться, Иван Федорович, судите сами,— сказал Лютиков.— Я здесь в городе человек настолько известный, что скрыться мне невозможно. Также и Баракову.— Он назвал фамилию отсутствовавшего здесь третьего руководителя подпольного райкома.— Немцы нас сразу найдут, да еще подумают что-нибудь плохое, ежели мы будем прятаться. А нам прятаться нечего. Немцам мастерские наши нужны позарез, а мы — тут как тут! Скажем: директор предприятия сбежал, инженерно-технический персонал большевики насильно увезли, а мы вот — остались работать на вас, на немцев. Рабочие разбежались,— мы их соберем. Нет инженеров? А вот вам Николай Петрович Бараков, инженер-механик,— пожалуйста! Он и по-немецки говорит... Уж мы на них поработаем,— сказал Филипп Петрович без улыбки.

Взгляд его, устремленный на Ивана Федоровича, был строгий, внимательный, и в нем было то особенное выражение ума, какое свойственно людям, привыкшим не брать ничего на веру, а все проверять самостоятельной мыслью.

— А Бараков как? — спросил Иван Федорович.

— Это наш план общий.

— А знаешь, какая первая опасность у вас обоих? — спросил Иван Федорович, обладавший уменьем видеть всякое дело со всех сторон, каким оно, это дело, может повернуться в жизни.

— Знаю: коммунисты,— отвечал Лютиков.

— Не в том дело. Коммунисты пошли работать на немцев, чего же им, немцам, лучше! Да не успеют понять свою выгоду: пока вы будете объяснять, чего хотите, они вас сгоряча...— Иван Федорович показал под потолок.

— Мы исчезнем на первые дни. Придем, когда в нас будет нужда.

— Вот! О том и речь. Меня и интересует, куда ты исчезнешь.

— Пелагея Ильинична найдет, куда спрятать...— Лютиков улыбнулся в первый раз за все время разговора, и его оплывшее книзу тяжелое лицо стало таким светлым от этой улыбки.

Выражение сомнения сошло с лица Ивана Федоровича: он был доволен Лютиковым.

— А як Шульга? — спросил он, посмотрев на Костиевича.

— Он не Шульга, он Остапчук Евдоким,— сказал Лютиков,— такая у него трудовая книжка с паровозостроительного. На днях поступил к нам слесарем в механический. Дело ясное: работал в Ворошиловграде, человек одинокий, бои начались — перебрался в Краснодон. Мастерские начнут работать, призовем и слесаря Остапчука поработать на немцев. Мы на них поработаем,— сказал Филипп Петрович.

Проценко обернулся к Шульге и, незаметно для себя, заговорил не на русском языке, каким он только что говорил с Лютиковым, а на смешанном, то русском, то украинском,— так говорил и Шульга.

— Скажи ж мени, Костиевич: на тех квартирах укрытия, що тебе дали, знаешь ли ты лично хоч едину людину? Короче говоря, самому-то тебе эти люди известны, что у них за семьи, что у них за окружение?

— Сказать так, що воны мне известны, так они мне досконально не известны,— медлительно сказал Шульга, поглядывая на Ивана Федоровича своими спокойными воловьими очами.— Один адресок,— по старинке у нас тот край назывался Голубятники, то Конд-

ратович, или, як его, Иван Гнатенко, у осьмнадцатом роци добрый був партизан. А второй адресок, на Шанхае,— то Фомин Игнат. Лично я его не знаю, бо вин у Краснодони человек новый, но и вы, наверно, слыхали — то один наш стахановец с шахты номер четыре, говорят, человек свой и дал согласие. Удобство то, що вин беспартийный, и хоть и знатный, а, говорят, никакой общественной работы не вел, на собраниях не выступал, такой себе человек незаметный...

— А на квартирах у них ты побывал? — допытывался Проценко.

— У Кондратовича, чи то — Гнатенка Ивана, я був последний раз рокив тому двенадцать, а у Фомина я николи не був. Да и когда ж я мог быть, Иван Федорович, когда вам самому известно, что я только вчера прибыл и мне только вчера разрешили остаться и дали эти адреса. Но люди ж подбирали, я думаю, люди ж знали? — не то отвечая, не то спрашивая, говорил Матвей Костиевич.

— Вот! — Иван Федорович поднял палец и посмотрел на Лютикова, потом опять на Шульгу.— Бумажкам не верьте, на слово не верьте, чужой указке не верьте! Все и всех проверяйте наново, своим опытом. Кто ваше подполье организовал, тех — вы сами знаете — уже здесь нет. По правилу конспирации — то золотое правило! — они уехали. Они уже далеко. Мабуть, уже у Новочеркасска,— сказал Иван Федорович с тонкой улыбкой, и резвая искорка на одной ножке быстро и весело скакнула из одного его синего глаза в другой.— Это я к чему сказал? — продолжал он.— Я сказал это к тому, что создавали подполье, когда еще была наша власть, а немцы придут, и будет еще одна проверка людям, проверка жизнью и смертью...

Он не успел развить своей мысли. Хлопнула наружная дверь с улицы, по комнатам послышались звуки шагов, и вошла та самая женщина, что сидела в «газике» у дома. На лице ее было написано все, что она испытывала, поджидая Ивана Федоровича.

— Заждалась, Катя? Та вже ж поихалы,— с широкой виноватой улыбкой сказал Иван Федорович и встал, встали и другие.— Знакомьтесь, то жинка моя, учителька,— сказал он с неожиданным самодовольством.

Лютиков уважительно пожал ее энергичную руку. С Шульгой она была знакома и улыбнулась ему:

— А ваша жена?

— Та мои ж уси...— начал было Шульга.

— Ах, простите... простите меня,— вдруг сказала она и быстро закрыла лицо ладонью. Но между пальцев и пониже ладони видно было, как все лицо ее залилось краской.

Семья Шульги осталась в районе, захваченном немцами, и это была одна из причин, по которой Шульга попросил оставить его на подпольной работе в области. Семья его не успела выехать, потому что немцы вторглись так внезапно, а Костиевич был в это время в дальних станицах: сбивал гурты скота для угона на восток.

Семья у Шульги была очень простая, как и он сам. Когда семьи работников эвакуировались на восток, семья Матвея Костиевича — жена и двое ребят: девочка школьница и семилетний сын — не пожелала уехать, и сам Матвей Костиевич не настаивал на том, чтобы семья уехала. Когда он был еще молодым и партизанил в этих местах, его молодая жена была вместе с ним, и первый их сын, теперь командир Красной Армии, родился как раз в это время. И им, по старой памяти, казалось, что семьи и в трудную пору жизни не должны разлучаться, а должны нести все тяготы вместе,— так они воспитывали и детей своих. Теперь Матвей Костиевич чувствовал себя виноватым в том, что его жена и дети остались в руках немцев, и надеялся еще выручить их, если они живы.

— Простите меня,— снова сказала жена Проценко, отнимая от лица руку и сочувственно и виновато посмотрела на Костиевича.

— Що ж, товарищи дорогие...— начал было Иван Федорович и смолк.

Пора уже было ехать. Но все четверо почувствовали, что им очень не хочется расставаться.

Прошло всего лишь несколько часов, как их товарищи уехали, уехали к своим, по своей земле, а они четверо остались здесь, они вступили в новую, неизвестную и такую странную, после того как двадцать четыре года они свободно ходили по родной земле, подпольную жизнь. Они только что видели своих товарищей, това-

рищи были еще так недалеко от них, что физически их еще можно было бы догнать, но они не могли догнать своих товарищей. А они, четверо, стали теперь так близки друг другу — ближе, чем самые родные люди. И им очень трудно было расстаться.

Они стоя долго трясли руки друг другу.

— Побачим, що воны за немци, яки воны хозяева та правители,— говорил Проценко.

— Вы себя берегите, Иван Федорович,— сказал Лютиков очень серьезно.

— Та я живучий, як трава. Бережись ты, Филипп Петрович, и ты, Костиевич.

— А я бессмертный,— грустно улыбнулся Шульга.

Лютиков строго посмотрел на него и ничего не сказал.

Они по очереди обнялись, поцеловались, стараясь не встречаться глазами.

— Прощайте,— сказала жена Проценко. Она не улыбнулась, она сказала это как-то даже торжественно, и слезы выступили на ее глазах.

Лютиков вышел первым, а за ним Шульга. Они ушли так же, как и пришли,— черным ходом, через дворик. Здесь были разные хозяйственные пристройки, из-за которых каждый незаметно вышел на соседнюю, параллельную главной, улицу.

А Иван Федорович с женой вышли на главную, Садовую улицу, упиравшуюся в ворота парка.

В лицо им ударило жаркое послеполуденное солнце. Иван Федорович увидел нагруженную машину напротив через улицу, работника на ней и юношу и девушку, прощавшихся возле машины, и понял, почему жена его была так обеспокоена.

Он долго крутил ручкой, «газик» встряхивало, но мотор не заводился.

— Катя, покрути ты, а я дам газу,— смущенно сказал Проценко, залезая в машину.

Жена взялась за ручку своей тонкой загорелой рукой и с неожиданной силой сделала несколько рывков. Машина завелась. Жена Ивана Федоровича тыльной стороной ладони смахнула пот со лба, швырнула ручку в ноги шоферского сиденья и сама села рядом с Иваном Федоровичем. «Газик» рывками, будто уросливый ко-

нек, стреляя выхлопной трубой и пуская струйки грязновато-синеватого дыма, побежал по улице, потом наладился и вскоре скрылся за спуском к переезду.

— И понимаешь, входит этот То̀ля Орлов,— знаешь его? — глуховатым баском говорил в это время Ваня Земнухов.

— Не знаю, он, наверно, из школы Ворошилова,— беззвучно отвечала Клава.

— Одним словом, он ко мне: «Товарищ Земнухов, здесь через несколько домов от вас живет Володя Осьмухин, очень активный комсомолец, недавно перенес операцию аппендицита, и его рано привезли домой, и вот у него открылся шов и загноился, не можете ли вы ему достать подводу?» Понимаешь мое положение? Я этого Володю Осьмухина прекрасно знаю,— золото, а не парень! Понимаешь мое положение? «Ну,— я говорю,— иди к Володе, я сейчас зайду тут в одно место, а потом постараюсь достать что-нибудь и зайду к вам». А сам побежал к тебе. Теперь ты понимаешь, почему я не могу поехать с вами? — виновато говорил Ваня, стараясь заглянуть в ее глаза, все больше наполнявшиеся слезами.— Но мы с Жорой Арутюнянцем...— снова начал он.

— Ваня,— сказала она, вдруг приблизившись к самому его лицу и обдав его теплым молочным дыханием.— Ваня, я горжусь тобой, я так горжусь тобой, я...— Она испустила стон, совсем не девичий, а какой-то низкий, бабий, и с этим стоном, забыв обо всем на свете, свободным, тоже не девичьим, а бабьим движением охватила его шею своими большими, полными, прохладными руками и страстно прильнула к его губам.

Девушка оторвалась от Вани и убежала в калитку. Ваня постоял немного, потом повернулся и, размахивая длинными руками, подставляя лицо и растрепавшиеся волосы, которых он уже не поправлял, солнцу, быстро пошел по улице в сторону от парка.

То вдохновение, которое, как угли под пеплом, теплилось в душе его, теперь, как пламя, освещало необыкновенное лицо его, но ни Клава и никто из людей не видели его лица теперь, когда оно стало таким прекрасным. Ваня один шел по улице, размахивая руками. Где-то в районе еще рвали шахты, где-то еще бежали, пла-

кали, ругались люди, шли отступающие войска, слышались раскаты орудийных залпов, моторы грозно ревели в небе, дым и пыль стояли в воздухе, и солнце немилосердно калило, но для Вани Земнухова не существовало уже ничего, кроме этих полных, прохладных, нежных рук на его шее и этого терпкого, страстного, смоченного слезами поцелуя на губах его.

Все, что происходило вокруг него, все это уже не страшило его, потому что не было уже ничего невозможного для него. Он мог бы эвакуировать не только Володю Осьмухина, а весь город — с женщинами, детьми и стариками, со всем их имуществом.

«Я горжусь тобой, я так горжусь тобой»,— говорила она низким бархатным голосом, и больше он уже ни о чем не мог думать. Ему было девятнадцать лет.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Никто не мог сказать, как сложится жизнь при немцах.

Лютиков и Шульга заблаговременно договорились о том, как им находить друг друга: по условному знаку, через третье лицо, хозяина главной явочной квартиры в Краснодоне.

Они вышли порознь и пошли каждый своей дорогой. Могли ли они предполагать, что уже никогда больше не увидят друг друга?

Филипп Петрович поступил так, как говорил Ивану Федоровичу: он исчез.

Шульге тоже надо было бы сейчас скромненько спрятаться на одной из квартир, указанных ему,— лучше всего на квартире Ивана Гнатенко, или Кондра́товича, как его запросто звали, старого партизана, его товарища. Но Шульга не видел Кондратовича двенадцать лет и почувствовал, что ему очень и очень не хочется именно сейчас идти к Ивану Гнатенко.

Как ни спокойно он держался, душа его болела и страдала. Ему нужен был сейчас человек очень близкий. И Матвей Костиевич стал вспоминать, кто же есть в Краснодоне из тех, с кем он особенно был близок во время того подполья, в 1918—1919 годах.

И тут Матвей Костиевич вспомнил сестру старого своего товарища Леонида Рыбалова, Лизу, и на большом лице его с въевшимися на всю жизнь крапинами угля выступила детская улыбка. Он вспомнил Лизу Рыбалову, какой она была в те годы, стройная, светловолосая, бесстрашная, с резкими движениями и голосом, быстроглазая, вспомнил, как она носила ему и Леониду еду на «Сеняки» и как она смеялась, сверкая белыми зубами, когда Шульга все шутил, что жалко, мол, у меня жинка, а то бы я за тобой присватал. И она ж хорошо знала жену его!

Лет десять — двенадцать тому назад он как-то встретил ее на улице и один раз, кажется, на каком-то женском собрании. Помнится, она была уже замужем. Да, она сразу же после гражданской войны вышла за какого-то Осьмухина. Этот Осьмухин служил потом в тресте. Он же сам, Матвей Шульга, был в жилищной комиссии, когда им давали квартиру в стандартном доме где-то на той улице, что идет к шахте № 5.

Он все вспоминал Лизу такой, какой он знал ее в дни молодости, и на него с такой силой нахлынули воспоминания тех молодых дней, что он снова почувствовал себя молодым. И все, что предстояло ему теперь, вдруг тоже представилось ему как бы освещенным светом его молодости. «Она не могла измениться,— думал он,— муж ее, Осьмухин, тоже вроде свой был человек... А, куда ни шло, задери его черт, зайду к Лизе Рыбаловой! Может, они не уехали, может, сама судьба ведет меня до них. А может, она уже одна живет?» — с волнением думал он, спускаясь к переезду.

За десять лет, что он тут не был, весь этот район застроился каменными домами, и теперь уже трудно было разобраться, в каком из них могут жить Осьмухины. Долго ходил он по притихшим улицам, среди домов с закрытыми ставнями, не решаясь зайти и спросить. Наконец он сообразил, что надо ориентироваться по копру шахты № 5, видневшемуся далеко в степи, и когда он пошел улицей, глядевшей прямо на копер, он сразу нашел домик Осьмухиных.

Окна с цветами на подоконниках были распахнуты,— ему почудились молодые голоса в комнатах, и сердце его забилось, как в молодости, когда он постучал в

дверь. Наверно, его не слышно было; он постучал еще раз. За дверью послышались шаги в мягкой обуви.

Перед ним стояла Лиза Рыбалова, Елизавета Алексеевна, в домашних туфлях, с лицом одновременно и злым и полным горечи, с опухшими, красными от слез глазами. «Эге, как потрепала ее жизнь»,— мгновенно подумал Шульга.

Но все же он сразу узнал ее. У нее и в молодости бывало это резкое выражение не то раздражения, не то злости, но Матвей Костиевич знал, как она на самом деле была добра. Она по-прежнему была стройна, и в светлых ее волосах не было седины, но продольные морщины, морщины тяжелых переживаний и труда, легли по лицу ее. И одета она была как-то неряшливо,— раньше она никогда не допускала себя до этого.

Она недружелюбно и вопросительно смотрела на незнакомого человека, который стоял на крыльце ее дома. И вдруг выражение удивления и словно отдаленной радости, возникшей где-то за стоящими в глазах слезами, появилось в лице ее.

— Матвей Константинович... Товарищ Шульга! — сказала она, и рука ее, державшая скобу двери, беспомощно упала.— Каким вас ветром занесло? В такое время!

— Трошки извини, Лиза, чи Лизавета Алексеевна, не знаю, як прикажешь звать... Еду вот на восток, эвакуируюсь, забежал проведать.

— То-то, что на восток — все, все на восток! А мы? А дети наши? — вдруг сразу возбужденно заговорила она, нервными движениями быстро поправляя волосы, глядя на него не то злыми, не то очень замученными глазами.— Вы вот едете на восток, товарищ Шульга, а сын мой лежит после операции, а вы вот едете на восток! — повторяла она, точно именно Матвей Костиевич не раз был ею предупрежден о том, что так может быть, и вот именно так и случилось, и он был виноват в этом.

— Извините, не серчайте,— сказал Матвей Костиевич очень покойно и примирительно, хотя в душе его внезапной грустью отозвалась какая-то тоненькая-тоненькая струна. «Вот ты какая оказалась, Лиза Рыбалова,— отозвалась эта струна,— вот как ты встретила меня, милая моя Лиза!»

Но он многое видел в своей жизни и владел собой.

— Скажите толком, что у вас приключилось такое?

Он тоже перешел на «вы».

— Да уж и вы извините,— сказала она все в той же резкой манере. Тень давнишнего доброго отношения снова появилась в лице ее.— Заходите... Только у нас такое идет! — Она махнула рукой, и на ее красных, подпухших глазах снова выступили слезы.

Она отступила, приглашая его пройти. Он вслед за ней вошел в полутемную переднюю. И сразу в распахнутую дверь, в залитой солнцем комнате направо, увидел трех или четырех парубков и девушку, стоявших возле кровати, на которой полулежал на подушке, покрытый выше пояса простыней, подросток-юноша с когда-то сильно загорелым, а теперь побледневшим лицом, с темными глазами, в белой майке с отложным воротничком.

— Это к сыну прощаться пришли. Вы сюда пройдите,— Елизавета Алексеевна указала ему в комнату напротив. Комната была с теневой стороны дома, в ней было темновато и прохладно.

— Так здравствуйте ж поперву,— сказал Матвей Костиевич, снимая кепку и обнажая крепкую, стриженную под машинку голову, и протянул руку.— Не знаю, як уже вас и называть — Лиза чи Лизавета Алексеевна?

— Зовите, как вам удобнее. За важностью не гонюсь и величанья не требую, а только какая уж я Лиза? Была Лиза, а теперь...— Она резко махнула рукой и замученно и виновато и в то же время как-то очень женственно взглянула на Матвея Костиевича своими подпухшими светлыми глазами.

— Для меня ты всегда будешь Лиза, бо я уже сам старый,— улыбнулся Шульга, садясь на стул.

Она села напротив него.

— А коли я уже старый, извини, начну прямо с замечания тебе,— все с той же улыбкой, но очень серьезно продолжал Шульга.— На то, что я еду на восток и другие наши люди едут на восток, на то ты серчать не должна. Сроку нам немец проклятый не отпустил. Когда-то ты вроде была своя жинка, значит, могу тебе сказать, что он, тот немец проклятый, вышел нам в глубокий тыл...

— А нам с этого разве легче? — с тоской сказала она.— Вы ж едете, а мы остаемся...

— Кто же в том виноват? — сказал он помрачнев.— Семьи, такие, как ваша,— сказал он, вспомнив свою семью,— мы с начала войны и доси вывозили на восток, и помощь давали, и транспорт. Мало сказать семьи — мы тысячи, десятки тысяч рабочих людей вывезли на Урал, в Сибирь. Чего ж вы в свое время не ехали? — спросил Матвей Костиевич со все более возникавшим в нем горьким чувством.

Она молчала, и в том, как она сидела, неподвижно, прямо, точно прислушиваясь к тому, что происходило в другой комнате, через переднюю, чувствовалось, что она плохо слушает его. И сам он невольно стал прислушиваться к тому, что происходит в той комнате.

Оттуда доносились только редкие тихие звуки голосов, и нельзя было понять, что там происходит.

Ваня Земнухов, при всей его настойчивости и хладнокровии, которые у товарищей его вошли даже в поговорку, так и не нашел подводы или места в машине для Володи Осьмухина и вернулся домой, где он застал истомившегося от ожидания Жору Арутюнянца. Отец тоже был уже дома, и по этому признаку Ваня понял, что Ковалевы уехали.

Жора Арутюнянц был сильно вытянувшийся в длину, но все же на полголовы ниже Земнухова, очень черный от природы да еще сильно загоревший семнадцатилетний юноша, с красивыми, в загнутых ресницах, армянскими черными глазами и полными губами. Он смахивал на негра.

Несмотря на разницу в годах, они сдружились за эти несколько дней: оба они были страстные книгочеи.

Ваню Земнухова даже называли в школе профессором. У него был только один парадный, серый в коричневую полоску, костюм, который он надевал в торжественных случаях жизни и который, как все, что носил Ваня, был ему уже коротковат. Но когда он поддевал под пиджак белую с отложным воротничком сорочку, повязывал коричневый галстук, надевал свои в черной роговой оправе очки и появлялся в коридоре школы с карманами, полными газет, и с книгой, которую он нес в согнутой руке, рассеянно похлопывая себя ею по плечу, шел по коридору вразвалку, неизменно спокойный, молчаливый, с этим скрытым вдохновением, которое таким ровным и ясным светом горело в душе его, отбра-

сывая на бледное лицо его какой-то дальний отсвет,— все товарищи, а особенно ученики младших классов, его питомцы-пионеры, с невольным почтением уступали ему дорогу, как будто он и в самом деле был профессором.

А у Жоры Арутюнянца даже была заведена специальная разграфленная тетрадь, куда он заносил фамилию автора, название каждой прочитанной книги и краткую ее оценку. Например:

«Н. Островский. Как закалялась сталь. Здорово!

А. Блок. Стихи о Прекрасной даме. Много туманных слов.

Байрон. Чайльд-Гарольд. Непонятно, почему это произведение так волновало умы, если его так скучно читать.

В. Маяковский. Хорошо! (Нет никакой оценки.)

А. Толстой. Петр Первый. Здорово! Показано, что Петр был прогрессивный человек».

И многое другое можно было прочесть в этой его разграфленной тетрадке. Жора Арутюнянц вообще был очень аккуратен, чистоплотен, настойчив в своих убеждениях и во всем любил порядок и дисциплину.

Все эти дни и ночи, занимаясь эвакуацией школ, клубов, детских домов, они, ни на минуту не умолкая, с жаром говорили о втором фронте, о стихотворении «Жди меня», о Северном морском пути, о кинокартине «Большая жизнь», о работах академика Лысенко, о недостатках пионердвижения, о странном поведении правительства Сикорского в Лондоне, о поэте Щипачеве, радиодикторе Левитане, о Рузвельте и Черчилле и разошлись только в одном вопросе: Жора Арутюнянц считал, что гораздо полезнее читать газеты и книги, чем гонять по парку за девочками, а Ваня Земнухов сказал, что он лично все-таки гонял бы, если бы не был так близорук.

Пока Ваня прощался с плачущей матерью, старшей сестрой и сердито сопевшим, крякавшим и старавшимся не глядеть на сына отцом, который в последний момент, однако, перекрестил его и вдруг припал к его лбу сухими губами,— Жора убеждал Ваню, что если он не достал подводы, то нет уже и смысла заходить к Осьмухиным. Но Ваня сказал, что он дал слово Толе Орлову и надо зайти и объяснить все.

Они вскинули за плечи вещевые мешки, Ваня взглянул в последний раз на свой любимый угол у из-

головья кровати, где висел литографированный портрет Пушкина работы художника Карпова, изданный украинским видавництвом в Харькове, и стояла этажерка с книгами, среди которых главное место занимали собрание сочинений Пушкина и маленькие томики поэтов пушкинской поры, изданные «Советским писателем» в Ленинграде,— Ваня взглянул на все это, преувеличенно резким движением насунул на глаза кепку, и они пошли к Володе Осьмухину.

Володя, в белой майке, покрытой до пояса простынею, полулежал на постели. Возле него лежала раскрытая книга, которую он, должно быть, еще сегодня утром читал,— «Релейная защита».

В углу у окна, за кроватью, кое-как свалены были, чтобы не мешали убирать комнату, всевозможные инструменты, мотки провода, самодельный киноаппарат, части радиоприемника,— Володя Осьмухин увлекался изобретательством и мечтал быть инженером-авиаконструктором.

Толя Орлов, по прозвищу «Гром гремит», лучший друг Володи и круглый сирота, сидел на табуретке возле кровати. «Гром гремит» его прозвали за то, что он вечно, и зимой и летом, был простужен и гулко кашлял, как в бочку. Он сидел, ссутулившись и широко расставив крупные колени. Все его суставы и сочленения в локтях, кистях, коленях, стопы и голени были неестественно развиты, мосласты. Густые серые вихры торчали во все стороны на круглой голове его. Выражение глаз у него было грустное.

— Ходить, значит, никак не можешь? — спрашивал Земнухов Володю.

— Куда же ходить, доктор сказал — шов разойдется, кишки вывалятся! — мрачно сказал Володя.

Он был мрачен не только потому, что сам вынужден был остаться, а и потому, что из-за него оставались мать и сестра.

— А ну, покажи шов,— сказал распорядительный Жора Арутюнянц.

— Что вы, он же у него забинтован! — испугалась сестра Володи Люся, стоявшая в ногах его, облокотившись о спинку кровати.

— Не беспокойтесь, все будет в совершенном порядке,— с вежливой улыбкой и приятным армянским ак-

центом, придававшим его словам особенную значительность, сказал Жора.— Я прошел сам всю школу первой помощи и великолепно разбинтую и забинтую.

— Это негигиенично! — протестовала Люся.

— Новейшая военная медицина, которой приходится работать в невыносимых полевых условиях, доказала, что это предрассудки,— безапелляционно сказал Жора.

— Это вы о чем-нибудь другом вычитали,— сказала Люся надменно. Но через мгновение она уже с некоторым интересом посмотрела на этого черного негритянского мальчика.

— Брось ты, Люська! Ну, я понимаю еще — мама, она человек нервный, а ты что вмешиваешься не в свои дела! Уходи, уходи! — сердито говорил Володя сестре и, откинув простыню, открыл свои настолько загорелые и мускулистые худые ноги, что никакая болезнь и лежанье в больнице не могли истребить этот загар и эти развитые мышцы.

Люся отвернулась.

Толя Орлов и Ваня поддерживали Володю, а Жора приспустил его синие трусы и разбинтовал его. Шов гноился и был в отвратительном состоянии, и Володя, делая усилия, чтобы не морщиться от боли, сильно побледнел.

— Дрянь дело. Да? — сказал Жора морщась.

— Дела не важнец,— согласился Ваня.

Они молча и стараясь не глядеть на Володю, узкие коричневые глаза которого, всегда светившиеся удалью и хитрецой, теперь грустно и заискивающе ловили взгляды товарищей, снова забинтовали его.

Теперь им предстояло самое трудное- они должны были покинуть товарища, зная о том, что ему угрожает.

— Де же чоловик твой, Лиза? — спрашивал в это время Матвей Костиевич, чтобы перевести разговор.

— Умер,— жестко сказала Елизавета Алексеевна.— В прошлом году, как раз перед войной умер. Он все болел и умер,— несколько раз повторила она с злым, как показалось Шульге, укором.— Ах, Матвей Константинович! — сказала она с мукою в голосе.— Вы теперь тоже стали из людей власти и, может быть, всего не видите, а если б вы знали, как тяжело нам сейчас! Ведь вы же власть наша, для простых людей, я же помню, из каких вы людей,— таких же, как и мы. Я помню, как мой

брат и вы боролись за нашу жизнь, и мне винить вас не в чем, я знаю, нельзя вам остаться на погибель. Но неужто ж вы не видите, что вместе с вами, все побросав, бегут и такие, кто мебель с собой везет, целые грузовики барахла, и нет им никакого дела до нас, простых людей, а ведь мы, маленькие люди, все это сделали своими руками. Ах, Матвей Константинович! И неужто ж вы не видите, что этим сволочам вещи, извините меня, дороже, чем мы, простые люди? — воскликнула она с искривившимися от муки губами.— А потом вы удивляетесь, что другие люди обижаются на вас. Да ведь один раз в жизни пережить такое — ведь во всем разуверишься!

Впоследствии Шульга не раз с мучительным волнением и скорбью вспоминал этот момент их разговора. Самое непоправимое было то, что он в глубине души понимал, какие чувства владели этой женщиной, и в душе его, широкой и сильной, были настоящие слова для нее. Но в тот момент, когда она так говорила, с прорвавшейся в ней мукой и, как ему казалось, злобой, ее слова и весь ее облик так противоречили представлению о той Лизе, которую он знал в дни молодости, так поразили его несоответствием тому, что он ожидал! И оскорбительным вдруг показалось ему, что, когда он сам оставался здесь, а вся семья его была уже в руках немцев, может быть, уже погибла, она, эта женщина, говорила только о себе, даже не спросила о его семье, о жене, с которой она была дружна в молодости. И с губ Шульги вдруг тоже сорвались слова, о которых он вспоминал потом с сожалением.

— Далеко вы заехали, Елизавета Алексеевна, в мыслях своих,— сказал он холодно,— далеко! Оно удобно, конечно, разувериться в своей власти, когда немецкая власть на пороге. Чуете? — сказал он, грозно подняв руку с коротким, поросшим волосом пальцем, и раскаты дальней артиллерийской стрельбы точно ворвались в комнату.— А думали вы, сколько там гибнет лучшего цвету народа нашего, тех, что из простых людей поднялись до власти, як вы кажете, а я скажу,— поднялись до сознания, що воны цвет народа, коммунисты! И коли вы разуверились в тех людях, разуверились в такой час, когда нас немец топчет, мне на то обидно. Обидно

и жалко вас, жалко,— грозно повторил он, и губы его задрожали, как у ребенка.

— Да вы что это?.. Что это?.. Вы... вы хотите обвинить меня, что я немцев жду? — задохнувшись и еще больше распаляясь оттого, что он ее так понял, резко вскричала Елизавета Алексеевна.— Ах вы... А сын мой? Я мать!.. А вы...

— А разве вы забыли, Елизавета Алексеевна, когда мы с вами были простые рабочие люди, як вы кажете, и вставала нам опасность от немцев, от белых, разве мы поперву о себе думали? — не слушая ее, говорил Матвей Костиевич с горьким чувством.— Нет, мы поперву не о себе думали, а думали о лучших наших людях — вожаках, вот о ком мы думали! Вспомните-ка брата вашего? Вот как всегда думали и поступали мы, рабочие люди! Спрятать, уберечь вожаков наших, лучших людей, цвет наш, а самим стать грудью,— вот как всегда думал и думает рабочий человек, и думать иначе считает для себя позором! Неужто ж вы так изменились с той поры, Елизавета Алексеевна?

— Обождите! — вдруг сказала она и вся выпрямилась, прислушиваясь к тому, что происходило в другой комнате через переднюю.

И Шульга тоже прислушался.

В той комнате наступила тишина, и эта тишина подсказала матери, что там что-то происходит. Она, мгновенно забыв о Матвее Костиевиче, резко рванулась в дверь и прошла к сыну. Матвей Костиевич, недовольный собой, хмуро сминая в больших, поросших темным волосом руках кепку, вышел в переднюю.

Сын Елизаветы Алексеевны, полулежа на постели, прощался с товарищами долго, молча пожимая им руки, взволнованно и нервически подергивая шеей и темной, остриженной под машинку, уже несколько обросшей головой. Как это ни странно было в его положении, на лице у него было выражение радостного подъема, темные узкие глаза его блестели. Один из его товарищей, вихрастый, неуклюжий, мосластый, стоял у его изголовья и, отвернувшись так, что лицо его видно было только в профиль, с просветленным выражением, расширенными глазами смотрел в солнечное распахнутое окно.

А девушка по-прежнему стояла у больного в ногах и улыбалась. И у Матвея Костиевича вдруг больно сжа-

лось сердце, когда в этой девушке он узнал прежнюю Лизу Рыбалову. Да, это была Лиза, какой он ее знал более двадцати лет назад, только более смягченная, чем та работница Лиза с немного большеватыми руками и резкими движениями, которую он знал и любил.

«Да, треба идти»,— с грустью подумал он, сминая в руках кепку, и неловко переступил по скрипящим половицам.

— Уходите? — громко спросила Елизавета Алексеевна, рванувшись к нему.

— Як кажуть, ничего не попишешь, пора уже ехать. Не серчайте.— И он надел кепку.

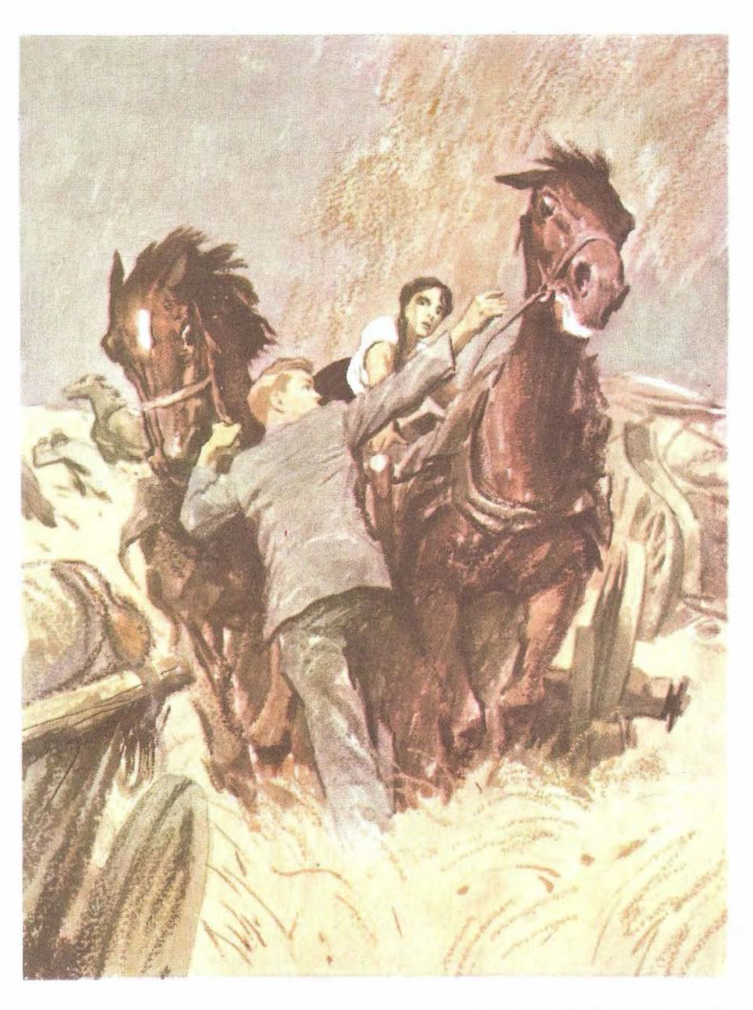
— Уже? — повторила она. Не то горькое чувство, не то сожаление прозвучало в этом ее вопросе-восклицании, а может быть, ему так показалось.— Не серчайте вы... Дай же вам бог, коли он есть, счастливо добраться, не забывайте нас, помните о нас,— говорила она, беспомощно опустив руки. И что-то такое доброе, материнское звучало в ее голосе, что к горлу его вдруг подкатил комок.

— Прощайте,— хмуро сказал Матвей Костиевич и вышел на улицу.

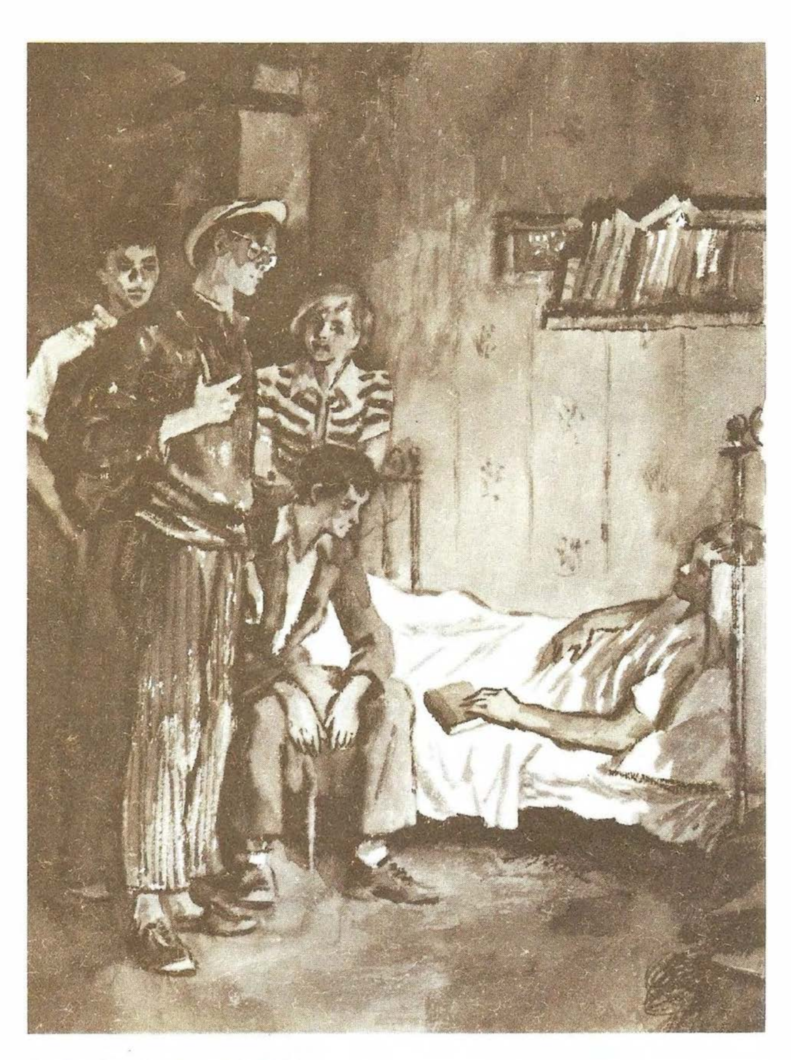
Ах, напрасно, напрасно ушел ты, товарищ Шульга! Напрасно ты покинул Елизавету Алексеевну и эту девушку, которая так походила на прежнюю Лизу Рыбалову, напрасно не вдумался, не вчувствовался в то, что произошло на твоих глазах между этими юношами, даже не поинтересовался тем, кто они, эти юноши!

Если бы Матвей Костиевич не поступил так, может быть, вся его жизнь сложилась по-иному. Но он тогда не только не мог понимать это, он был даже чем-то обижен и оскорблен. И ему ничего не оставалось, как идти в дальний район, который в старину назывался «Голубятниками», разыскивать домик своего товарища по старому партизанству, Ивана Гнатенко, или запросто Кондратовича, у которого он не был двенадцать лет. Мог ли он думать, что в этот момент он делал первый шаг по тому пути, который привел его к гибели?

А вот что произошло в последнюю минуту перед тем, как он вслед за Елизаветой Алексеевной вышел в переднюю,— вот что произошло в комнате, где лежал сын Елизаветы Алексеевны.



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Там стояло тягостное молчание. И тогда поднялся с табурета Толя Орлов, тот самый Толя Орлов, которого прозвали «Гром гремит», — он поднялся с табурета и сказал, что если уж его лучший друг Володя не может уехать, то он, Толя Орлов, останется с ним.

В первое мгновенье все растерялись. Потом Володя прослезился и стал целовать Толю Орлова, и всеми овладело радостное возбуждение. Люся, та бросилась «Грому гремит» на шею, стала целовать его в щеки, в глаза, в нос, — он не знал минуты счастливее этой. Потом Люся сердито посмотрела на Жору Арутюнянца. Ей очень хотелось, чтобы этот аккуратный юноша-негр тоже остался.

— Вот здорово! Вот это товарищи! Вот это молодец, Толя! — довольным глуховатым баском говорил Ваня Земнухов. — Я горжусь тобой... — вдруг сказал он. — Я и вот Жора Арутюнянц, мы гордимся тобой, — поправился он.

И он пожал Толе руку.

— Да разве мы будем просто так жить? — с блестящими глазами говорил Володя. — Мы будем бороться, правда, Толя? И не может быть, чтобы здесь никого не оставили от райкома партии для подпольной работы. Мы их найдем! Разве мы не сможем быть полезны!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ваня Земнухов и Жора Арутюнянц, простившись с Володей Осьмухиным, влились в поток беженцев, катившийся вдоль железной дороги на Лихую.

Первоначальный план их пути был на Новочеркасск, где у Жоры Арутюнянца была влиятельная, как он сказал, родня, могущая помочь в дальнейшем передвижении, — там дядя его работал сапожником при станции. Но Ваня, которому Жора подчинялся как старшему товарищу, узнав, что Ковалевы едут на Лихую, в последнюю минуту предложил Жоре этот новый маршрут, очень туманно сформулировав его преимущества. И Жора, которому было решительно все равно, куда ни идти, с готовностью изменил свой довольно ясный маршрут на туманный маршрут Земнухова.

На одном из этапов пути к ним присоединился маленький, кривоногий и донельзя усатый майор в сильно помятой гимнастерке с гвардейским значком с правой стороны груди, в сухих покоробленных сапогах. Его военная форма, особенно сапоги, находилась в таком горестном состоянии оттого, что, как он пояснил, она в течение пяти месяцев, пока он излечивался от ран, валялась в госпитальной кладовой.

Последнее время госпиталь занимал одно из отделений краснодонской главной больницы и теперь эвакуировался, но за недостатком транспорта всем, кто мог ходить, предложено было идти пешком, и еще более ста тяжелораненых осталось в Краснодоне без всякой надежды выбраться.

Кроме этого пространного объяснения судьбы своей и своего госпиталя, майор во весь остальной путь не произнес ни слова. Он был до крайности молчалив, он молчал упорно и совершенно безнадежно. Кроме того, майор хромал. Но, несмотря на свою хромоту, он довольно ретиво шагал в своих покоробленных сапогах, не отставая от ребят, и вскоре внушил такое уважение к себе, что ребята, о чем бы ни говорили, обращались к нему как к молчаливому авторитету.

В то время, когда множество людей, пожилых и молодых, и не только женщин, а мужчин с оружием в руках, страдало и мучилось в этом нескончаемом потоке отступления, Ваня и Жора, с вещевыми мешками за плечами, закатав рукава выше локтей, неся в руках кепки, шагали по степи, полные бодрости и радужных надежд. Их преимущество перед другими людьми было в том, что они были совсем юны, одиноки, не знали, где находится враг и где свои, не верили слухам, и весь свет с этой необъятной степью, раскаленным солнцем, дымом пожаров и пылью, тучей стоявшей в районе дорог, которые то там, то здесь бомбил и обстреливал немец,— весь свет казался им открытым на все четыре стороны.

И говорили они о вещах, которые не имели никакого отношения к тому, что происходило вокруг.

— Почему же ты считаешь, что быть юристом не интересно в наши дни? — спрашивал Ваня своим глуховатым баском.

— Потому что, пока идет война, надо быть военным, а когда война кончится, надо быть инженером, чтобы восстанавливать хозяйство, а юристом — это сейчас не главное,— говорил Жора с той четкостью и определенностью суждений, которая была ему свойственна, несмотря на его семнадцать лет.

— Да, конечно, пока идет война, я хотел бы быть военным, но военным меня не берут — по глазам. Когда ты отходишь от меня, я уже вижу тебя как что-то неопределенно долговязое и черное,— с усмешкой сказал Ваня.—А инженером быть, конечно, очень полезно, но тут дело в склонности, а у меня склонность, как ты знаешь, к поэзии.

— Тогда тебе нужно идти в литературный вуз,— очень ясно и четко определил Жора и посмотрел на майора, как на человека, который единственный может понимать, насколько он, Жора, прав. Но майор никак не отозвался на его слова.

— А вот этого я как раз и не хочу,— сказал Ваня.— Ни Пушкин, ни Тютчев не проходили литературного вуза, да тогда и не было такого, и вообще научиться стать поэтом в учебном заведении нельзя.

— Всему можно научиться,— отвечал Жора.

— Нет, учиться на поэта в учебном заведении — это просто глупо. Каждый человек должен учиться и начинать жить с обыкновенной профессии, а если у него от природы есть талант поэтический, этот талант разовьется путем самостоятельного развития, и только тогда, я думаю, можно стать писателем по профессии. Например, Тютчев был дипломатом, Гарин — инженером, Чехов — доктором, Толстой — помещиком...

— Удобная профессия! — сказал Жора, лукаво взглянув на Ваню черными армянскими глазами.

Оба они засмеялись, и майор тоже улыбнулся в усы.

— А юристом кто-нибудь был? — деловито спросил Жора.

В конце концов, если кто-нибудь из писателей был юристом, это вполне устраивало его и в отношении Вани.

— Этого я не знаю, но юридическое образование таково, что оно дает знания в науках, необходимых писателю,— в области наук общественных, истории, права, литературы...

— Положим, эти дисциплины,— сказал Жора не без некоторого щегольства,— эти дисциплины лучше пройти в педвузе.

— Но я не хотел бы быть педагогом, хотя вы там и прозвали меня профессором...

— Все-таки глупо, например, быть защитником на нашем суде,— сказал Жора,— например, помнишь, на процессе этих сволочей-вредителей? Я все время думаю про защитников. Вот глупое у них положение, а? — И Жора опять засмеялся, показав ослепительно белые зубы.

— Ну, защитником у нас, конечно, не интересно, у нас суд народный, но следователем, я думаю, очень интересно, можно очень много разных людей узнать.

— Лучше всего — обвинителем,— сказал Жора.— Помнишь, Вышинский? Здорово! Но все-таки я бы лично не стал юристом.

— Ленин был юристом,— сказал Ваня.

— То другое время было.

— Я бы еще с тобой поспорил, если бы мне не было ясно, что на эту тему — кем быть — спорить просто бесполезно и глупо,— сказал Ваня с улыбкой.— Надо быть человеком образованным, знающим свое дело, трудолюбивым, а если у тебя к тому же есть талант поэтический, он себя проявит.

— Ваня, ты знаешь, я всегда с удовольствием читал твои стихи и в стенгазете, и в журнале «Парус», который вы выпускали с Кошевым.

— Ты читал этот журнал? — живо переспросил Ваня.

— Да, я читал этот журнал,— торжественно сказал Жора,— я читал наш школьный «Крокодил», я следил за всем, что издается в нашей школе,— сказал он самодовольно,— и я тебе определенно скажу: у тебя есть талант!

— Уж и талант,— смущенно покосившись на майора, сказал Ваня и кивком головы закинул свои рассыпавшиеся длинные волосы.— Пока что так, кропаем стишки... Пушкин — вот это да, это мой бог!

— Нет, ты здорово, помню, Ленку Позднышеву продернул, что она все у зеркала кривляется... Ха-ха!.. Очень здорово, ей-богу! — с сильно прорвавшимся ар-

мянским акцентом воскликнул Жора.— Как, как это? «Прелестный ротик открывала...» Ха-ха...

— Ну, ерунда какая,— смущенно и глуховато басил Ваня.

— Слушай, а у тебя любовных стихов нет, а? — таинственно сказал Жора.— Слушай, прочти что-нибудь любовное, да? — И Жора подмигнул майору.

— Какие там любовные, что ты, право! — окончательно смутился Ваня.

У него были любовные стихи, посвященные Клаве и озаглавленные, совсем как у Пушкина: «К...» Именно так — большое «К» и многоточие. И он снова вспомнил все, что произошло между ним и Клавой, и все мечты свои. Он был счастлив. Да, он был счастлив среди всеобщего несчастья. Но разве он мог поделиться этим с Жорой?

— Нет, наверно, у тебя есть. Слушай, прочти, ей-богу,— сверкая мальчишескими армянскими глазами, упрашивал Жора.

— Брось глупости говорить...

— Неужели правда, не пишешь? — Жора вдруг стал серьезным, и в голосе его появилась прежняя учительская нотка.— Правильно, что не пишешь. Разве сейчас время писать любовные стихи, как этот Симонов, да? Когда надо воспитывать народ в духе непримиримой ненависти к врагу? Надо писать политические стихи! Маяковский, Сурков, да? Здорово!

— Не в этом дело, писать можно обо всем,— раздумчиво сказал Ваня.— Если мы родились на свет и живем жизнью, о которой, может быть, мечтали целые поколения лучших людей и боролись за нее, мы можем, имеем право писать обо всем, чем мы живем, это все важно и неповторимо.

— Ну, ей-богу, прочти что-нибудь! — взмолился Жора.

Невыносимая духота стояла в воздухе; они шли, то смеясь и вскрикивая, то переходя на тон интимно-доверительный; шли и жестикулировали, спины под вещевыми мешками были у них совсем мокрыми; пыль оседала на лицах, и, отирая пот, они размазывали ее по лицу; и оба они — и смуглый, как негр, Жора, и Ваня, с длинным лицом с бледным загаром,— и даже усатый майор походили на трубочистов. Но весь мир в эту ми-

нуту был для них — и они нисколько не сомневались в том, что и для майора,— сосредоточен на том, о чем они говорили.

— Ну что ж, я прочту...

И Ваня, не волнуясь, спокойным глуховатым голосом прочел:

Нет, нам не скучно и не грустно,
Нас не тревожит жизни путь.
Измен незнаемые чувства,
Нет, не волнуют нашу грудь.

Бегут мятежной чередою
Счастливой юности лета,
Мечты игривою толпою
Собой наполнили сердца.

Нам чуждо к жизни отвращенье,
Чужда холодная тоска,
Бесплодной юности сомненья
И внутренняя пустота.

Нас радости прельщают мира,
И без боязни мы вперед
Взор устремляем, где вершина
Коммуны будущей зовет.

— Здорово! У тебя определенный талант! — воскликнул Жора, с искренним восхищением глядя на старшего товарища.

В это время майор издал горлом какой-то странный звук, и Ваня и Жора обернулись к нему.

— Вы, ребята... вы даже не знаете, какие вы, ребята! — сипло сказал майор, с волнением глядя на них своими глубоко спрятанными под нависшими бровями влажными глазами.— Не-ет! Такое государство стояло и будет стоять! — вдруг сказал он и с ожесточением погрозил кому-то в пространство коротким черным пальцем.— Он думает, он у нас жизнь прекратил! — с издевкой в голосе продолжал майор.— Нет, брат, шалишь! Жизнь идет, и наши ребятишки думают о тебе, как о чуме или холере. Пришел — и уйдешь, а жизнь своим чередом — учиться, работать! А он-то думал! — издевался майор.— Наша-то жизнь навеки, а он кто? Прыщ на гладком месте,— сковырнул, и нет его!.. Ничего! Я в этом проклятом госпитале сам было пал духом,— неужто ж, думаю, на него и силы нет, а как я к вам пришвартовался и иду, у меня полное обновление души...

Думаю, многие клянут сейчас нас, армейцев, а разве можно? Отступаем — верно. Так ведь он какой кулак собрал! Но подумайте, какая сила духа! Ах, боже мой! Да это счастье — стоять на месте, не отступать, жизнь отдать, — поверьте совести, я сам бы почел за счастье жизнь отдать, отдать жизнь за таких ребят, как вы! — с волнением, сотрясавшим его легкое, сухое тело, говорил майор.

Ваня и Жора, смолкнув, с растерянным и добрым выражением смотрели на него.

Майор высказался, поморгал, отер усы грязным носовым платком и смолк, и так молчал уже до самой ночи. А ночью майор с внезапной энергией и яростью кинулся «рассасывать», как он выразился, гигантскую пробку из машин, подвод и артиллерийского обоза, и Ваня и Жора навсегда потеряли его из виду и тотчас же забыли про него.

До Лихой они добирались двое суток. К тому времени уже стало известно, что на юге бои идут под Новочеркасском, а по той стороне Донца, в широком степном пространстве между Донцом и Доном, действуют прорвавшиеся немецкие танки и моторизованные части.

Но, по слухам, какая-то часть упорно сражалась под Каменском, не пропуская немцев на Лихую. Народная молва из уст в уста передавала фамилию генерала, командира части. Именно ему и его части люди были обязаны тем, что переправы через Нижний Донец все были в наших руках и еще можно было по степным проселкам свободно выйти на Дон и переправиться через него.

В последнюю ночь, измученные несколькими днями пути под слепящим солнцем, Ваня и Жора, не чуя ног, свалились спать на каком-то хуторе на сеновале. Их разбудили гулкие бомбовые удары, от которых дрожала пунька.

Солнце еще невысоко стояло над степью, но уже по всему пространству хлебов переливалось знойное, голубовато-золотистое марево, когда Ваня и Жора подходили к гигантскому табору машин, людей и подвод, раскинувшемуся по эту сторону Донца, немного ниже обширной станицы-города на той стороне реки, с зелеными садами, каменными зданиями правительственных и торговых учреждений и школ, многие из которых были пре-

вращены в руины бомбардировкой с воздуха и еще дымились.

Весь этот гигантский табор, текучий по своему составу, но имевший и своих старожилов, весь этот табор пополняясь новыми людьми и транспортом, образовался здесь уже недели две назад и жил своим особенным, неповторимым бытом.

Это была невообразимая смесь остатков воинских подразделений, коллективов учреждений и предприятий, всех видов транспорта, беженцев всех социальных категорий, возрастов и семейных положений. И все усилия, все внимание, вся деятельность этих людей были направлены на то, чтобы как можно ближе придвинуться к реке, к узкой полоске наплавного моста через Донец.

Но если все усилия людей, сгрудившихся в таборе, сводились к тому, чтобы попасть на мост,— все усилия военных людей, ведавших переправой, сводились к тому, чтобы не пустить этих людей на мост, а в первую очередь дать переправиться частям Красной Армии, отходящим на новые рубежи обороны между Донцом и Доном.

В этой борьбе индивидуальных и частных воль, усилий и военной, государственной необходимости, в условиях, когда враг вот-вот мог появиться и на том и на этом берегу Донца и когда слухи, один чудовищнее другого, подогревали взаимно противоречившие страсти и усилия,— в этой борьбе и проходила повседневная жизнь табора.

Иные организации стояли здесь так долго, дожидаясь очереди, что успели нарыть щели в земле. Иные разбили палатки, сложили временные очаги, на которых варили пищу. Лагерь был полон детей. И день и ночь тянулся через Донец сплошной узкий поток машин, людей, подвод, по обеим сторонам которого люди переправлялись на плотах, на лодках. Тысячи голов скота, мыча и блея, теснились на берегу и шли вплавь.

Переправу ежедневно по нескольку раз бомбили и обстреливали с самолетов немцы, и тотчас же начинала бить охранявшая переправу зенитная артиллерия, звенели зенитные пулеметы, и весь табор в одно мгновение разлетался по степи. Но только исчезали самолеты, как все вновь возвращалось на свои места.

С того момента как Ваня попал в этот табор, у него уже не было другой цели, как только отыскать машину, на которой ехали Ковалевы. В нем боролись два чувства: он уже начинал понимать, сколь велика опасность, и ему хотелось бы, чтобы Клава с родителями была уже не только по ту сторону Донца, а и по ту сторону Дона, и в то же время он был бы счастлив, если бы встретил Клаву еще здесь.

Они бродили по табору, Ваня и Жора, ища своих краснодонцев, как вдруг от одной из подвод кто-то окликнул их по именам, и Олег Кошевой, их товарищ по школе, загоревший и, как всегда, свежий, аккуратный, с выражением оживленной деятельности во всей его легкой с широкими плечами фигуре и в поблескивающих глазах с золотящимися ресницами, уже обнимал товарищей сильными, большими руками и крепко целовал в губы.

Они набрели на машину шахты № 1-бис с Валько и Шевцовым, на подводы с Улей и с родней Кошевого и на тот самый детский дом, который выбрался из Краснодона усилиями Вани и Жоры и заведующая которым теперь даже не узнала их.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Во всей той части табора, куда вышли Ваня и Жора и где властвовала жесткая, смуглая рука директора шахты № 1-бис Валько, был уже порядок: машины, подводы стояли отдельно, вытянувшись в линии, везде были вырыты щели. Возле грузовика шахты лежал запас дров — несколько метров хуторского плетня, и тетушка Марина и Уля варили из свежей капусты щи с салом.

Он был настоящий хозяин, этот старый цыган Валько. Прихватив своих рабочих и пятерых ребят-комсомольцев, Валько тяжелой походкой, так свирепо поглядывая из-под сросшихся черных бровей, что люди расступались перед ним, направился к самой переправе, надеясь наложить свою жесткую руку на все это предприятие.

С того момента, как Валько стал наводить порядок, Олег был так же влюблен в Валько, как некоторое вре-

мя тому назад он был влюблен в Каюткина, а еще некоторое время назад — в Улю.

Исключительная жажда деятельности, желание проявить всего себя, желание вмешаться в жизнь людей, в их деятельность, с тем чтобы внести в нее что-то свое, более совершенное, быстрее оборачивающееся и наполненное новым содержанием,— эта еще не вполне осмысленная, но охватывающая все его существо и составляющая основу его натуры духовная сила овладела Олегом.

— Ой, и д-добре ж, Иван, шо мы с тобой зуст-трились! — чуть заикаясь, весело говорил Олег, шагая рядом с Земнуховым вслед за Валько.— Добре, шо мы зустрились, бо я дуже по тебе скучився. Видал? А ты кажешь — вирши! У-у, брат!..— И Олег глазами и пальцем с уважением указал в спину Валько.— Да, брат, главная сила на свете — сила организации! — говорил он, остро поблескивая глазами в темно-золотистых ресницах.— Без нее, видно, самое хорошее и нужное дело ползет — вот как вязаная ткань, надорвется и ползет. Но стоит приложить руку и волю — и...

— И глядишь, тебе же и морду набьют,— не оборачиваясь, сказал Валько.

И ребята по заслугам оценили его мрачный юмор.

Подобно тому как на фронте, попав во вторые эшелоны армии, трудно судить о размерах и ожесточенности битвы на переднем крае, так и на переправе, находясь где-то в глубоком тылу ее, в последней очереди, нельзя судить об истинных размерах бедствия.

Чем ближе они подходили к переправе, тем запутаннее, непоправимее становилось положение переправляющихся и тем сильнее сгущалось всеобщее ожесточение, которое было уже столь застарелым и столь накаленным, что вряд ли уже какая-нибудь сила могла его разрядить. Стремясь как можно ближе попасть к наплавному мосту, в силу напора задних машин на передние и движения между ними масс людей, все виды транспорта были уже так тесно и непоправимо перепутаны между собой, втиснуты в самых невероятных положениях, что не было уже никакой возможности привести их в иной порядок, кроме как постепенно направлять вперед.

В невыносимой жаре, еще более усиливавшейся от скученности, люди, обливавшиеся потом, находились в

той степени каления, когда, казалось, от прикосновения друг к другу они могут взорваться.

Военные люди, ведавшие переправой, не спавшие уже много суток, черные от бессонницы, от солнца, на котором они жарились от восхода до заката, от пыли, все время взбиваемой тысячами ног и колес, осипшие от ругани, с воспаленными веками и потными черными руками, доведенные до той степени нервной усталости, когда ничто уже не держалось в этих руках,— продолжали, однако, свою нечеловеческую работу.

Было совершенно ясно, что ничего другого, кроме того, что делали эти люди, уже нельзя было сделать, но Валько все же спустился к самому съезду на мост, и его хриплый голос потерялся среди других голосов и рычания машин.

Олег с товарищами, с трудом пробравшись на берег, стоял и с напряженным вниманием большого ребенка, с выражением разочарования и удивления смотрел, как в этой пыли и жаре с оползшего и размешанного в чудовищное месиво берега один за другим ползут грузовики и подводы, нагруженные с верхом, и все идут и идут люди — потные, грязные, злые, униженные, но идут, идут...

И только Донец, эта любимая с детства река, на среднее течение которой столько раз в своей жизни ездили ребята-школьники купаться и ловить рыбу, только Донец, широкий, плавный в этих местах, катил по-прежнему свои теплые мутноватые воды.

— Нет, все-таки хочется кому-то морду набить! — вдруг сказал Виктор Петров, с грустным выражением в смелых своих глазах смотревший не на переправу, а на реку; он был с хутора Погорелого, вырос на этой реке.

— Тот-то уже, наверно, переправился! — пошутил Ваня.

Ребята фыркнули.

— Бить надо не здесь, а там,— холодно сказал Анатолий, кивнув головой в узбекской шапочке на запад.

— Совершенно верно,— поддержал его Жора.

И почти в то же мгновение, как он это сказал, раздался крик:

— Воздух!

И вдруг ударили зенитные пушки, зазвенели пулеметы, послышался рев моторов в небе и пронзительный нарастающий визг обрушившихся бомб.

Ребята упали на землю. Взрывы поближе и более дальние потрясали все вокруг, посыпались комья земли и щепки, и сразу вслед за первой очередью самолетов пронеслась вторая очередь, за нею третья, и визг, и вой, и взрывы рушившихся бомб, огонь зенитных пушек и пулеметов заполнили, казалось, все пространство между степью и небом.

Но вот самолеты прошли, люди стали подыматься с земли, и в это время откуда-то не очень издалека, со стороны хутора, где ночевали Жора и Ваня, послышались округлые выстрелы пушек, и через мгновение, вздымая столбы земли и щепок, в самом таборе с резким грохотом начали рваться снаряды.

Люди, поднявшиеся с земли, частью снова попáдали на землю, частью повернули головы в сторону рвущихся снарядов, не упуская в то же время из виду переправы. И по лицам и по поведению военных, ведавших переправой, люди поняли, что произошло что-то непоправимое.

Военные, управлявшие переправой, переглянулись, постояли мгновение, будто прислушиваясь; вдруг один из них бросился в блиндаж у самого спуска к наплавному мосту, а другой закричал вдоль берега, созывая команду.

Через минуту военный выбежал из блиндажа с двумя шинелями через руку и вещевыми мешками в другой руке, которые он тащил за лямки, и оба военных и бойцы комендантской команды, не строясь, бросились бегом по наплавному мосту, обгоняя машины, вновь начавшие свое движение к мосту и по мосту.

То, что произошло вслед за этим, произошло так внезапно, что никто не мог бы сказать, с чего все это началось. Какие-то люди с криком бросились вслед за военными. Какая-то сумятица произошла среди машин на самом съезде: несколько машин разом хлынули на понтон, сцепились, раздался треск, но хотя путь дальше был явно загорожен этими машинами, другие машины, напирая задние на передние, продолжали со страшным ревом моторов обрушиваться в эту кашу из машин на понтоне. Одна машина свалилась в воду, за ней другая,

и готовилась свалиться третья, но водитель мощным движением руки приковал ее на тормозе.

Ваня Земнухов, с удивлением смотревший своими близорукими глазами на то, что происходит с машинами, вдруг воскликнул:

— Клава!

И бросился к съезду.

Да, эта третья машина, едва не свалившаяся в воду, была машиной Ковалева, где поверх вещей сидели он сам, его жена, дочь и еще какие-то люди.

— Клава! — снова крикнул Ваня, неизвестно как очутившийся у самой машины.

Люди выпрыгивали из нее. Ваня протянул руку, и Клава спрыгнула к нему.

— Кончено!.. К чертовой матери!..— сказал Ковалев так, что у Вани похолодело сердце.

Клава, руки которой он не решился задерживать долее в своих, искоса, не видя, смотрела на Ваню, и ее била дрожь.

— Идти-то можешь? Скажи, можешь? — срывавшимся на плач голосом спрашивал Ковалев жену, которая, держась рукой за сердце, хватала ртом воздух, как рыба.

— Оставь, оставь нас... беги... они убьют тебя...— лепетала она, задыхаясь.

— Да что, что случилось? — спросил Ваня.

— Немцы! — сказал Ковалев.

— Беги, беги, оставь нас! — повторяла Клавина мама.

Ковалев, брызнув слезами, схватил Ваню за руку.

— Ваня! — сказал он плача.— Спаси их, не бросай их. Будете живы — в Нижнюю Александровку, там у нас родня... Ваня! У меня на тебя...

Снаряд с грохотом разорвался у самого съезда, в месиве машин.

Люди с берега, военные и штатские, лавиной молча хлынули на понтоны.

Ковалев, отпустив руку Вани, сделал порывистое движение к жене, к дочери — видно, хотел проститься, но вдруг, в отчаянии взмахнув обеими руками, вместе с другими людьми побежал по наплавному мосту.

Олег с берега звал Земнухова, но Ваня ничего не слышал.

— Идемте, пока нас не сшибли,— сурово, спокойно сказал он матери Клавы и взял ее под руку.— Идемте к этому блиндажу. Слышите? Клава, иди за мной, слышишь? — строго и нежно говорил он.

Перед тем как они спустились в блиндаж, он еще успел заметить, как бойцы возле зениток, лихорадочно повозившись у орудий, отняли от стволов какие-то тяжелые части и, держа их в руках перед собой, побежали на мост и через некоторое время сбросили тяжелые части в воду. На всем протяжении реки, выше и ниже моста, вплавь перебирались люди и скот. Но Ваня этого уже не видел.

Его товарищи, потеряв из виду и его и Валько, стараясь не поддаться хлынувшему навстречу им людскому потоку, бежали к тому месту, где они оставили свои подводы.

— Держитесь вместе, мы должны быть вместе! — первый проталкиваясь среди людей своими сильными плечами, кричал Олег, оглядываясь на ребят горящими, злыми, желтыми от злости глазами.

Весь табор роился и уже распадался; машины двигались одна возле другой, рыча моторами, а те, что могли пробиться, уползали вдоль берега, вниз по реке.

В то время, когда налетели самолеты, тетушка Марина, сидя на корточках, подбрасывала в огонь палки из плетня, которые дядя Коля рубил артиллерийским кинжалом. А Уля сидела рядом на траве и, задумавшись о чем-то своем так, что в лице ее, где-то в углах губ и в тонком вырезе ноздрей, обозначились черты мрачной силы, смотрела на то, как Григорий Ильич, сидя на борту машины, обняв голубоглазую девочку, которую он только что поил молочком, что-то рассказывал девочке на ухо, а девочка смеялась. Машина, вокруг которой играли дети под наблюдением своих нянь и возле которой, безучастная ко всему, сидела заведующая домом, находилась метрах в тридцати от того места, где был разведен костер. Подводы детского дома, так же как и подводы Петрова и Кошевого, стояли в ряду других подвод.

Самолеты налетели так внезапно, что никто не успел броситься в отрытые щели в земле и все попа́дали тут же на землю. Уля, тоже припавшая к земле, услышала вихрем нараставший, точно расширявшийся книзу визг падающей бомбы. И в то же мгновение резкий удар

страшной силы, как разряд молнии, разразился, казалось, не только над Улей, а в ней самой. Воздух со свистом прошумел над ней, и на спину посыпалась земля. Уля слышала рев моторов в небе и снова этот визг, но уже более дальний, и все лежала так, прижавшись к земле.

Она не помнила, когда встала и что подсказало ей, что надо и можно встать. Но она вдруг увидела мир, окружавший ее, и из самой глубины ее души вырвался страстный, звериный вопль.

Не было перед ней ни машины шахты № 1-бис, ни Григория Ильича, ни этой голубоглазой девочки,— их не было и нигде поблизости. На том месте, где стояла машина, зияла круглая воронка развороченной, черной, опаленной земли, а вокруг воронки в разных местах валялись обугленные части машины, изуродованные трупы детей, а в нескольких шагах от Ули шевелился странный, в красном платке, обрубок, выведенный в земле. В этом обрубке она признала верхнюю часть туловища воспитательницы из детского дома. А нижней ее части с этими резиновыми ботами, надетыми прямо на чулок, не было нигде,— ее вообще уже не было.

Мальчик лет восьми, с натугой пригибая к земле голову, а ручки закинув назад, как будто он собирался прыгнуть, крутился на месте, притопывая ножкой, и визжал.

Не помня себя, Уля кинулась к мальчику, хотела обнять его, но мальчик с визгом затрепыхался в ее руках. Она приподняла его голову и увидела, что лицо у мальчика вздулось волдырем-отеком и вывороченные белые глаза вылезли из орбит.

Уля опустилась на землю и зарыдала.

Все бежало вокруг, но Уля уже ничего не видела и не слышала. Она почувствовала только, когда Олег Кошевой оказался возле нее. Он что-то говорил и своей большой рукой гладил ее по волосам и, кажется, пытался поднять ее, а она все рыдала, закрыв лицо руками. Звуки пушечной стрельбы и разрывов снарядов, дальний стук пулемета доносились до слуха ее, но все это было ей уже безразлично.

И вдруг она услышала, как Олег своим очень юношеским, звучным, дрогнувшим голосом произнес:

— Немцы...

И это дошло до ее сознания. Она перестала плакать и внезапно выпрямилась. В одно мгновение она узнала стоящих возле нее Олега и всех товарищей своих, отца Виктора, дядю Колю, Марину с ребенком на руках, даже деда, который вез Олега и его родных,— не было только Вани Земнухова и Валько.

Все эти люди со странным выражением напряженно смотрели в одну сторону, и Уля тоже посмотрела в ту сторону. В той стороне не было уже никаких остатков табора, который только что окружал их. Перед ними лежала открытая, залитая солнцем яркая степь под раскаленным небом, в тусклом белом блеске. И в этом белом тусклом блеске воздуха по яркой степи двигались прямо на них раскрашенные под цвет древесной лягушки зеленые немецкие танки.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Немцы взяли Ворошиловград 17 июля, в 2 часа дня, после ожесточенного боя на опытном сельскохозяйственном поле, где одной из армий Южного фронта был выставлен заслон, павший в этом бою с превосходящими силами противника. Оставшиеся в живых отступали с боями по линии железной дороги почти до станции Верхнедуванной, пока последний солдат не лег в донецкую землю.

К этому времени все, кто мог и хотел уйти из Краснодона и ближайших районов, ушли или выехали на восток. Но в дальнем Беловодском районе, по незнанию обстоятельств дела и отсутствию транспорта, застряла большая группа учащихся восьмого и девятого классов Краснодонской школы имени Горького, находившаяся в районе на полевых работах.

Вывезти эту группу учащихся отдел народного образования поручил учительнице этой же школы, преподавательнице русской литературы, Марии Андреевне Борц, уроженке Донбасса, хорошо знавшей местные условия, женщине энергичной и лично заинтересованной в успехе дела: среди учащихся находилась ее дочь Валя.

Для того чтобы вывезти эту группу учащихся, нужен был всего один грузовик, но Мария Андреевна получила поручение, когда уже никакого транспорта нельзя бы-

ло достать. Она добиралась до совхоза со всякими оказиями и потратила на это больше суток. Измученная тяжелой дорогой и душевной болью за судьбу дочери-комсомолки и всех учащихся, она разрыдалась от душившего ее волнения и чувства благодарности, когда директор совхоза, с невероятным напряжением всего транспорта эвакуировавший имущество совхоза, охрипший от ругани, не спавший и не брившийся уже несколько суток, беспрекословно отдал Марии Андреевне последний грузовик.

Несмотря на то, что тяжесть положения на фронте была хорошо известна в Беловодском районе, до приезда Марии Андреевны учащиеся, со свойственной юности беспечностью и доверием к тому, что взрослые вовремя распорядятся ими, находились в том возбужденно-веселом настроении, которое всегда создается, когда собирается много молодых людей в условиях вольной, чудесной природы, с естественно завязывающимися между молодыми людьми дружескими романтическими отношениями.

Мария Андреевна не стала раньше времени расстраивать ребят и скрыла от них действительное положение дела. Но по ее нервной озабоченности и спешке, с какой их собирали к выезду домой, ребята поняли, что случилось что-то серьезное и неладное. Настроение сразу упало, у всех появились мысли о доме и — что с ними будет дальше.

Валя Борц, рано сформировавшаяся девушка, с покрытыми золотистым пушком сильно загорелыми руками и ногами, в которых было еще что-то детское, с глазами темно-серыми, в темных ресницах, независимыми и холодноватыми по выражению, с светло-русыми, золотистыми косами и полными яркими губами самолюбивой складки, подружилась за время работы в совхозе с учеником их школы Степой Сафоновым, маленьким, белоголовым, курносым, веснушчатым мальчиком с живыми, что называется, смышлеными глазами.

Валя была в девятом классе, а Степа в восьмом, и это могло бы послужить препятствием к их дружбе, если бы Валя дружила с девушками,— а Валя не дружила с девушками,— и если бы среди мальчиков был бы кто-нибудь, кто ей нравился, но ей никто не нравился. Она была начитанной девушкой, хорошо играла на пианино,

по своему развитию она выделялась среди подруг и сама знала это и привыкла к поклонению сверстников-юношей. Степа Сафонов подошел ей не потому, что она нравилась ему, а потому, что он ее забавлял; он был действительно смышленый и душевный парень, что скрыто у него было под мальчишеским озорством, верный товарищ и страшный болтун. И именно потому, что сама Валя была не болтлива, никому не поверяла тайн, кроме своего дневника, мечтала о подвигах — она, как и все, хотела быть летчицей,— и в мыслях своих представляла своего героя тоже как человека подвига, Степа Сафонов забавлял ее своей болтовней и неистощимыми выдумками.

Впервые Валя отважилась с ним на серьезный разговор и в упор спросила, что он будет делать, если в Краснодоне окажутся немцы.

Она смотрела на него холодно своими темно-серыми, не допускающими в себя глазами, очень серьезно, испытующе, и Степа, беспечный мальчик, увлекавшийся зоологией и ботаникой и всегда думавший о том, что он будет знаменитым ученым, и никогда не думавший о том, что он будет делать, если придут немцы, так же, не задумываясь, сказал, что он будет вести с немцами непримиримую подпольную борьбу.

— Это не болтовня? Это правда? — холодно спрашивала Валя.

— Ну, почему же болтовня? Ну, конечно же, правда! — не задумываясь, отвечал Степа.

— Поклянись...

— Ну, клянусь... Конечно же, клянусь... А что же нам иначе делать? Ведь мы же комсомольцы? — удивленно приподняв брови, спрашивал белоголовый Степа, задумавшись наконец над тем, о чем его спрашивали.— А ты? — с любопытством спросил он.

Она приблизила губы к самому его уху и зловещим шепотом сказала:

— Клянус-с-сь...

Потом, прижавшись губами к самому его уху, внезапно фыркнула, как лошадка, так что у него чуть не лопнула барабанная перепонка, сказала:

— Все-таки дурак ты, Степка! Дурак и трепач! — И убежала.

Они выехали на ночь. Рябое пятно света от приглушенных фар бежало перед машиной по степи. Огромное темное небо в звездах раскинулось над ними, и такой свежестью веяло из степи — пахло сеном, созревающими хлебами, медом, полынью; тугой и теплый воздух бил в лицо, и трудно было поверить, что, может быть, их дома ждут немцы.

Грузовик был полон ребят. Будь это в другое время, они пели бы всю ночь, аукали в степь, смеялись, целовались бы где-нибудь тайком в закутке. Теперь все ехали съежившиеся, молчаливые, изредка обмениваясь посторонними репликами вполголоса. Вскоре большинство ребят задремало на своих вещичках, прижавшись друг к другу, мотаясь головами на ухабах.

Валя и Степа ехали в машине позади всех — они назначены были дневальными. Степа тоже стал задремывать, а Валя, сидя на своем рюкзаке, все смотрела перед собой в степь, во тьму. Полные губы ее, с этим самолюбивым выражением, теперь, когда никто не видел ее, сложились по-детски грустно и обиженно.

Вот и не взяли ее в летную школу. Сколько раз делала она попытку, а ей отказали, дураки. Жизнь не удалась. Что ждет ее теперь? Степка — болтун. Конечно, она работала бы в подполье, но как это делается и кто этим ведает? И что будет с отцом,— отец Вали был еврей,— и что будет с их школой? Столько силы в душе, даже полюбить никого не успела, и вот каков итог жизни. Жизнь определенно не удалась. Вале не удастся проявить себя перед людьми, выделиться, стяжать славу, поклонение людей. Самолюбивые слезы закипали в ее глазах. Это были все же хорошие слезы,— ей было семнадцать лет,— это были не черствые, себялюбивые, а девичьи бескорыстные мечты сильной натуры.

Ей вдруг почудился за спиной странный звук, такой, будто кошка, вспрыгнув, вцепилась в заднюю стенку грузовика.

Она быстро обернулась — и чуть вздрогнула.

Не то мальчик, не то маленького роста паренек в кепке, худенький, цепкий, ухватившись обеими руками за край грузовика и уже навалившись животом, заносил ногу, чтобы совсем перелезть в кузов, и в то же время быстро оглядывал все, что предстало ему.

Хочет ли он стащить что-нибудь? Что он, собственно говоря, хочет? Валя инстинктивно сделала движение рукой, чтобы спихнуть его с машины, потом раздумала и, чтобы избежать переполоха, решила было разбудить Степу.

Но этот мальчик или паренек, необыкновенно быстрый и ловкий в движениях, уже был в машине. Он уже сидел рядом с Валей и, приблизив свое лицо со смеющимися глазами к самому ее лицу, приложил к губам палец. Паренек, видно, не знал, с кем он имеет дело. Еще одно мгновение, и ему было бы очень худо, но в это самое мгновение Валя успела рассмотреть его. Это был паренек ее возраста, в задранной на затылок кепке, с лицом давно не мытым, но полным выражения благородной мальчишеской отваги, со смеющимися, поблескивающими во тьме глазами. Это мгновение, в течение которого Валя рассмотрела паренька, решило дело в его пользу.

Валя не сделала никакого движения и не подала голоса. Она смотрела на этого паренька с тем независимым холодноватым выражением, какое всегда появлялось на ее лице, если она была не одна.

— Что за машина? — шепотом спросил паренек, склонившись к ее лицу.

Теперь она могла лучше рассмотреть его. У паренька были чуть курчавые, должно быть жесткие, волосы, сильная, грубоватая складка губ, тонких, немного выдавшихся вперед,— казалось, под губами немного припухло.

— А что? Не ту подали, которую ты ждал? — холодно отвечала Валя тоже шепотом.

Он улыбнулся.

— Моя в капитальном ремонте, а я так устал, что...— он махнул рукой с выражением: «Мне, мол, все равно».

— Извините, спальные места все заняты,— сказала Валя.

— Я шесть суток не кимарил, часок потерплю,— сказал он с дружеской откровенностью, не обижаясь на нее.

В то же время он быстро оглядывал все, что попадало в поле его зрения, пытаясь разглядеть в темноте лица.

Кузов машины кидало на ходу, и Валя и этот паренек вынуждены были иногда хвататься за край грузовика. Рука Вали однажды упала на его руку, но Валя тотчас же убрала свою, а паренек вскинул голову и внимательно посмотрел на нее.

— Это кто спит? — спросил он, приблизив лицо к мотавшейся из стороны в сторону белой голове Степы.— Степка Сафонов! — сказал он вдруг не шепотом, а в полный голос.— Знаю теперь, что за машина. Школа Горького? Едете из Беловодского района?

— Откуда ты знаешь Степу Сафонова?

— Мы познакомились у ручья в балке.

Валя подождала развития событий, но паренек больше ничего не сказал.

— Что вы делали у ручья в балке? — спросила она.

— Лягушек ловили.

— Лягушек?

— Точно.

— Зачем?

— Сначала я думал, что он их ловит, чтобы сомов ловить, а оказалось, он ловил их, чтобы резать! — И паренек засмеялся с явной издевкой по отношению к странным занятиям Степы Сафонова.

— А потом что? — спросила она.

— Я его уговорил пойти сомов ловить, и мы пошли на ночь, я поймал двух, одного маленького, на фунт, а другого ничего себе, а Степка ничего не поймал.

— А потом?

— Я уговорил его искупаться со мной на зорьке, он послушался, вылез весь синий и говорит: «Я, говорит, оклечетел, как общипанный петел, и уши, говорит, у меня полные воды холодной!» — И паренек фыркнул.— Ну, я его научил, как сразу согреться и вылить воду из из ушей.

— А как это?

— А одно ухо зажмешь и прыгаешь на одной ноге и кричишь: «Катерина, душка, вылей воду с ушка!» Потом другое ухо и опять кричишь.

— Теперь я понимаю, как вы подружились,— сказала Валя, чуть дрогнув бровью.

Но он не понял заключенной в ее словах иронии, вдруг стал серьезным и посмотрел вперед во тьму.

— Поздненько вы,— сказал он.

— А что?

— Думаю, сегодня ночью или завтра утром в Краснодоне немцы будут.

— И что ж, что немцы? — спросила Валя.

То ли она хотела испытать этого парня, то ли ей хотелось показать, что она не боится немцев,— она сама не знала, зачем она так сказала. Он вскинул на нее светлые глаза с прямым и смелым выражением и, снова опустив их, ничего не ответил ей.

Валя ощутила в душе своей внезапное враждебное чувство к нему. И — странное дело — он почувствовал это и сказал примирительно:

— Тикать-то некуда!

— А зачем тикать? — сказала она назло ему.

Но он никак не хотел вступать с ней во враждебные отношения и опять сказал примирительно:

— И то верно.

Ему следовало бы просто назвать себя, чтобы удовлетворить ее любопытство, и отношения их тотчас же наладились бы. Но он или не догадывался об этом, или не хотел назвать себя.

Валя самолюбиво молчала, а он стал задремывать, но при каждом толчке машины и при каждом вольном или невольном движении Вали он вскидывал голову.

Во тьме проступили окраинные строения Краснодона. Машина затормозила у первого переезда, не доезжая парка. Никто не охранял переезда, шлагбаумы были подняты, и фонарь не горел. Машина загромыхала по настилу, звякнули рельсы.

Паренек встрепенулся, что-то пощупал у пояса под курткой, небрежно надетой на грязную гимнастерку с оторванными пуговицами, и сказал:

— Отсюда дойду... Спасибо за добрость.

Он привстал, и Вале показалось, что в оттопыренных карманах его куртки и брюк лежат какие-то тяжелые предметы.

— Не хотел Степку будить,— сказал он, снова приблизив к Вале смеющиеся смелые глаза свои.— А проснется, скажи, что Сергей Тюленин просит его зайти.

— Я не почтовая контора и не телефонная станция,— сказала Валя.

Искреннее огорчение изобразилось на лице Сергея Тюленина. Он так огорчился, что не нашелся что отве-

тить, губы его, казалось, еще сильнее припухли. И, не сказав ни слова, он соскочил с машины и исчез во тьме.

И Вале вдруг стало грустно, что она так огорчила его. Обиднее всего было то, что после того как она так сказала ему, она действительно не могла уже рассказать все это Степе и исправить несправедливость, допущенную по отношению к этому внезапно возникшему и внезапно исчезнувшему отважному парню. Так он и запомнился ей с этими смеющимися, смелыми глазами, которые после ее грубых слов стали печальными, и с этими словно бы подпухшими тонкими губами.

Весь город лежал во тьме, нигде — ни в одном из окон, ни в пропускных будках в шахты, ни на переездах — не видно было даже проблеска света. В похолодевшем воздухе явственно ощущался запах тлеющего угля из еще дымившихся шахт. Ни одного человека не видно было на улицах, и так странно было не слышать привычного шума труда в районах шахт и на ветке. Одни собаки взлаивали.

Сережа Тюленин, бесшумной, быстрой кошачьей походкой идя вдоль ветки железной дороги, поравнялся с огромным пустырем, где в обычное время помещался рынок, обогнул пустырь и, скользнув мимо слепившихся, как соты, темных мазанок Ли Фан-чи, окруженных вишенником, тихо подошел к мазанке отца, белевшей среди таких же глиняных, но небеленых, крытых соломой дворовых клетушек-пристроек.

Без стука притворив за собой калитку, оглядевшись, он шмыгнул в чулан и через несколько секунд вышел с лопатой и, хорошо разбираясь в темноте в расположении отцовского хозяйства, через минуту уже был на огороде, возле кустов акаций, темневших вдоль плетня.

Он выкопал ямку меж двух кустов, довольно глубокую,— грунт был рыхлый,— и выложил на дно ее из карманов брюк и курточки несколько гранат-лимонок и два пистолета «браунинга» с патронами к ним. Каждый из этих предметов в отдельности был завернут в тряпочку, и он так их и положил в тряпочках. После того он засыпал ямку землей, разрыхлил и разровнял почву руками, чтобы утреннее солнце, подсушив землю, скрыло следы его работы, аккуратно обтер лопату полой куртки и, вернувшись во двор и поставив лопату на место, тихо постучался в дверь мазанки.

Щелкнула щеколда двери из горенки в сенцы, и мать,— он узнал ее по грузной походке,— шаркая босыми ногами по земляному полу, подошла к наружной двери.

— Кто? — спросила она заспанным тревожным голосом.

— Открой,— тихо сказал он.

— Господи боже мой! — тихо, взволнованно сказала мать. Слышно было, как она, волнуясь, не могла нащупать крючок дрожащей рукой. Но вот дверь отворилась.

Сережка переступил порог и, чувствуя в темноте знакомый теплый запах заспанного тела матери, обнял это ее большое родное тело и прижался головой к плечу ее. Некоторое время они так, молча, постояли в сенях, обнявшись.

— Где тебя носило? Мы думали, може, эвакуировался, може, убит. Все уже вернулись, а тебя нет. Хоть бы передал с кем, что с тобой,— ворчливым шепотом заговорила мать.

Несколько недель тому назад Сережка в числе многих подростков и женщин был направлен из Краснодона, как направляли и из других районов области, на рытье окопов и строительство укреплений на подступах к Ворошиловграду.

— Задержался в Ворошиловграде,— сказал он обычным своим голосом.

— Тише... Деда разбудишь,— сердито сказала мать. «Дедом» она называла своего мужа, отца Сережки. У них было одиннадцать детей, и уже были внуки в возрасте Сережки.— Он тебе задаст!..

Сережка пропустил это замечание мимо ушей: он знал, что отец уже никогда не задаст ему. Отец, старый забойщик, был разбит почти до смерти сорвавшейся с прицепа груженной углем вагонеткой на Анненском руднике на станции Алмазной. Двужильный старик выжил и после того немало еще поработал на всяких наземных работах, но в последние годы его совсем скрючило. Он еле двигался и даже, когда сидел, подставлял под плечо специально сделанную, с мягкой, обшитой кожей обивкой, клюшку, потому что тело его совсем не держала поясница.

— Есть хочешь? — спросила мать.

— Хочу, да сил нет, в сон кидает.

Ступая на цыпочках, Сережка прошел через проходную горенку, в которой храпел отец, в красную горницу, где спали две его старшие сестры: Даша с ребенком полутора лет,— ее муж был на фронте,— и любимая, младшая из сестер, Надя.

Кроме этих сестер, в Краснодоне жила еще отдельно от семьи сестра Феня с детьми; ее муж тоже был на фронте. А остальных детей Гаврилы Петровича и Александры Васильевны жизнь разбросала по всему свету.

Сережка прошел в душную горницу, где спали сестры, добрался до койки, посбрасывал куда попало свою одежду, оставшись в одних трусах, и лег поверх одеяла, не заботясь о том, что он не мылся целую неделю.

Мать, шаркая босыми ногами по земляному полу, вошла в горницу и, нащупав одной рукой его жесткую курчавую голову, другой рукой сунула ему ко рту большую горбушку свежевыпеченного пахучего домашнего хлеба. Он схватил хлеб, быстро поцеловал матери руку и, несмотря на усталость, возбужденно глядя во тьму своими острыми глазами, стал жадно жевать эту чудесную пшеничную горбушку.

Какая необыкновенная была эта девушка на грузовике! А уж характер! А глаза какие!.. Но ей он не понравился, это факт. Если бы она знала, что он пережил за эти дни, что он испытал! Если бы можно было поделиться этим хотя бы с одним человеком на свете! Но как хорошо дома, как славно очутиться в своей постели, в обжитой горенке, среди родных, и жевать этот пахучий пшеничный хлеб домашней, материнской выпечки! Казалось, только он коснется постели, он уснет как убитый и будет спать по меньшей мере двое суток подряд, но уснуть невозможно без того, чтобы хоть кто-нибудь не узнал, что он испытал. Если бы та девчонка со своими косами узнала! Нет, он правильно поступил, ничего не сказав ей. Бог ее знает, чья эта девчонка и что она за такое! Возможно, он расскажет все завтра Степке Сафонову и, кстати, узнает у него, что это за девчонка. Но Степка — болтун. Нет, он расскажет все только Витьке Лукьянченко, если тот не уехал. Но зачем же ждать до завтра, когда все, решительно все можно рассказать сейчас же сестре Наде!

Сережка бесшумно соскочил с койки и очутился у кровати сестры с этим куском хлеба в руке.

— Надя... Надя...— тихо говорил он, присев на кровать возле сестры и пальцами поталкивая ее в плечо.

— А?.. Что?..— испуганно спросила она спросонья.

— Тсс...— он приложил свои немытые пальцы к ее губам.

Но она уже узнала его и, быстро поднявшись, обняла его голыми горячими руками и поцеловала куда-то в ухо.

— Сережка... жив... Милый братик... жив...— шептала она счастливым голосом. Лица ее не видно было, но Сережка представлял себе ее счастливо улыбающееся лицо с маленькими, румяными со сна скулами.

— Надя! Я с самого тринадцатого числа еще не ложился, с самого тринадцатого с утра и до сегодняшнего вечера все в бою,— взволнованно говорил он, жуя в темноте хлеб.

— Ой ты! — шепотом воскликнула Надя, тронула его за руку и в ночной сорочке села на постели, поджав под себя ноги.

— Наши все погибли, а я ушел... Еще не все погибли, как я уходил, человек пятнадцать было, а полковник говорит: «Уходи, чего тебе пропадать». Сам он был уже весь израненный, и лицо, и руки, и ноги, и спина, весь в бинтах, в крови. «Нам, говорит, все равно гибнуть, а тебе зачем?» Я и ушел... А теперь уж, я думаю, никого из них в живых нет.

— Ой ты-ы...— в ужасе прошептала Надя.

— Я, перед тем как уйти, взял саперную лопату, снес с убитых оружие в окопчик,— там, за Верхнедуванной, там два холмика таких и роща слева, место приметное,— снес винтовки, гранаты, револьверы, патроны и все закопал, а потом ушел. Полковник меня поцеловал, говорит: «Запомни, как звать меня,— Сомов. Сомов, Николай Павлович. Когда, говорит, немцы уйдут или ты к нашим попадешь, отпиши в Горьковский военкомат, чтобы сообщили семье и кому следует, что, мол, погиб с честью...» Я сказал...

Сережка замолчал и некоторое время, сдерживая дыхание, ел мокрый соленый хлеб.

— Ой ты-ы...— всхлипывала Надя.

Да, много, должно быть, пережил ее братик. Она уже не помнила, когда он и плакал, лет с семи,— этакий кремешок.

— Как же ты попал к ним? — спросила она.

— А вот как попал,— сказал он, опять оживившись, и залез с ногами на койку сестры.— Мы еще укрепления кончали, а наши отошли, заняли тут оборону. Все краснодонцы по домам, а я к одному старшему лейтенанту, командиру роты,— прошу зачислить меня. Он говорит: «Без командира полка не могу». Я говорю: «Посодействуйте». Очень стал просить, тут меня один старшина поддержал. Бойцы смеются, а он — ни в какую. Пока мы тут спорились, начала бить артиллерия немецкая,— я к бойцам в блиндаж. До ночи они меня не отпускали, жалели, а ночью велели уходить, а я отлез от блиндажа и остался лежать за окопом. Утром немцы пошли наступать, я обратно в окоп, взял у убитого бойца винтовку и давай палить, как все. Тут мы несколько суток все отбивали атаки, меня уже никто не прогонял. Потом меня полковник узнал, сказал: «Когда б мы сами не смертники, зачислили бы тебя в часть, да, говорит, жалко тебя, тебе еще жить да жить». Потом засмеялся, говорит: «Считай себя вроде за партизана». Так я с ними и отступал почти до самой Верхнедуванной. Я фрицев видел вот как тебя,— сказал он страшно пониженным, свистящим шепотом.— Я двоих сам убил... Может, и больше, а двоих — сам видел, что убил,— сказал он, искривив тонкие губы.— Я их, гадов, буду теперь везде убивать, где ни увижу, помяни мое слово...

Надя знала, что Сережка говорит правду,— и то, что убил двух «фрицев», и что еще будет убивать их.

— Пропадешь ты,— сказала она со страхом.

— Лучше пропасть, чем ихние сапоги лизать или просто так небо коптить.

— Ай-я-яй, что с нами будет! — с отчаянием сказала Надя, с новой силой представив себе, что ждет их уже завтра, может быть, уже этой ночью.— У нас в госпитале более ста раненых неходячих. С ними и врач остался, Федор Федорович. Вот мы ходим возле них и все трусимся, поубивают их немцы! — с тоской сказала она.

— Надо, чтобы их жители поразбирали. Как же вы так? — взволновался Сережка.

— Жители! Кто сейчас знает, кто чем дышит? У нас на Шанхае вон, говорят, какой-то неизвестный человек прячется у Игната Фомина, а кто его знает, что за че-

ловек? Может, от немцев, все заранее выглядает? Фомин хорошего человека прятать не станет.

Игнат Фомин был один из шахтеров, за свою работу не раз премированный и отмеченный в газетах. Здесь, в поселке, он появился в начале тридцатых годов, когда много неизвестных людей появилось в Краснодоне, как и во всем Донбассе, и построилось на «Шанхае». И разные слухи ходили о нем, о Фомине. Об этом и говорила сейчас Надя.

Сережка зевнул. Теперь, когда он все рассказал и доел хлеб, он почувствовал себя окончательно дома, и ему захотелось спать.

— Ложись, Надя...

— А я и не усну теперь.

— А я усну,— сказал Сережка и перебрался на свою койку.

И только он коснулся подушки, перед ним встали глаза этой девушки на грузовике. «Все равно я тебя найду»,— сказал ей Сережка, улыбнулся, и все перед ним и в нем самом ушло во тьму.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как бы ты повел себя в жизни, читатель, если у тебя орлиное сердце, преисполненное отваги, дерзости, жажды подвига, но сам ты еще мал, бегаешь босиком, на ногах у тебя цыпки, и во всем, решительно во всем, к чему рвется твоя душа, человечество еще не поняло тебя?

Сережка Тюленин был самым младшим в семье и рос, как трава в степи. Отец его, родом из Тулы, вышел на заработки в Донбасс еще мальчишкой и за сорок лет шахтерского труда обрел те черты наивной, самолюбивой, деспотической гордости своей профессией, которые ни одной из профессий не свойственны в такой степени, как морякам и шахтерам. Даже после того, как он вовсе перестал быть работником, он все еще думал, Гаврила Петрович, что он главный в доме. По утрам он будил всех в доме, потому что по старой шахтерской привычке просыпался еще затемно и ему было скучно одному. А если бы ему и не было скучно, он все равно будил бы всех оттого, что его начинал душить кашель. Кашлял он

с момента пробуждения не менее часа, он задыхался от кашля, харкал, отплевывался, и что-то страшно хрипело, свистело и дудело в его груди, как в испорченной фисгармонии.

А после того он весь день сидел, опершись плечом на свою обитую кожей рогатую клюшку, костлявый и тощий, с длинным носом горбинкой, который когда-то был большим и мясистым, а теперь стал таким острым, что им можно было бы разрезать книги, с впалыми щеками, поросшими жесткой седоватой щетиной, с могучими прямыми, воинственными усами, которые, храня первозданную пышность под ноздрями, постепенно сходили до предельной упругой тонкости одного волоса и торчали в разные стороны, как пики, с глазами, выцветшими и пронзительными под сильно кустистыми бровями. Так он сидел то у себя на койке, то на порожке мазанки, то на чурке у сарайчика, опершись на свою клюшку, и всеми командовал, всех поучал, резко, отрывисто, грозно, заходясь в кашле так, что хрип, свист и дудение разносились по всему «Шанхаю».

Когда человек в еще не старые годы лишается трудоспособности более чем наполовину, а потом и вовсе впадает вот в этакое положение, попробуйте вырастить, научить профессии и пустить в дело трех парней и восемь девок, а всего одиннадцать душ!

И вряд ли то было под силу Гавриле Петровичу, когда бы не Александра Васильевна, жена его, могучая женщина из орловских крестьянок, из тех, кого называют на Руси «бой-баба»,— истинная Марфа Посадница. Была она еще и сейчас нерушимо крепка и не знала болезней. Не знала она, правда, и грамоты, но, если надо было, могла быть и грозна, и хитра, и молчалива, и речиста, и зла, и добра, и льстива, и бойка, и въедлива, и если кто-нибудь по неопытности ввязывался с ней в свару, очень быстро узнавал, почем фунт лиха.

И вот все десять старших уже были при деле, а Сережка, младший, хотя и учился, а рос, как трава в степи: не знал своей одежки и обувки,— все это переделывалось, перешивалось в десятый раз после старших, и был он закален на всех солнцах и ветрах, и дождях и морозах, и кожа у него на ступнях залубенела, как у верблюда, и какие бы увечья и ранения ни наносила ему жизнь, все на нем зарастало вмиг, как у сказочного богатыря.

И отец, который хрипел, свистел и дудел на него больше, чем на кого-либо из детей своих, любил его больше, чем кого-либо из остальных.

— Отчаянный какой, а? — с удовольствием говорил он, поглаживая страшный ус свой.— Правда, Шурка? — Шурка — это была шестидесятилетняя подруга его жизни, Александра Васильевна.— Смотри, пожалуйста, а? Никакого бою не боится! Совсем как я мальцом, а? Кха-кха-кхаракха...— И он снова кашлял и дудел до умопомрачения.

У тебя орлиное сердце, но ты мал, плохо одет, на ногах у тебя цыпки. Как бы ты повел себя в жизни, читатель? Конечно, ты прежде всего совершил бы подвиг? Но кто же в детстве не мечтает о подвиге,— не всегда удается его совершить.

Если ты ученик четвертого класса и выпускаешь на уроке арифметики из-под парты воробьев, это не может принести тебе славы. Директор — в который уж раз! — вызывает родителей, то есть маму-Шурку, шестидесяти лет. «Дед», Гаврила Петрович,— с легкой руки Александры Васильевны все дети зовут его «дедом»,— хрипит и дудит и рад бы дать тебе подзатыльника, да не может дотянуться и только яростно стучит клюшкой, которой он даже не может пустить в тебя, поскольку она поддерживает его иссохшее тело. Но мама-Шурка, вернувшись из школы, отвешивает тебе полнокровную затрещину, которая горит на щеке и ухе несколько суток,— с годами сила мамы-Шурки только прибывает.

А товарищи? Что товарищи! Слава, недаром говорят,— дым. Назавтра твой подвиг с воробьями уже забыт.

В свободное время лета можно добиться того, чтобы ты стал чернее всех, лучше всех нырял и плавал и ловчее всех ловил руками линьков под корягами. Можно, завидев идущую вдоль берега стайку девчонок, разогнаться с берега, с силой оттолкнуться от обрывистого края, смуглой ласточкой пролететь над водой, нырнуть и в тот момент, когда девчонки, делая вид, что им все равно, с любопытством ожидают, когда ты вынырнешь на поверхность, приспустить под водой трусы и неожиданно всплыть вверх попкой, белой румяной попкой, единственным незагоревшим местом на всем теле.

Ты испытаешь мгновенное удовлетворение, увидев мелькающие розовые пятки и развевающиеся платьица словно сдунутых с берега девчонок, прыскающих на бегу в ладошки. Ты получишь возможность небрежно принять восторг ребят-сверстников, загорающих вместе с тобой на песке. Ты на все времена завоюешь поклонение совсем маленьких мальчишек, которые будут ходить за тобой стаями, во всем подражать тебе и повиноваться каждому твоему слову или движению пальца. Давно уже прошли времена римских цезарей, но мальчишки тебя обожествляют.

Но этого тебе, конечно, мало. И в один из дней, ничем как будто не отличных от других дней твоей жизни, ты внезапно выпрыгиваешь со второго этажа школы во двор, где все ученики школы предаются обычным во время перерыва невинным развлечениям. В полете ты испытываешь краткое, как миг, пронзительное удовольствие — и от самого полета, и от дикого, полного ужаса и, одновременно, желания заявить о себе в мире, визга девчонок в возрасте от первого класса до десятого. Но все остальное несет тебе только разочарования и лишения.

Разговор с директором очень тяжел. Дело явно идет к исключению тебя из школы. Ты вынужден быть грубым с директором оттого, что ты виноват. Впервые директор сам приходит в мазанку твоих родителей на «Шанхае».

— Я хочу знать условия жизни этого мальчика. Я хочу, наконец, знать причины всего этого,— говорит он значительно и вежливо. И в голосе его звучит оттенок упрека родителям.

И родители — мать с мягкими, круглыми руками, которые она не знает, куда деть, потому что она только что таскала ими из печи чугуны и руки черны от сажи, а на матери даже нет передника, чтобы обтереть их, и отец, до крайности растерявшийся, примолкший и пытающийся встать перед директором, опираясь на свою клюшку,— родители смотрят на директора так, будто они действительно во всем виноваты.

А когда директор уходит, впервые никто не ругает тебя, от тебя словно бы все отворачиваются. «Дед» сидит, не глядя на тебя, и только изредка покрякивает, и усы у него вовсе не воинственные, а довольно унылые усы человека, сильно побитого жизнью. Мать все хлопо-

чет по дому, шаркает ступнями по земляному полу, стучит то там, то здесь, и вдруг ты видишь, как, склонившись к отверстию русской печки, она украдкой смахивает слезу черной от сажи, прекрасной, старческой круглой рукою своею. И они словно говорят всем видом своим, отец и мать: «Да ты вглядись в нас, ты вглядись, вглядись в нас, кто мы, какие мы!»

И ты впервые замечаешь, что старые родители твои давно уже не имеют что надеть к празднику. В течение почти всей своей жизни они не едят за общим столом с детьми, а едят особняком, чтобы их не было видно, потому что они не едят ничего, кроме черного хлеба, картошки и гречневой каши, лишь бы детей, одного за другим, поднять на ноги, лишь бы теперь ты, младший в семье, стал образованным, стал человеком.

И слезы матери пронзают твое сердце. И лицо отца впервые кажется тебе значительным и печальным. И то, что он хрипит и дудит, это вовсе не смешно — это трагично.

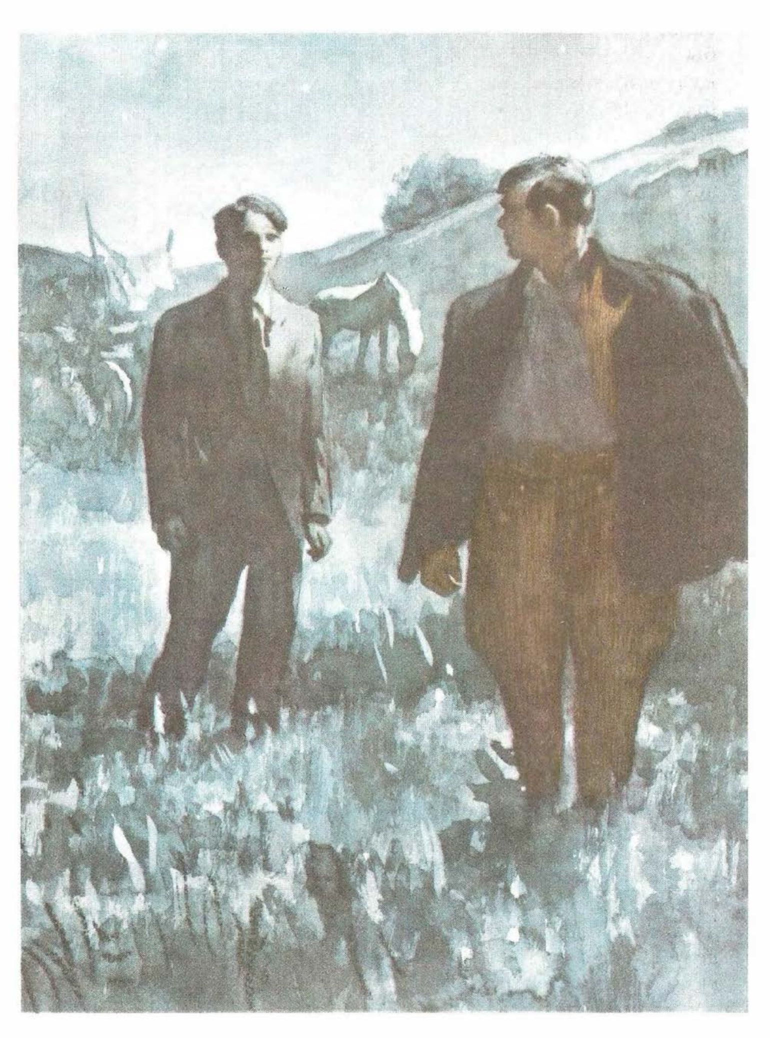
Гнев и презрение дрожат в ноздрях у сестер, когда то одна, то другая вдруг взметнет на тебя взгляд над вязаньем. И ты груб с родителями, груб с сестрами, а ночью ты не можешь спать, тебя гложет одновременно и чувство обиды, и сознание своей преступности, и ты беззвучно утираешь немытой ладошкой две скупые слезинки, выкатившиеся на твои маленькие жесткие скулы.

А после этой ночи оказывается, что ты повзрослел. Среди ряда печальных дней всеобщего молчания и осуждения твоему очарованному взору открывается целый мир немыслимых, баснословных подвигов.

Люди проплывают двадцать тысяч лье под водой, открывают новые земли; они попадают на необитаемые острова и все создают себе наново собственными руками; они взбираются на высочайшие вершины мира; люди попадают даже на луну; они борются со страшными штормами в океанах, карабкаясь на раскачиваемые ветром мачты по марсам и салингам; на своих кораблях они проскальзывают над острыми рифами, выливая на бушующие волны бочки ворвани; люди переплывают океан на плоту, томясь от жажды, ворочая пересохшим, распухшим языком свинцовую пулю во рту; они переносят самумы в пустыне, сражаются с удавами, ягуарами, крокодилами, львами, слонами и побеждают их. Люди



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

совершают эти подвиги из-за наживы, или для того, чтобы лучше устроить жизнь свою, или из страсти к приключениям, или из чувства товарищества, верной дружбы, для спасения попавшей в беду любимой девушки, а то просто совсем бескорыстно — для блага человечества, для славы родины, для того, чтобы вечно сиял на земле свет науки,— Ливингстон, Амундсен, Седов, Невельской.

А какие подвиги совершают люди на войне! Люди воюют тысячи лет, и тысячи людей навеки прославили свои имена в войнах. Повезло же тебе родиться в такое время, когда войны нет. Ты живешь в местах, где порастают седой травой братские могилы воинов, сложивших головы за то, чтобы ты жил счастливо, и до сегодняшних дней шумит слава полководцев тех великих лет. Что-то мужественное и вдохновенное, как песня на походе, звучит в душе твоей, когда ты, забыв о ночном часе, летишь по страницам их биографий. Тебе хочется снова и снова возвращаться к ним, запечатлеть в душе облик этих людей, и ты рисуешь их портреты,— нет, зачем говорить неправду, ты сводишь их портреты при помощи стекла на бумагу, а потом растушевываешь их по своему разумению мягким черным карандашом, намусливая его для большей силы и выразительности так, что к концу работы язык у тебя весь черный и его не оттереть даже пемзой. И портреты эти до сей поры висят над твоей постелью.

Дела и подвиги этих людей обеспечили жизнь твоему поколению и останутся навеки в памяти человечества. А между тем это люди такие же простые, как ты. Михаил Фрунзе, Клим Ворошилов, Серго Орджоникидзе, Сергей Киров, Сергей Тюленин... Да, может быть, и его имя, рядового комсомольца, стало бы в ряд с этими именами, если бы он успел проявить себя. Как на самом деле увлекательна и необыкновенна была жизнь этих людей. Они изведали царское подполье. Их выслеживали. сажали в тюрьмы, высылали на север, в Сибирь, но они бежали снова и снова, и снова вступали в бой. Серго Орджоникидзе бежал из ссылки. Михаил Фрунзе бежал из ссылки два раза. Сталин бежал из ссылки несколько раз. За ними сначала шли единицы, потом сотни, потом сотни тысяч, потом миллионы людей.

Сергей Тюленин родился, когда незачем идти в подполье. Он ниоткуда не бежал, и бежать ему некуда. Он выпрыгнул из окна второго этажа школы, и это было просто глупо, как это теперь окончательно видно. И идет за ним в жизни только один Витька Лукьянченко.

Но нельзя терять надежды. Мощные льды, сковавшие просторы Северного Ледовитого океана, сдавили корпус «Челюскина». И страшен был в ночи этот треск корабля, услышанный всей страной. Но люди не погибли, они высадились на лед. Весь мир следит за тем, будут ли они спасены. И они спасены. Есть на свете люди с орлиным сердцем, полным отваги. Это простые люди, такие же, как ты. Они пробираются на самолетах к пострадавшим сквозь пургу и мороз, они вывозят их, подвязывая к крыльям самолетов,— это первые Герои Советского Союза.

Чкалов! Он такой же простой человек, как и ты, но имя его гремит на весь мир, как вызов. Перелет через Северный полюс в Америку — мечта человечества! Чкалов. Громов. А папанинцы на льдине!

Так идет жизнь, полная мечтаний и обыденного труда.

По всей советской земле и в самом Краснодоне немало людей, простых, как и ты, но отмеченных подвигами и славой,— такими, о которых раньше не писали в книгах. В Донбассе, и не только в Донбассе, каждый человек знает имена Никиты Изотова, Стаханова. Любой пионер может сказать, кто такая Паша Ангелина, и кто Кривонос, и кто Макар Мазай. И все люди относятся к ним с уважением. И отец всегда просит читать ему те места в газетах, где говорится об этих людях, и потом долго и непонятно хрипит и дудит, и видно, что ему горько на душе оттого, что он стар и что его подшибла вагонетка. Да, он много принял на свои плечи труда в жизни. Гаврила Тюленин, «дед», и Сережка понимает, как ему, «деду», тяжело, что он уже не может теперь встать в ряд с этими людьми.

Слава этих людей — это подлинная слава. Но Сережка еще мал, должен учиться. Все это придет к нему когда-нибудь потом, там, во взрослой жизни. А вот для свершения подвигов, подобных подвигам Чкалова или Громова, он вполне созрел,— он чувствует это сердцем, что он для них вполне созрел. Беда в том, что только он

один на свете понимает это, и больше никто. Среди человечества он одинок с этим ощущением.

Таким застала его война. Одну за другой делает он попытки поступить в специальную военную школу,— да, он должен стать летчиком. Его не принимают.

Все школьники идут на полевые работы, а он, уязвленный в самое сердце, идет работать на шахту. Через две недели он уже стал в забой и рубил уголь наравне со взрослыми.

Он сам не знал, как многого он достиг во мнении людей. Он выходил из клети чумазый, только светлые глаза да белые маленькие зубы сверкали на черном лице его; он шел вместе со взрослыми, так же солидно, враскачку, шел под душ, фыркал, крякал, как отец, и неторопливо шел домой уже босой: обутка у него была казенная.

Он возвращался поздно, когда все уже пообедали,— его кормили отдельно. Он был взрослый человек, мужчина, работник.

Александра Васильевна вынимала из печи чугунок с борщом и наливала ему полную миску прямо из чугунка, который она придерживала обеими круглыми руками в тряпице. Пар валил от борща, и никогда еще не казался таким вкусным пшеничный хлеб домашней выпечки. Отец смотрел на сына, поблескивая из-под кустистых бровей своими пронзительными выцветшими глазами, пошевеливая усами. Он не дудел и не кашлял, он спокойно разговаривал с сыном, как с работником. Все интересовало отца: как идут дела в шахте, кто сколько вырубил? Отец спрашивал и про инструмент, и про спецодежду. Он говорил о горизонтах, штреках, лавах, забоях, газенках, как о комнатах, углах, чуланчиках собственной квартиры. Старик на самом деле работал чуть ли не на всех шахтах в районе, а когда уже не мог работать, знал обо всем от своих товарищей. Знал, в каком направлении и сколь успешно движутся выработки, мог, расчерчивая воздух длинным костлявым пальцем, объяснить любому человеку расположение выработок под землей и все, что там, под землей, делается.

Зимой, прямо из школы, даже не перекусив, Сережка мчался к какому-нибудь другу — артиллеристу, саперу, или минеру, или летчику; в двенадцатом часу ночи со слипающимися веками готовил уроки, а в пять часов

утра уже был на стрельбище, где очередной приятель-сержант учил его вместе со своими бойцами стрелять из винтовки или из ручного пулемета. И он действительно не хуже любого бойца стрелял из винтовки, и из нагана, и маузера, и «ТТ», и дегтяревского ручного, и «максима», и из «ППШ», и метал гранаты и бутылки с зажигательной смесью, и умел окапываться, и сам заряжал мины, мог минировать и разминировать местность, и знал устройство самолетов всех стран света, и мог разрядить авиабомбу,— и все это вместе с ним проделывал и Витька Лукьянченко, которого он всюду таскал за собой и который относился к нему примерно так же, как сам Сережка относился к Серго Орджоникидзе или к Сергею Кирову.

Этой весной он сделал еще одну, самую отчаянную попытку попасть уже не в специальную для юношей, а в настоящую, взрослую школу летчиков. И опять потерпел поражение. Ему сказали, что он молод, пусть приходит на следующий год.

Да, это было страшное поражение — вместо школы летчиков идти на строительство оборонительных сооружений перед Ворошиловградом. Но он уже решил, что не вернется домой.

Как он ловчил и изворачивался, чтобы его зачислили в часть! Он не рассказал Наде и сотой доли тех ухищрений и унижений, через которые ему довелось пройти. И теперь он знал, что такое бой, и что такое смерть, и что такое страх.

Сережка спал так крепко, что даже утренний кашель отца не разбудил его. Он проснулся, когда солнце было уже высоко; ставни в горенке были закрыты, но он всегда узнавал время по тому, как располагались на глиняном полу и на предметах в горенке полоски золотистого света из щелей между ставнями. Он проснулся и сразу понял, что немцы еще не пришли.

Он вышел во двор умыться и увидел «деда», сидевшего на приступочке, а немного поодаль от «деда» Витьку Лукьянченко. Мать была уже на огороде, и сестры давно ушли на работу.

— Ага! Здорово, воин! Аника! Кха-кха-кхаракха...— приветствовал его «дед».— Жив? По нонешним временам это самое главное. Хе-хе! Корешок твой с самой зари ждет, пока проснешься.— И «дед» очень друже-

любно повел усами в сторону Витьки Лукьянченко, неподвижно, покорно и серьезно смотревшего темными бархатными глазами на заспанное, с маленькими скулами, и уже полное жажды деятельности лицо своего бедового друга.— То добрый у тебя корешок,— продолжал «дед».— Каждое утро, чуть свет, он уже тут: «Сережка пришел? Сережка вернулся?» Сережка ему... кха-кха... один свет в окошке! — с удовольствием говорил «дед».

Так устами «деда» подтверждалась дружеская верность.

Оба они были на земляных работах под Ворошиловградом, и Витька, находившийся в полном подчинении у своего друга, хотел остаться вместе с ним, чтобы поступить в воинскую часть. Но Сережка заставил его вернуться домой — не потому, что он жалел Витьку, а тем более его родителей, а потому, что был уверен, что им не только не удастся поступить в часть двоим, но присутствие Витьки может помешать поступить в часть ему, Сережке. И Витька, до крайности огорченный и обиженный своим товарищем-деспотом, вынужден был уйти. Он не только вынужден был уйти — он вынужден был поклясться. что он ни своим родителям, ни Сережкиным, вообще никому на свете не расскажет о планах Сережки: этого требовало Сережкино самолюбие на случай неудачи.

По тому, что говорил «дед», ясно было, что Витька сдержал слово.

Сережка и Витька Лукьянченко сидели за мазанкой на берегу грязного, поросшего осокой ручья, за которым был выгон для скота, а за выгоном — одинокое большое здание недавно построенной и еще не пущенной в ход горняцкой бани. Они сидели на краю балки, курили и обменивались новостями.

Из их товарищей по школе — оба они учились в школе имени Ворошилова — остались в городе Толя Орлов, Володя Осьмухин и Любка Шевцова, которая, по словам Витьки, вела не свойственный ей образ жизни: никуда не выходила из дому и нигде ее не было видно. Любка Шевцова тоже училась в школе имени Ворошилова, но ушла из школы еще до войны, окончив семь классов: она решила стать артисткой и выступала в театрах и клубах района с пением и танцами. То, что Любка осталась в городе, было особенно приятно Сережке:

Любка была отчаянная девка, своя в доску. Любка Шевцова была Сергей Тюленин в юбке.

Еще Витька сообщил Сережке на ухо то, что уже было известно ему: что у Игната Фомина скрывается незнакомый человек и все на «Шанхае» ломают голову над тем, что это за человек, и боятся этого человека. А в районе «Сеняков», там, где находились склады с боеприпасами, в погребе, совершенно открытом, осталось несколько десятков бутылок с зажигательной смесью, брошенных, должно быть, в спешке.

Витька робко намекнул, что неплохо было бы эти бутылки припрятать, но Сережка вдруг вспомнил что-то, посуровел и сказал, что им обоим нужно немедленно идти в военный госпиталь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Надя Тюленина с той поры, когда фронт приблизился к Донбассу и в Краснодоне появились первые раненые, добровольно поступила на курсы медицинских сестер и вот уже второй год работала старшей сестрой в военном госпитале, под который был отдан весь нижний этаж городской больницы.

Несмотря на то, что весь персонал военного госпиталя, за исключением врача Федора Федоровича, уже несколько дней как эвакуировался и большинство медицинских работников больницы во главе со старшим врачом тоже ушло на восток, больница продолжала жить прежним распорядком жизни. И Сережка и Витька сразу прониклись уважением к этому учреждению, когда их задержала в приемной дежурная няня-сиделка, велела обтереть ноги сырой тряпкой и ждать в вестибюле, пока она сбегает за Надей.

Через некоторое время Надя в сопровождении няни-сиделки вышла к ним, но это уже не была та Надя, с которой Сережка беседовал ночью на ее кровати: на скуластеньком, с наведенными тонкими бровями лице Нади, так же как и на добром, мягком, морщинистом лице няни-сиделки, было какое-то новое, очень серьезное и строгое, глубокое выражение.

— Надя,— сминая в руках кепку и почему-то оробев перед сестрой, шепотом сказал Сережка,— Надя,

надо же ребят выручать, ты же должна понимать... Мы бы с Витькой могли походить по квартирам, ты скажи Федору Федоровичу.

Надя некоторое время, раздумывая, молча смотрела на Сережку. Потом она недоверчиво покачала головой.

— Зови, зови врача или нас веди! — сказал Сережка, помрачнев.

— Луша, дай хлопцам халаты,— сказала Надя.

Няня-сиделка, достав из крашенного белой масляной краской длинного шкафа халаты, вынесла их ребятам и даже поддержала по привычке, чтобы удобнее было попасть в рукава.

— А хлопчик правду говорит,— неожиданно сказала тетя Луша, быстро жуя мягкими старушечьими губами, взглянув на Надю добрыми, на весь остаток жизни умиротворенными глазами.— Люди возьмут. Я б одного сама взяла. Кому ж не жалко ребят? А я одна, сыны на фронте, я да дочка. Живем на выселках. Немцы зайдут, скажу — сын. И всех надо упреждать, чтобы за родню выдавали.

— Ты их не знаешь, немцев,— сказала Надя.

— Немцев, правда, не знаю, зато своих знаю,— быстро жуя губами, с готовностью сказала тетя Луша.— Я вам укажу хороших людей на выселках.

Надя повела ребят светлым коридором, окна которого выходили на город. Тяжелый теплый запах гниющих застарелых ран и несвежего белья, запах, который не могли заглушить даже запахи лекарств, обдавал их всякий раз, как они проходили мимо распахнутой двери в палату. И таким светлым, обжитым, мирным, уютным вдруг показался им залитый солнцем родной город из окон больницы!

Раненые, оставшиеся в госпитале, все были лежачие, и только некоторые на костылях слонялись по коридору. На всех лицах, молодых и пожилых, бритых и заросших многодневной солдатской щетиной, было все то же серьезное, строгое, глубокое выражение, что у Нади и у няни Луши.

Едва шаги ребят зазвучали по коридору, раненые на койках вопросительно, с надеждой подымали головы, а те, что на костылях, безмолвно, но тоже со смутным оживлением в лицах провожали глазами этих двух под-

ростков в халатах и идущую впереди них с серьезным и строгим лицом хорошо знакомую сестру Надю.

Они подошли к единственной закрытой двери в конце коридора, и Надя, не постучавшись, резким движением своей маленькой точной руки распахнула ее.

— К вам, Федор Федорович,— сказала она, пропуская ребят.

Сережка и Витька, оба немного оробев, вошли в кабинет. Навстречу им встал высокий, широкоплечий, сухой, сильный старик, чисто выбритый, с седой головой, с резко обозначенными продольными морщинами на загорелом, темного блеска лице, с резко очерченными скулами и носом с горбинкой и угловатым подбородком,— старик был весь точно вырезан из меди. Он встал от стола, возле которого сидел, и по тому, что он сидел в кабинете один, и по тому, что на столе не было ни книги, ни газеты, ни лекарств и весь кабинет был пуст, ребята поняли, что врач ничего не делал в этом кабинете, а просто сидел один и думал такое, о чем не дай бог думать человеку. Они поняли это еще и по тому, что врач был уже не в военном, а в штатском: в сером пиджаке, край воротника которого выступал из-под завязанного у шеи халата, в серых брюках, и в нечищенных, должно быть, не своих, штиблетах.

Он без удивления и тоже очень серьезно, как Надя, как Луша и как раненые в палатах, смотрел на мальчиков.

— Федор Федорович, мы пришли помочь вам разместить раненых по квартирам,— сказал Сережка, сразу поняв, что этому человеку ничего больше говорить не нужно.

— А примут? — спросил тот.

— Найдутся такие люди, Федор Федорович,— певучим голосом сказала Надя.— Луша, няня из больницы, согласна взять одного и еще обещала людей указать, и ребята могут поспрошать, да и я им помогу, да и другие из наших краснодонцев не откажут помочь. Мы бы, Тюленины, тоже взяли, да у нас помещения нету,— сказала Надя и покраснела так, что румянец ярко выступил на ее маленьких скулах. И Сережка вдруг тоже покраснел, хотя Надя сказала правду.

— Позовите Наталью Алексеевну,— сказал Федор Федорович.

Наталья Алексеевна была молодым врачом больницы; она не выехала вместе со всем персоналом из-за одинокой больной матери, жившей не в самом городе, а в шахтерском поселке Краснодон, в восемнадцати километрах от города. Поскольку в больнице еще оставались больные и больничное имущество, лекарства, инструменты, Наталья Алексеевна, стыдившаяся перед сослуживцами, что она никуда не едет и остается при немцах, добровольно приняла на себя обязанности главного врача больницы.

Надя вышла.

Федор Федорович сел на свое место у стола, решительным, энергичным движением откинул полу халата, достал из кармана пиджака табакерку и сложенную мятую старую газету, оторвал край газеты углом и, с необыкновенной быстротой действуя одной большой жилистой рукой и губами, свернул «козью ножку», которую тут же набил махоркой из табакерки и закурил.

— Да, это выход,— сказал Федор Федорович и без улыбки посмотрел на ребят, смирно сидевших на диване.

Он перевел глаза с Сережки на Витьку и снова обратил их на Сережку, как бы понимая, что он — главный. Витька понял значение этого взгляда, но нисколько не обиделся, потому что он тоже знал, что Сережка главный, и хотел, чтобы Сережка был главным, и гордился за Сережку.

В кабинет в сопровождении Нади вошла маленькая женщина лет двадцати восьми, но казавшаяся ребенком оттого, что в ее личике, ручках, ножках было то выражение детскости, мягкости и пухлости, которое так часто бывает обманчиво в женщине, заставляя предполагать сходный характер. Этими маленькими пухлыми ножками Наталья Алексеевна в свое время, когда отец не хотел, чтобы она продолжала образование в медицинском институте, проделала путь пешком из Краснодона в Харьков, и этими маленькими пухлыми ручками она зарабатывала себе на хлеб шитьем и стиркой, чтобы учиться, а потом, когда отец умер, на эти же ручки она приняла семью в восемь человек, и теперь члены этой семьи частью уже воевали, частью работали в других городах, частью были пристроены в ученье, и этими же ручками она бесстрашно делала операции, которые не решались делать и врачи-мужчины постарше и с бóль-

шим опытом, и на детском пухлом личике Натальи Алексеевны были глаза того прямого, сильного, безжалостного, практического выражения, какому вполне мог бы позавидовать управляющий делами какого-нибудь всесоюзного учреждения.

Федор Федорович встал ей навстречу.

— Не трудитесь, я все знаю,— сказала она, приложив пухлые ручки к груди жестом, так противоречившим этому деловому, практическому выражению глаз и ее вполне точной и немного даже суховатой манере говорить.— Я все знаю, и это, конечно, разумно,— сказала она и посмотрела на Сережку и на Витьку без какого-либо личного отношения к ним, а тоже с практическим выражением возможности их использования. Потом она снова взглянула на Федора Федоровича.— А вы? — спросила она.

Он сразу понял ее.

— Мне выгоднее всего было бы остаться при вашей больнице как местному врачу. Тогда я и им смогу помогать при всех условиях.— Все поняли, что под «ними» он подразумевал раненых.— Это возможно?

— Это возможно,— сказала Наталья Алексеевна.

— В вашей больнице меня не выдадут?

— В нашей больнице вас не выдадут,— сказала Наталья Алексеевна, приложив к груди пухлые ручки.

— Спасибо. Спасибо вам,— и Федор Федорович, впервые улыбнувшись одними глазами, протянул свою большую с сильными пальцами руку сначала Сережке, потом Витьке Лукьянченко.

— Федор Федорович,— сказал Сережка, прямо глядя в лицо врачу своими твердыми, светлыми глазами, в которых стояло выражение: «Вы и все люди можете расценить это как угодно, но все-таки я скажу это, потому что я считаю это своим долгом»,— Федор Федорович, имейте в виду, что вы всегда можете рассчитывать на меня и моего товарища Витю Лукьянченко, всегда. А связь с нами можно держать вот через Надю. И еще я хочу сказать вам от себя и от моего товарища Вити Лукьянченко, что ваш поступок,— что вы остались при раненых в такое время,— ваш поступок мы считаем благородным поступком,— сказал Сережка, и лоб его вспотел.

— Спасибо,— сказал Федор Федорович очень серьезно.— Если уж вы заговорили об этом, я вам скажу следующее: у человека, к какой бы профессии он ни принадлежал, любой профессии, может сложиться такое положение в жизни, когда ему не только можно, но и должно покинуть людей, которые зависели от него или которых он вел и они надеялись на него, да, может сложиться такое положение, когда ему целесообразней покинуть их и уйти. Бывает высшая целесообразность. Повторяю, у людей решительно всех профессий, даже у полководцев и политических деятелей, кроме одной — профессии врача, особенно врача военного. Врач должен находиться при раненых. Всегда. Что бы там ни было. Нет такой целесообразности, которая была бы выше этого долга. И даже военная дисциплина, приказ могут быть нарушены, если они вступают в противоречие с этим долгом. Если бы мне даже командующий фронтом приказал оставить этих раненых и уйти, я не подчинился бы ему. Но он никогда не сказал бы этого... Спасибо, спасибо вам,— сказал Федор Федорович и низко склонил перед ребятами свою словно вырезанную на меди, с лицом темного блеска, седую голову.

Наталья Алексеевна молча прижала к груди пухлые ручки, и в практических глазах ее, обращенных на Федора Федоровича, появилось торжественное выражение.

На совещании в вестибюле, совещании, в котором участвовали уже только Сережка, Надя, тетя Луша и Витька Лукьянченко и которое было самым коротким за последнюю четверть века, так как оно заняло ровно столько времени, сколько требовалось для того, чтобы ребята сняли свои халаты, был намечен план действий. И, уже не в силах сдерживать себя, ребята пулей вылетели из больницы, и в глаза им ударил нестерпимый блеск июльского полдня. Неизъяснимый восторг, чувство гордости за себя и за человечество, необыкновенная жажда деятельности переполняли их существа до краев.

— Вот человек, это человек! Да? — сказал Сережка, возбужденно глядя на своего друга.

— Точно,— сказал Витька Лукьянченко и замигал.

— А я узнаю сейчас, что за человек прячется у Игната Фомина! — вдруг без всякой видимой связи с тем, что они испытывали и говорили, сказал Сережка.

— Как ты узнаешь?

— Я предложу ему принять в дом раненого.

— Продаст,— сказал Витька очень убедительно.

— Так я и сказал ему правду! Мне лишь бы в хату зайти.— И Сережка засмеялся, хитро и весело блестя глазами и зубами. Мысль эта уже овладела им настолько, что он знал — она будет осуществлена.

Он стоял возле двери мазанки Игната Фомина со склонившимися под окнами толстыми, окружностью в сито, подсолнухами на отдаленной от рынка окраине «Шанхая».

Долго никто не отзывался на стук, и Сережка догадывался, что его пытаются разглядеть через окно, и нарочно стал так близко к двери, чтобы его нельзя было увидеть. Наконец дверь отворилась. Игнат Фомин, не отпуская скобу двери, а другой рукой опершись о косяк, нагнув голову,— он был длинный, как червь,— с искренним любопытством смотрел на Сережку маленькими, глубоко поместившимися в разнообразных и многочисленных складках кожи серенькими глазками.

— Вот спасибо,— сказал Сережка и так спокойно, словно бы ему открыли дверь именно для того, чтобы он вошел, поднырнул под опершуюся о косяк руку Игната Фомина и уже не только был в сенях, но открывал дверь в горницу, когда Игнат Фомин, не успевший даже удивиться, двинулся за ним.

— Извиняйте, гражданин,— уже в горнице сказал Сережка и покорно склонил голову перед Игнатом Фоминым, который стоял перед ним в клетчатом пиджаке, в жилете с тяжелой золоченой цепочкой на животе и в клетчатых брюках, заправленных в яловичные, начищенные ваксой сапоги,— длинный, с длинным благообразным лицом скопца, принявшим наконец удивленное и несколько даже гневающееся выражение.

— Что тебе надо? — спросил Игнат Фомин, приподняв редкие бровки, и многочисленные и разнообразные складки вокруг его глаз пришли в очень сложное движение, как бы стремясь расправиться.

— Гражданин! — неожиданно для самого себя и для Игната Фомина приняв позу члена конвента времен Французской революции, с пафосом сказал Сережка.— Гражданин! Спасите раненого бойца!

Складки вокруг глаз Игната Фомина мгновенно прекратили свое движение, и глаза, направленные на Сережку, остановились, как кукольные.

— Нет, не я ранен,— сказал Сережка, поняв, что привело Игната Фомина в этакий столбняк.— Бойцы отступали, оставили раненого прямо на улице, аккурат возле рынка. Мы с ребятами увидели, и прямо к вам.

На длинном благообразном лице Игната Фомина вдруг отразились знаки многих обуревавших его страстей, и он невольно покосился на затворенную дверь в другую горницу.

— Почему же, однако, прямо ко мне? — снизив голос до шипения, спросил он, со злостью вонзив глаза свои в Сережку, и складки вокруг глаз снова пришли в нескончаемо сложное движение.

— К кому же, как не к вам, Игнат Семенович? Весь город знает, что вы у нас первый стахановец,— сказал Сережка, с необыкновенно чистыми глазами, беспощадно вонзая в Игната Фомина это отравленное копье.

— Да ты чей? — все больше теряясь и приходя во все большее удивление, спросил Игнат Фомин.

— Я сын хорошо известного вам Прохора Любезнова, тоже стахановца,— сказал Сережка с тем большей решительностью, с чем большей вероятностью он знал, что никакого Прохора Любезнова не существует на свете.

— Прохора Любезнова я не знаю. И вот что, братец мой,— придя в себя и суетливо и бестолково задвигав длинными руками, сказал Игнат Фомин,— у меня и места нет для твоего бойца, и жинка у меня больная, и ты, братец, тово... это...— Руки его, хотя и не вполне ясно, задвигались в сторону выходной двери.

— Довольно странно, гражданин, вы поступаете, когда всем известно, что у вас есть вторая комната,— с осуждением в голосе сказал Сережка, в упор глядя на Фомина прозрачными, детскими, дерзкими глазами.

И Фомин не успел еще сделать движения или хотя бы испустить звук, как Сережка шагом, не очень даже торопливым, подошел к двери в соседнюю горницу, отворил дверь и вошел в эту горницу.

В этой горнице с полуприкрытыми ставенками, уставленной мебелью и фикусами в кадках, чистенькой и аккуратно прибранной, сидел у стола человек в одежде

мастерового, с круглыми сильными плечами, крепкой стриженой головой и лицом в темных крапинах. Он поднял голову и очень спокойно посмотрел на вошедшего Сережку.

И в то же мгновение Сережка понял, что перед ним сидит просто хороший, сильный и спокойный человек. И, поняв это, Сережка в то же мгновение дико и невероятно струсил. Да, ни одного грамма отваги не осталось в его орлином сердце. Он струсил настолько, что не мог сказать ни слова, не мог пошевельнуться, а в это время в дверях показалось крайне разъяренное и испуганное лицо Игната Фомина.

— Обожди, кум,— спокойно сказал этот сидевший у стола неизвестный человек Игнату Фомину, надвинувшемуся на Сережку.— А почему же вы не отнесли этого раненого бойца, скажем, к себе домой? — спросил он Сережку.

Сережка молчал.

— Твой отец-то тут или эвакуировался?

— Эвакуировался,— весь заливаясь краской, сказал Сережка.

— А мать?

— Мать дома.

— Що ж ты наперво до нее не пошел?

Сережка молчал.

— Хиба вона така жинка, що не примет?

Сережка с ужасным чувством в душе кивнул головой. С того момента, как игра кончилась, за словами «отец», «мать» он видел уже действительных отца и мать своих, и было мучительно стыдно говорить о них такую подлую неправду.

Но человек этот, видно, верил Сережке.

— Так,— сказал он, рассматривая Сережку.— Игнат Семенович казав тебе правду, що вин того бойца принять не может,— сказал он, раздумывая.— Но ты такого человека найдешь, що примет. То дело доброе. То ты молодец, я так тебе скажу. Поищи и найдешь. Только то дело секретное, ты к случайным людям не ходи. А коли нигде не примут, придешь до меня. А коли примут — не приходи, лучше дай мне сейчас свой адресок, чтобы я мог тебя найти при случае.

И здесь Сережке пришлось расплатиться за свое озорство самым для него обидным и огорчительным спо-

собом. Именно теперь, когда Сережке очень бы хотелось сказать этому человеку свой настоящий адрес, он вынужден был тут же на ходу придумать первый попавшийся адрес и этой своей ложью уже навсегда отрезать для себя возможность общения с этим человеком.

Сережка вновь очутился на улице. Он был растерян и смущен. Не было никакого сомнения в том, что человек, который прятался у Игната Фомина, был настоящий, большой человек, и вряд ли можно было сомневаться в том, что Игнат Фомин был по меньшей мере человек неважный. Но они, несомненно, были связаны друг с другом. В этом было что-то необъяснимое.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В тот же день, когда Матвей Шульга покинул домик Осьмухиных, он направился на окраину Краснодона, называвшуюся по старинке «Голубятники», к своему другу по прежнему партизанству — Ивану Кондратовичу Гнатенко.

Эта окраина, как и многие районы Краснодона, была уже застроена стандартными домами, но Матвей Костиевич знал, что Кондратович по-прежнему живет в принадлежащем ему маленьком деревянном домике, одном из тех старинных домиков, по которым окраина и получила название «Голубятников».

На стук в оконце показалась в дверях похожая на цыганку, довольно еще молодая, но очень обрюзгшая и запущенная, хотя одета она была не бедно, женщина. Костиевич сказал, что он здесь проходом и ему нужен Иван Кондратович, он просит старика, если это возможно, выйти к нему на улицу поговорить.

И тут, за этим домиком, в степи, где они спустились в низинку, чтобы не маячить на юру, под звуки отдаленной артиллерийской канонады, которая в тот день была еще слышна, состоялась встреча Матвея Шульги и Ивана Гнатенко.

Иван Гнатенко, или запросто Кондратович, был одним из потомков тех поколений шахтеров, которые по праву могли считать себя основателями донецких рудников. И дед, и отец его, выходцы с Украины, и сам Кондратович — это были настоящие, милостью божией

шахтеры-коренники, построившие Донбасс, хранители шахтерской славы и традиций, та шахтерская гвардия, о которую сломали себе зубы в Донбассе немецкие интервенты и белые в 1918—1919 годах.

Это был тот самый Кондратович, который вместе со своим директором Андреем Валько и Григорием Ильичом Шевцовым взорвал шахту № 1-бис.

Вот какой разговор произошел у него с Матвеем Костиевичем в этой низинке в степи, под солнцем, уже склонявшимся к вечеру.

— Знаешь ли ты, Кондратович, зачем я прийшов до тебе?

— Не знаю, а догадываюсь, Матвей Константинович,— печально сказал Кондратович, не глядя на Шульгу

Степной ветерок, врывавшийся в низинку, косо в один бок относил полы залатанной, дедовских времен куртки, висевшей, как на кресте, на высохшем теле старика.

— Я оставлен тут для работы, як у осьмнадцатом роци, с тем и прийшов до тебе,— сказал Костиевич.

— Вся моя жизнь — твоя, то ты знаешь, Матвей Константинович,— низким, хриплым голосом сказал Кондратович, не глядя на Шульгу.— Но я не можу принять тебя в дом, Матвей Константинович.

То, что сказал Кондратович, было так неожиданно и невозможно, что Матвей Костиевич даже не нашелся, что ответить, и замолчал. И Кондратович тоже молчал.

— Правильно я понял тебя, Кондратович,— ты отказываешься принять меня в дом? — вдруг перейдя на чистый русский язык, тихо спросил Шульга, боясь взглянуть на старика.

— Я не отказываюсь, я не можу,— печально сказал старик.

Некоторое время они разговаривали так, не глядя друг на друга.

— Ты давал согласие? — с закипающим в сердце гневом спросил Костиевич.

Старик опустил голову.

— Ты же знал, на что идешь?

Старик молчал.

— Ты понимаешь, что ты нас вроде предал?

— Матвей Костиевич...— страшно низко и хрипло, с угрозой, точно пролаял старик.— Не говори такого, чего нельзя поправить.

— А чего мне бояться? — со злобой сказал Шульга и посмотрел прямо в высохшее, с редкой, будто выщипанной, прокуренной бородкой лицо Кондратовича, и воловьи глаза Шульги налились кровью.— Чего мне бояться? Страшней того, что я слышу, не може буты!

— Обожди...— Кондратович поднял голову и костистой рукой своей с изуродованными черными ногтями взял Матвея Костиевича за локоть.— Веришь ты мне? — спросил он печально и низко, на самых страшных низах своего голоса.

Шульга хотел что-то сказать, но старик крепко сдавил ему локоть и, глядя на него пронзительными запавшими глазами, сказал почти умоляюще:

— Обожди... послухай...

Теперь они смотрели прямо в глаза друг другу.

— Я не можу принять тебя в дом, бо я своего старшего сына боюсь. Боюсь, продаст,— хриплым шепотом сказал старик, приблизив свое лицо к лицу Матвея Костиевича.— Помнишь, ты был у нас в двадцать девятом? То последний раз ты был у нас, как мы со старухой справляли двадцать пять лет нашей жизни. серебряную нашу свадьбу. Всех моих ребят ты, видно, не помнишь, да и не обязан,— усмехнулся старик,— а старшего должен помнить еще по восемнадцатому году...

Шульга молчал.

— Вот он у меня свихнулся,— хриплым шепотом сказал Кондратович.— Помнишь, он тогда, в двадцать девятом, уже был без руки?

Шульга смутно помнил насупленного, медлительного, малоразговорчивого подростка, которого он видел у Кондратовича в восемнадцатом году. Но кто из окружавших Шульгу в двадцать девятом году на квартире у Кондратовича молодых людей был когда-то этим подростком, а кто из них был без руки, этого уже Шульга не помнил. Он с удивлением поймал себя на том, что он вообще плохо помнит тот вечер. Должно быть, он пошел тогда к Кондратовичу немножко по обязанности, и этот вечер затерялся среди многих схожих вечеров, проведенных так же, по обязанности, среди других людей, при других обстоятельствах.

— Руку ему на заводе оторвало в Луганске...— Кондратович употребил старое название Ворошиловграда, и из этого Шульга понял, что это дело давнишнее.— Он до дому вернулся, на наше иждивение. Наукам учить его поздно было, да мы сразу и не додумали, а профессии сходной, по возможностям своим, он не достал,— и свихнулся. Стал попивать на отцовы деньги, то есть на мои, а я его жалел. Замуж за него никто не шел, с того он еще пуще загулял. А в тридцатом свалилась на него вот эта цаца, что ты видел, обкрутила его, и пошли у них дела темные. Стала она вроде тайной шинкарки, занялись они спекуляцией и — тебе, как на духу,— не гнушаются и краденое скупать. Поначалу я его жалел, а потом стал бояться позору. Мы со старухой так и решили — будем молчать. И молчали. И перед детьми родными молчали. И молчим... Его при советской власти два раза судили, надо бы эту шкуру, да он всякий раз вину на себя. Ну, знаешь, судьи знают: я старый партизан, знатный забойщик, человек знаменитый,— один раз ему порицание, другой — условно. А он с каждым годом все злее. Веришь ты мне? Как же я могу тебя в дом принять? Он, может, чтобы ему дом достался, и нас со старухой продаст! — И Кондратович, стыдясь, отвернулся от Шульги.

— Но как же ты, зная это, мог дать согласие? — с волнением сказал Шульга, вглядываясь в острое, как нож, лицо Кондратовича, не зная, верить ли ему или не верить, и вдруг с отчаянием ловя себя на том, что он потерял в душе всякие критерии, каким людям можно, а каким нельзя верить в тех условиях, в каких он очутился.

— Но как же я мог отказаться, Матвей Константинович? — с тоской в голосе сказал Кондратович.— Ты же только подумай: я, Иван Гнатенко, и вдруг — отказаться. Позор-то какой! Ведь этот разговор-то когда был? Говорили так: может, и не придется, ну, а если придется, согласен? Ведь он вроде совесть мою проверял, а я бы ему вдруг про сына. Я бы вроде и сам увильнул и сына — под тюрьму. А ведь он мне сын!.. Матвей Константинович! — вдруг с предельной силой отчаяния сказал старик.— Я весь твой, на что угодно. Ты знаешь характер мой — молчок до гроба, а смерти я не боюсь. Ты мною располагай, как собой. Я тебе

найду, где укрыться, я людей знаю, я верных людей найду, ты мне верь. Я ведь и тогда в райкоме так подумал: сам я на все готов, а насчет сына тут в райкоме я, как человек беспартийный, говорить не обязан, значит, совесть моя чиста... Мне главное, чтобы ты мне верил... А квартиру я тебе найду,— говорил Кондратович, не замечая того, что в голосе у него появились даже нотки заискивания.

— Я тебе верю,— сказал Матвей Костиевич. Но он сказал не совсем правду: он верил и не верил. Он сомневался. А сказал он так потому, что это было выгоднее ему.

Лицо старика вдруг все изменилось, он сразу размяк, опустил голову и некоторое время молча сопел.

А Шульга стоял и смотрел на него и взвешивал все, что Кондратович сказал ему, перекладывая то одно, то другое с одной чашки весов на другую. Конечно, он знал, что Кондратович свой человек. Но Шульга не знал, как жил Кондратович целых двенадцать лет, и каких лет: когда совершались самые большие дела в стране. И то, что Кондратович укрывал своего сына от власти, укрыл его даже в самую ответственную минуту жизни и пошел на ложь в таком насущном деле, как возможность использования его квартиры в немецком подполье,— все это перевешивало чашку весов за то, что нельзя целиком довериться Кондратовичу.

— Ты здесь пока посиди или полежи, я тебе поесть вынесу,— хриплым шепотом говорил Кондратович,— а я тут сбегаю в одно место, и все как есть наладим.

Одно мгновение, и Матвей Костиевич чуть было не поддался тому, что предлагал ему Кондратович, но тут же внутренний голос, который он считал не просто голосом осторожности, а голосом жизненного опыта, сказал ему, что не надо поддаваться чувству.

— Чего ж ходить, у меня не одна квартира на примете, я найду себе место,— сказал он,— а покушать — я потерплю: хуже будет, коли та самая чертова баба да сын твой чего-нибудь такое подумают недоброе.

— То тебе виднее,— с грустью сказал Кондратович.— А все ж ты на меня, старика, креста не клади, я тебе сгожусь.

— То я знаю, Кондратович,— сказал Шульга, чтобы утешить старика.

— И коли ты мне веришь, ты мне скажи, к кому ты идешь. Я тебе заодно скажу, добрый ли тот человек и стоит ли к нему идти, и буду, в случае чего, знать, где искать тебя...

— Сказать, куда я иду, того я тебе сказать не имею права. Ты сам старый подпольщик и конспирацию знаешь,— сказал Шульга с хитрой улыбкой.— А человек, до кого я иду, то человек мне известный.

Кондратовичу хотелось сказать: ведь вот и я человек тебе известный, а видишь, сколько оказалось неизвестного, и лучше уж тебе теперь посоветоваться со мной. Но он застыдился сказать так Матвею Костиевичу.

— То тебе виднее,— мрачно сказал старик, окончательно поняв, что Шульга ему не верит.

— Що ж, Кондратович, пошли! — сказал Костиевич с деланной бодростью

— То тебе виднее,— в задумчивости повторил старик, не глядя на Матвея Костиевича.

Он повел было Костиевича по улице мимо своего дома. Но Шульга остановился и сказал:

— Ты меня лучше задами выведи, не то увидит еще эта твоя... цаца.— И он усмехнулся.

Старик было хотел сказать ему: «А коли ты знаешь конспирацию, то сам должен понимать, что тебе лучше уйти так же, как ты пришел,— кому же придет в голову, что ты приходил к старику Гнатенко по подпольному делу». Но он понимал. что ему не верят и что говорить бесполезно. И он задами вывел Матвея Костиевича на одну из соседних улиц. Там, у угольного сарайчика, они остановились.

— Прощай, Кондратович,— сказал Шульга, и у него так защемило на сердце, легче в гроб лечь.— Я еще найду тебя.

— То как тебе будет угодно,— сказал старик.

И Шульга пошел по улице, а Кондратович еще некоторое время стоял у этого угольного сарайчика, глядя вслед Шульге, высохший, голенастый, в обвисшей на нем, как на кресте, старинного покроя куртке.

Так Матвей Шульга сделал второй шаг навстречу своей гибели.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Сережка Тюленин, его друг Витька Лукьянченко, и его сестра Надя, и старая сиделка Луша в течение нескольких часов нашли в разных частях города более семидесяти квартир для раненых. И все-таки около сорока раненых не были размещены: ни Сережка с Надей, ни тетя Луша, ни Витька Лукьянченко, ни те, кто помогал им, не знали, к кому еще можно было бы обратиться с этой просьбой, и не хотели рисковать провалом всего дела.

Странный был этот день — такие бывают только во сне. Отдаленные звуки проходящих по дорогам через город частей, грохот боев в степи прекратились еще вчера. Необыкновенно тихо было и в городе, и во всей степи вокруг. Ждали, что в город вот-вот войдут немцы,— немцы не приходили. Здания учреждений, магазинов стояли открытые и пустые, никто в них не заходил. Предприятия стояли молчаливые, тихие и тоже пустые. На месте взорванных шахт все еще сочился дымок. В городе не было никакой власти, не было милиции, не было торговли, не было труда — ничего не было. Улицы были пустынны. Выбежит одинокая женщина к водопроводному крану, или колодцу, или в огород — сорвать два-три огурца, и опять тихо, и нет никого. И трубы в домах не дымили, никто не варил обеда. И собаки притихли, оттого что никто посторонний не тревожил их покоя. Только кошка иногда перебежит через улицу, и снова пустынно.

Раненых размещали по квартирам в ночь на 20 июля, но Сережка и Витька уже не принимали в этом участия. В эту ночь они перетаскали из склада в «Сеняках» бутылки с горючей жидкостью на «Шанхай» и зарыли их в балке под кустами, а по нескольку бутылок каждый закопал у себя в огороде, чтобы в случае надобности бутылки всегда были под руками.

Куда же все-таки девались немцы?

Рассвет застал Сережку в степи за городом. Солнце вставало за розовато-серой дымкой, большое, круглое, можно было смотреть на него. Потом край его высунулся над дымкой, расплавился, и миллионы капель росы брызнули по степи, каждая своим светом, и темные конусы терриконов, то там, то здесь выступавшие над

степью, окрасились в розовое. Все ожило и засверкало вокруг, и Сережка почувствовал себя так, как мог бы чувствовать себя гуттаперчевый мячик, пущенный в игру.

Езженая дорога шла вдоль железнодорожной ветки, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Обе дороги проложены были по возвышенности, от которой отходили в обе стороны небольшие отрожки, разделенные балками, постепенно понижавшиеся и сливавшиеся со степью. И самые отрожки и неглубокие балки между ними поросли кудрявым леском, кустарником. Вся эта местность носила название Верхнедуванной рощи.

Солнце, сразу начавшее калить, быстро подымалось над степью. Оглядываясь вокруг, Сережка видел почти весь город, раскинувшийся по холмам и низинам — неравномерно, узлами, больше возле шахт, с их выделяющимися наземными сооружениями,— и вокруг зданий районного исполкома и треста «Краснодонуголь». Кроны деревьев на отрожках ярко зеленели на солнце, а на дне заросших балок еще лежали прохладные утренние тени. Рельсы, сверкая на солнце, сливаясь, уходили вдаль и исчезали за дальним холмом, из-за которого медленно всходил к небу круглый беленький мирный дымок,— там находилась станция Верхнедуванная.

И вдруг на гребне этого холма, в той точке, где как бы кончалась езженая дорога, возникло темное пятно, которое быстро стало вытягиваться навстречу в виде узкой темной ленточки. Через несколько секунд эта ленточка отделилась от горизонта,— что-то продолговатое, компактное, темное стремительно двигалось издалека навстречу Сережке, оставляя позади себя конус рыжей пыли. И еще раньше, чем Сережка мог рассмотреть, что это такое, он понял по наполнившему степь стрекоту, что это движется отряд мотоциклистов.

Сережка юркнул в кусты ниже дороги и стал ждать, лежа на брюхе. Не прошло и четверти часа, как нараставший стрекот моторов наполнил собой все вокруг, и мимо Сережки, видные ему только верхней частью корпуса, промчались немецкие мотоциклисты-автоматчики,— их было более двадцати. Они были в обычном грязно-сером обмундировании немецкой армии, в пилотках, но глаза, и лоб, и верхнюю часть носа закрывали им громадные, темные, выпуклые очки, и это придавало

этим людям, внезапно возникшим здесь, в донецкой степи, фантастический вид.

Они доехали до окраинных домиков, застопорили машины и, соскочив с машин, рассыпались по сторонам; у машин осталось трое или четверо. Но не прошло и десяти минут, как все мотоциклисты один за другим вновь сели на машины и помчались в город.

Сережка потерял их из виду за домами в низине, но он знал, что, если они едут в центральную часть города, к парку, им не миновать хорошо видного отсюда подъема дороги за вторым переездом, и Сережка стал наблюдать за этим подъемом дороги. Четверо или пятеро мотоциклистов веером взнеслись на этот подъем, но не проследовали к парку, а свернули к той группе зданий на холме, где находились здания районного исполкома и «бешеного барина». Через несколько минут мотоциклисты промчались обратно к переезду, и Сережка вновь увидел весь отряд среди окраинных домов,— отряд возвращался на Верхнедуванную. Сережка пал ниц между кустами и уже не поднимал головы, пока отряд не промчался мимо него.

Он перебрался на поросший деревьями и кустами отрожек, выдвинутый в сторону Верхнедуванной, откуда видна была вся местность. Здесь пролежал он несколько часов под деревом. Солнце, передвигавшееся по небу, вновь и вновь находило Сережку и начинало так припекать, что он все время уползал от него по кругу — за тенью.

Пчелы и шмели гудели в кустах, собирая июльского настоя нектар с поздних летних цветов и прозрачную липкую падь с листьев деревьев и кустарников, образуемую на обратной стороне листьев травяными тлями. От листвы и от травы, которая пышно разрослась здесь, в то время как на всем пространстве степи она уже сильно выгорела, тянуло свежестью. Иногда чуть-чуть повевал ветерок и шелестел листвою. Высоко-высоко в небе стояли мелкие курчавившиеся, очень яркие от солнца барашки облачков.

И такая истома сковывала все его члены, ложилась на сердце, что временами Сережка забывал, зачем он здесь. Тихие и чистые ощущения детских лет приходили ему на память, когда он так же, закрыв глаза, лежал в траве где-нибудь в степи, и солнце так же калило

его тело, и так же гудели вокруг пчелы и шмели, и пахло горячей травой, и мир казался таким родным, прозрачным и вечным. И снова в ушах раздавался стрекот моторов, и он видел этих мотоциклистов в неестественно огромных очках, на фоне голубого неба, и он вдруг понимал, что никогда-никогда уже не вернутся тихие, чистые ощущения детских лет, эти ранние, неповторимые дуновения счастья. И у него то больно и сладко щемило на сердце, то все его существо снова захлестывалось жестокой жаждой боя, кипевшей в его крови.

Солнце стояло уже после полудня, когда из-за дальнего холма снова высунулась по дороге длинная темная стрела и сразу густо взнялась пыль на горизонте. Это были опять мотоциклисты, их было много,— длинная, нескончаемая колонна. За ними пошли машины, сотни, тысячи грузовых машин в колоннах, в промежутках между которыми двигались легковые машины командиров. Машины все выкатывались и выкатывались из-за холма. Длинная, толстая, зеленая, отблескивающая на солнце чешуей змея, извиваясь, все вытягивалась и вытягивалась из-за горизонта, голова ее была уже недалеко от того места, где лежал Сережка, а хвоста еще не видно было. Пыль валом стояла над дорогой, и рев моторов, казалось, заполнил все пространство между землей и небом.

Немцы шли в Краснодон. Сережка был первый, кто их увидел.

Скользящим движением, как кошка, он не то прополз, не то проскочил, не то перелетел через езженую дорогу, потом через железную и бегом ударил вниз по балке, уже по другую сторону возвышенности, где его нельзя было увидеть с хода немецкой колонны за железнодорожной насыпью.

Сережка придумал весь этот маневр, чтобы успеть раньше немцев достигнуть города и занять в самом городе наиболее выгодный наблюдательный пункт — на крыше школы имени Горького, расположенной в городском парке.

Пустырем возле выработанной шахты он выбежал на зады той самой улицы за парком, которая со стародавних времен сохранилась в своем первозданном виде, отдельно от города, и носила в просторечии название «Деревянная».

И здесь он увидел нечто, настолько поразившее его воображение, что вынужден был остановиться. Он бесшумно скользил вдоль заборов, огораживавших обывательские садики, выходящие на зады Деревянной улицы, и в одном из этих садиков увидел ту самую девушку, с которой позапрошлой ночью судьба свела его в степи на грузовике.

Девушка, расстелив на траве под акациями темный в полоску плед и подмостив под голову подушку, лежала шагах в пяти от Сережки в профиль к нему, положив одну на другую загорелые ноги в туфлях, и, невзирая на происходящие вокруг события, читала книгу. Одна из ее толстых русых, золотящихся кос покойно и свободно раскинулась по подушке, оттеняя загорелое лицо ее с темными ресницами и самолюбиво приподнятой верхней полной губой. Да, в то время, когда тысячи машин, наполнив ревом моторов и бензинной гарью все пространство между степью и небом,— целая немецкая армия,— двигались на город Краснодон, девушка лежала на пледе в садике и читала книгу, придерживая ее обеими загорелыми, покрытыми пушком руками.

Сережка, сдерживая дыхание, со свистом вырывавшееся из груди, держась обеими руками за планки забора, несколько мгновений, ослепленный и счастливый, смотрел на эту девушку. Что-то наивное и прекрасное, как сама жизнь, было в этой девушке с раскрытой книгой в саду в один из самых ужасных дней существования мира.

С отчаянной отвагой Сережка перемахнул через забор и уже стоял у ног этой девушки. Она отложила книгу, и ее глаза в темных ресницах с выражением спокойным, удивленным и радостным остановились на Сережке.

В ту ночь, когда Мария Андреевна Борц привезла ребят из Беловодского района в Краснодон, вся семья Борц — сама Мария Андреевна, ее муж, старшая дочь Валя и младшая дочь Люся, двенадцати лет,— не спала до рассвета.

Они сидели при свете керосинового ночника,— электростанция, дававшая свет городу, не работала с семнадцатого числа,— сидели друг против друга за сто-

лом, как будто в гостях. Новости, которыми они обменялись, были несложны, но так страшны, что о них невозможно было говорить вслух в этой тишине, которая стояла в доме, на улице, во всем городе. Ехать куда-либо было уже поздно. Оставаться было ужасно. Все они, даже Люся, девочка с такими же, как у сестры, золотистыми, но еще более светлыми волосами и большими серьезными глазами на побледневшем личике, чувствовали, что произошло нечто настолько непоправимое, что разум еще не в силах охватить размеры бедствия.

Отец был жалок. Он все вертел цигарки из дешевого табака и курил. Детям уже трудно было представить себе то время, когда отец казался воплощением силы, опорой, защитой семьи. Он сидел худой, маленький. У него всегда было слабое зрение, а в последние годы он просто слепнул и уже с трудом готовился к урокам. Он, как и Мария Андреевна, преподавал литературу, и тетрадки его учеников часто просматривала за него жена. При свете ночника он ничего не видел, его глаза, какого-то египетского разреза, смотрели не мигая.

Все вокруг было такое привычное, знакомое с детства, и все было другое. Обеденный стол, накрытый цветной скатертью, пианино, на котором Валя играла каждый день свои пьески, буфет со стеклянными дверцами, за которыми симметрично была расставлена простая, со вкусом подобранная посуда, открытый шкаф с книгами — все это было такое же, как всегда, и все было чужое. Многочисленные поклонники Вали говорили, что в доме у Борц уютно и романтично, и Валя знала, что это она, девушка, живущая в этом доме, делает романтическим все, что окружает ее. И вот все это стояло перед нею, точно обнаженное.

Им было страшно потушить свет, разойтись, остаться каждому в своей постели наедине со своими мыслями и ощущениями. И так они молча сидели до самого рассвета,— одни часы тикали. Только когда слышно стало, как соседи набирают воду из крана в водонапорной башне наискосок от их домика, они потушили лампу, открыли ставни, и Валя, нарочно производя как можно больше шума, разделась и залезла с головой под одеяло. Очень скоро она заснула. Заснула и Люся. А Мария Андреевна с мужем так и не легли спать.

Валя проснулась оттого, что в столовой мать и отец тихо позвякивали чайной посудой,— Мария Андреевна все-таки поставила самовар. Солнце било в окно. И Валя с внезапным брезгливым чувством вспомнила это ночное сидение. Унизительно и ужасно было так опускаться.

В конце концов какое ей дело до немцев! У нее своя духовная жизнь. Пусть кто хочет изнывает от ожидания и страха, но не она, нет.

Она с наслаждением вымыла волосы горячей водой и напилась чаю. Потом взяла из шкафа томик Стивенсона с «Похищенным» и «Катрионой» и, расстелив в саду под акацией плед, погрузилась в чтение.

Тихо было вокруг. Солнце лежало на запущенной клумбе с цветами и на травянистой лужайке. Коричневая бабочка сидела на цветке и то распускала, то сдвигала крылышки. Земляные пчелы, мохнатые, темные, с белыми широкими, пушистыми полосами вокруг брюшка, сновали с цветка на цветок, сладко гудели. Старая, многоствольная и многоветвистая акация бросала тени вокруг. Сквозь листву, местами начавшую желтеть, виднелись аквамариновые пятна неба.

И этот сказочный мир неба, солнца, зелени, пчелок и бабочек причудливо переплетался с другим, вымышленным, миром книги, миром приключений, дикой природы, человеческой отваги и благородства, чистой дружбы и чистой любви.

Иногда Валя откладывала книгу и мечтательно, долго смотрела в небо между ветвей акаций. О чем мечтала она? Она не знала. Но, боже мой, как хорошо было одной лежать вот так в этом сказочном саду с раскрытой книгой!

«Наверно, все уехали, успели,— вспоминала она о школьных товарищах своих,— и Олег, наверно, уехал». Она была дружна с Кошевым, так же как были дружны их родители. «Да, все забыли ее, Валю. Олег уехал. И Степка не идет. Тоже друг. «Клянусь!» Вот болтун! Наверно, если бы тот парень, что вскочил тогда в грузовик,— как его... Сергей Тюленин... Сережа Тюленин,— если бы тот парень поклялся, он бы сдержал свое слово...»

И она уже представляла себя на месте Катрионы, а герой, Похищенный, полный отваги и благородства,

представлялся ей тем парнем, что впрыгнул ночью в машину. Чувствовалось, что у него жесткие волосы, ей так хотелось их потрогать. «А то что за мальчишка, если волосы у него мягкие, как у девчонки, у мальчишки волосы должны быть жесткие... Ах, если бы они никогда не пришли, эти немцы!» — думала она с невыразимой тоской. И снова погружалась в вымышленный мир книги и облитого солнцем сада с земляными мохнатыми пчелами и коричневой бабочкой.

Так провела она весь день и на другое утро снова взяла плед и подушку и томик Стивенсона и ушла в сад. Так она и будет жить теперь, в саду под акацией, что бы там ни происходило на свете...

К сожалению, такой образ жизни был недоступен ее родителям. И Мария Андреевна не выдержала. Она была женщина шумная, здоровая, подвижная, с полными губами, крупными зубами, громким голосом. Нет, так жить нельзя. Она привела себя в порядок перед зеркалом и пошла к Кошевым — узнать, в городе они или выехали.

Кошевые жили на Садовой улице, упиравшейся в главные ворота парка, и занимали половину стандартного каменного домика, предоставленную трестом «Краснодонуголь» дяде Олега, Николаю Николаевичу Коростылеву, или дяде Коле. В другой половине домика жил с семьей учитель, сослуживец Марии Андреевны.

Одинокий стук топора разносился по Садовой улице, и Марии Андреевне показалось, что стук этот доносится из двора Кошевых. У нее забилось сердце, и, перед тем как войти во двор, она огляделась вокруг, не видит ли кто-нибудь,— как будто она совершала поступок опасный и беззаконный.

Черный лохматый пес, лежавший у крыльца с высунутым от жары красным языком, приподнялся было на стук каблуков Марии Андреевны, но, узнав ее, виновато взглянул на нее: «Извини, мол, жара, нет даже сил, чтобы вильнуть тебе хвостом», и снова опустился на землю.

Бабушка Вера Васильевна, худая, высокая, жилистая, колола дрова, высоко занося колун костлявыми длинными руками и опуская его с такой силой, что воздух с хеканьем и свистом вылетал из бабушкиной груди. Как видно, она еще не жаловалась на поясницу, а может

быть, считала, что клин клином вышибают. Лицо у бабушки было сильно загорелое, темное, худое, нос тонкий, с трепещущими ноздрями,— в профиль она всегда напоминала Марии Андреевне Данте Алигьери, изображение которого Мария Андреевна видела в дореволюционном многотомном издании «Божественной Комедии». Вьющиеся кольцами седоватые темно-каштановые волосы обрамляли смуглое лицо бабушки и падали ей на плечи. Обычно бабушка носила очки в черной тонкой роговой оправе, приобретенные так давно, что одна из держалок, которые заправляют за уши, отломилась просто от времени и была прикручена к оправе черной ниткой. Но в эту минуту бабушка была без очков.

Она работала с особенной — удвоенной, утроенной — энергией, поленья с грохотом летели во все стороны. Выражение лица и всей фигуры бабушки было примерно такое: «Черт бы побрал этих немцев и черт бы побрал вас всех, коли вы боитесь немцев! Я лучше буду колоть эти дрова... крах... крах... И пусть эти поленья, чтобы черт их побрал, летят во все стороны! Да, я лучше буду греметь этими поленьями, чем допущу себя до вашего унизительного состояния. А если мне за это суждено погибнуть, то, черт меня побери, я уже старая и смерти не боюсь... крах... крах...»

И бабушка Вера, увязив колун в сучковатой чурке, вдруг развернулась всей чуркой через плечо да так трахнула об обушок,— чурка так и брызнула на две половинки, одна из которых едва не сшибла Марию Андреевну с ног.

Благодаря этому обстоятельству бабушка Вера увидела Марию Андреевну, прижмурилась, узнала ее и, отбросив колун, сказала своим громким голосом, который разнесся, казалось, по всей улице:

— А, Мария, чи то — Мария Андреевна! Ото дило, ото добре, шо зашла, не погнушалась! А то вже дочка моя, Лена, третьи сутки учкнулась у подушку и реве, як та белуга. Я ей кажу: «Да сколько ж слез в тебе?» Заходьте, будьте ласковы...

Мария Андреевна и испугалась ее громкого голоса, и одновременно он как-то обнадежил ее,— ведь она сама любила говорить громко. Но все-таки она спросила тихо и с опаской:

— А наши уехали? — И указала на квартиру учителя.

— Сам десь уихав, а семья туточки, и тоже ревуть. Може, поснидаете со мною? Я такой борщ сварила с буряками, та никто не хочет исты.

Нет, она, как всегда, была на высоте, бабушка Вера, бобылка. Она была дочерью сельского столяра, родом из Полтавской губернии. Муж ее, уроженец Киева, мастеровой-путиловец, после первой мировой войны, с которой он пришел сильно израненный, осел в их селе. Будучи замужем, бабушка Вера вышла на самостоятельную дорогу, была делегаткой на селе, работала в комнезаме, потом поступила на службу в больницу. И смерть мужа не сломила ее, а еще больше развила в ней эту черту самостоятельности. Теперь она уже, правда, не служила, а жила на пенсии, но еще и сейчас могла, в случае нужды, подать свой властный голос. Бабушка Вера уже лет двенадцать как была партийной.

Елена Николаевна, мать Олега, лежала на кровати вниз лицом в измятом цветастом платье, с голыми ногами, и ее светло-русые пышные косы, которые в обычное время увенчивали ее голову большой замысловатой прической, теперь не уложенные, прикрывали едва не до пят все ее маленькое, с развитыми формами, молодой, красивой и сильной женщины тело.

Когда бабушка Вера и Мария Андреевна вошли в горницу, Елена Николаевна оторвала от подушки заплаканное скуластое лицо с добрыми, умными, мягкими по выражению, опухшими глазами и, вскрикнув, кинулась к Марии Андреевне в объятия. Они обнялись, припали друг к другу, поцеловались, заплакали, потом засмеялись. Они рады были, что в эти страшные дни они могли так относиться друг к другу, так понимать и разделять общее горе. Они плакали и смеялись, а бабушка Вера, уперев жилистые руки в бока, качала своей кудрявой головой Данте Алигьери и все повторяла:

— От дурные, так дурные: то плачуть, то смиються. Смеяться вроде нема с чого, а наплакаться мы ще успеем уси...

И в это время до слуха женщин донесся с улицы странный нарастающий шум, будто рокот множества моторов, сопровождаемый злобным и тоже нарастающим,

надрывным лаем собак,— похоже было, что по всему городу взбесились собаки.

Елена Николаевна и Мария Андреевна отпустили друг друга. И бабушка Вера опустила руки, и ее смуглое худое лицо побледнело. Они постояли так несколько мгновений, не смея дать себе отчет в том, что это за звуки, но они уже знали, что это за звуки. И вдруг все трое — первой бабушка, за ней Мария Андреевна, за ней Елена Николаевна — выбежали в палисадник и, не сговариваясь, чутьем понимая, как это нужно сделать, побежали не к калитке, а между гряд, сквозь подсолнухи, к кустам жасмина, высаженного вдоль забора.

Шум множества машин, разрастаясь, доносился из нижней части города. Колеса машин уже погромыхивали по помосту, где-то на втором переезде, не видном отсюда. И вдруг в конце улицы, на въезде, показалась серая легковая машина без верха и, ослепительно отразив стеклом на извороте солнце, небыстро покатилась по улице к стоящим у кустов жасмина женщинам. В машине прямо, строго, неподвижно сидели военные в сером, в серых фуражках с высоко поднятой передней частью тульи.

За этой машиной двигалось еще несколько легковых машин. Они въезжали с переезда на улицу и одна за другой небыстро катились сюда, к парку.

Елена Николаевна, не спуская глаз с этих машин, вдруг лихорадочными движениями маленьких, с чуть утолщенными суставами пальцев рук подхватила одну, потом другую косу и стала обкручивать их вокруг головы. Она сделала это очень быстро, совершенно машинально и, обнаружив, что у нее нет с собой шпилек, продолжала стоять на месте и смотреть на улицу, придерживая косы на голове обеими руками.

А Мария Андреевна, издав легкий вскрик, бросилась от куста жасмина, за которым она стояла, не к калитке на улицу, а обратно к дому. Она обежала дом с того края, где жил учитель, и другой калиткой выбежала на улицу, параллельную той, по которой двигались немцы. Эта улица была пуста, и этой улицей Мария Андреевна побежала домой.

— Прости, я уже не имею сил тебя подготовить... Мужайся... Тебе надо немедленно спрятаться... Они мо-

гут вот-вот хлынуть на нашу улицу! — говорила Мария Андреевна мужу.

Она задыхалась, прикладывала руку к сердцу, но, как все здоровые люди, она была такая красная и потная от бега, что этот внешний вид ее волнения не соответствовал страшному смыслу того, о чем она говорила.

— Немцы? — тихо сказала Люся с таким недетским выражением ужаса в голосе, что Мария Андреевна вдруг смолкла, взглянула на дочь и растерянно повела глазами вокруг.

— Где Валя? — спросила она.

Муж Марии Андреевны стоял с бледными губами и молчал.

— Я расскажу, я все видела,— необыкновенно тихо и серьезно сказала Люся.— Она читала в саду, а какой-то мальчик, уже взрослый, перескочил через забор. Она лежала, а потом села, и они все разговаривали, а потом она вскочила, и они перелезли через забор и побежали.

— Куда побежали? — с остановившимися глазами спросила Мария Андреевна.

— К парку... Плед остался, и подушка, и книжка. Я думала, что она сейчас вернется, вышла и стала караулить, а она не вернулась, и я все домой унесла.

— Боже мой...— сказала Мария Андреевна и грузно опустилась на пол.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

А бабушка Вера и Елена Николаевна все стояли в кустах жасмина и смотрели, как, наполняя собой и своим грохотом улицу, взревывая на взъезде, выползали одна за другой громадные, высокие, длинные грузовые машины, в которых рядами, в куртках серого цвета, в серых грязных пилотках, потные, загорелые, пыльные, сидели немецкие солдаты, держа между ног ружья. Собаки со всех дворов со злобным лаем кидались на машины и прыгали вокруг в густой рыжей пыли.

Передние машины с офицерами уже поравнялись с палисадником у дома Кошевых, как вдруг за спиной женщин раздался свирепый лай, и черный лохматый пес, как шаровая молния, промчавшись среди подсолну-

хов, перемахнул через низенький забор палисадника и, низко подвывая, лая сипло и гулко, по-стариковски, заплясал вокруг передней машины.

Женщины в ужасе переглянулись. Им казалось, что сейчас должно произойти что-то ужасное. Но ничего ужасного не произошло. Машина проехала дальше, к самому парку, и остановилась у здания треста «Краснодонуголь», куда вслед за нею подошли и другие легковые машины. В это время грузовые машины с солдатами уже заполнили всю улицу. Солдаты спрыгивали с машин, разминали руки и ноги и с непривычным для русского уха шумным, резким говором растекались по дворам, палисадникам, стучались в двери. Черный лохматый пес растерянно стоял у калитки и неопределенно лаял на всю улицу.

Офицеры стояли возле здания треста, курили, денщики вносили в здание чемоданы. Маленький офицер с толстым брюшком и так высоко вздернутой тульей фуражки, что голова при ней уже не имела никакого значения, распоряжался разгрузкой машин. Молоденький офицер на неестественно длинных ногах в сопровождении солдата громадного роста, неуклюжего, в грубых ботинках и в пилотке на светлых, яркого палевого цвета волосах быстро перебежал наискосок через улицу, в здание, где жил Проценко. Но через минуту и офицер и солдат вышли оттуда и быстро свернули в калитку соседнего владения. В этом соседнем доме тоже жили работники обкома, но они несколько дней назад уехали вместе с хозяевами квартиры. Офицер и солдат вышли из палисадника и направились к калитке во двор Кошевых.

Наконец-то черный лохматый пес увидел совершенно реального противника, двигавшегося прямо на него, и с лаем кинулся на молоденького офицера. Офицер остановился на длинных расставленных ногах, на лице его появилось мальчишеское выражение, он выругался сквозь зубы, потом вынул из кобуры револьвер и в упор выстрелил в собаку. Пес ткнулся носом в землю, с воем прополз немного навстречу офицеру и вытянулся.

— Собаку вбили... що ж це воно буде? — сказала бабушка Вера.

Офицеры у здания треста и солдаты на улице оглянулись на выстрел, но, увидев убитую собаку, вернулись

к своим занятиям. Одиночные выстрелы раздавались то там, то здесь. Офицер в сопровождении громадного денщика с палевой головой уже отворял калитку во двор Кошевых.

Бабушка Вера, неподвижно и прямо неся свою голову Данте Алигьери, пошла навстречу им, а Елена Николаевна осталась в кустах жасмина, придерживая обеими руками уложенные вокруг головы светло-русые косы.

Остановившись на длинных ногах против бабушки и, хотя бабушка тоже была высокая, сверху вниз глядя на нее холодными, бесцветными глазами, офицер спросил.

— Кто будет показать вашу квартиру?

Он сказал это, предполагая, что говорит на очень правильном русском языке, и перевел свой взгляд с бабушки на стоявшую в кустах жасмина с поднятыми руками Елену Николаевну, а потом снова на бабушку.

— Що ж ты, Лена? Иди покажи,— смущенно сказала бабушка хриплым голосом.

Елена Николаевна, придерживая руками косы, пошла между грядок к дому.

Офицер некоторое время с удивлением смотрел на нее, потом снова перевел взгляд на бабушку.

— Ну? — сказал он, приподняв светлые брови, и его юное холеное лицо барчука приняло капризное выражение.

Бабушка, непривычно семеня ногами, почти побежала к дому. Офицер и денщик пошли за нею.

Квартира Кошевых состояла из трех комнат и кухни. Прямо из кухни посетитель попадал в большую комнату, служившую столовой, с двумя окнами на соседнюю, параллельную Садовой, улицу. Здесь же стояла кровать Елены Николаевны и диван, на котором обычно стелили Олегу. Дверь из столовой налево вела в комнату, где жил Николай Николаевич с женой и ребенком. Другая дверь, направо, вела в совсем маленькую комнатку, где спала бабушка. Комнатка эта имела общую стену с кухней, как раз ту стену, к которой примыкала плита, и когда на кухне топили плиту, в комнате стояла нестерпимая жара, особенно летом. Но бабушка, как все деревенские старухи, любила тепло, а если уж больно донимала жара, она открывала оконце в палисадник, где под самым окном высажены были кусты сирени.

Офицер вошел в кухню, бегло оглядел ее, потом, пригнувшись, чтобы не задеть притолоки, вошел в столовую, постоял, поводя глазами вокруг. Видно, ему понравилось здесь. Комната была чисто выбеленная и вымытая до блеска, крашеные полы устланы суровыми, домашней выделки, чистыми половиками, на столе белоснежная скатерть, такой же пододеяльник на кровати Елены Николаевны, а подушки, одна меньше другой, были пышно взбиты и покрыты чем-то кружевным и воздушным. На окнах стояли цветы.

Офицер быстро прошел в комнату Коростылевых, так же согнувшись в дверях. Елена Николаевна, даже не заметившая, когда и как она укрепила косы, осталась в столовой, прислонившись к косяку двери закинутой головой в пышной короне светло-русых волос. А бабушка Вера прошла за немцем.

Эта комнатка с маленьким письменным столом, аккуратным чернильным прибором и висящими сбоку стола, на косяке двери, на гвоздочке рейсшиной, треугольником и лекалом тоже понравилась немцу.

— Schön! — сказал он удовлетворенно.

Вдруг он увидел смятую кровать, на которой, когда вошла Мария Андреевна, лежала Елена Николаевна. Он быстро шагнул к кровати, отвернул одеяло, простыни, брезгливо, двумя пальцами приподнял перину, нагнулся и втянул носом воздух.

— Клоп нет? — морщась, спросил он бабушку Веру.

— Клопив нема... Нэту,— сказала бабушка, исковеркав язык возможно понятнее для немца, и отрицательно затрясла головой, обиженная.

— Schön,— сказал немец и, согнувшись в дверях, вернулся в столовую.

В комнату бабушки он только заглянул и круто обернулся к Елене Николаевне.

— Здесь будет жить генерал барон фон Венцель,— сказал он.— Эти две комнаты освободить,— он указал на столовую и комнату Коростылевых.— Вам разрешается жить здесь,— он указал на комнатку бабушки Веры.— Что вам надо из этих две комнаты, возьмите сейчас... Убрать это, это,— он брезгливо, двумя пальцами отогнул белоснежный пододеяльник, одеяло, простыню на кровати Елены Николаевны.— И та комната

тоже... убрать... Быстро! — И он вышел из комнаты мимо отшатнувшейся от него Елены Николаевны.

— Клопив, каже, нема? Вот ворог!.. Ото дожила бабуся Вера на старости лет! — громким резким голосом сказала бабушка.— Лена! Столбняк у тебя, чи що? — возмущенно сказала она.— Треба ж усе убрать для того барона, щоб у него очи повылазили! Приди в себя трошки. То ще, може, наша удача, що нам барона поставили, може, вин не такой скаженный, як воны уси...

Елена Николаевна молча свернула свою постель, отнесла в комнату бабушки и уже не выходила оттуда. А бабушка Вера убрала постель из комнаты сына и невестки, убрала со стен и со стола фотографии сына и внука Олега в комод («щоб не выспрашивали, кто да кто») и перенесла к себе в комнату белье и платья свои и дочери («щоб уже не лазать до них, хай им грець!»). Все-таки ее мучило любопытство, ей не сиделось, и она вышла во двор.

В калитке снова показался громадного роста денщик с палевой головой и с палевыми веснушками на мясистом лице, несший в обеих руках длинные, широкие, плоские чемоданы в кожаных чехлах. Солдат за ним нес оружие — три автоматических ружья, два маузера, саблю в серебряных ножнах, и еще два солдата несли: один — чемодан, а другой — небольшой тяжелый радиоприемник. Они, не взглянув на бабушку Веру, прошли в дом.

И в это время генерал, очень худой, высокий, в узких, чуть тронутых пылью блестящих штиблетах и в фуражке с сильно вздернутой спереди высокой тульей, старый, морщинистый, с чисто промытым лицом и кадыком, вошел через калитку в палисадник, почтительно сопровождаемый длинноногим офицером, шедшим со склоненной головой на полкорпуса позади генерала.

Генерал был в диагоналевых серых брюках с раздвоенными лампасами и во френче с блекло-золотыми пуговицами и черным воротником, украшенным золотистыми пальмовыми ветвями по красному полю петлиц. Генерал шел, высоко неся на длинной шее узкую длинную голову с седыми висками, и отрывисто говорил что-то. А офицер, идя чуть позади него и нагнув голову, почтительно ловил каждое его слово.

Войдя в палисадник, генерал остановился, огляделся, медленно поводя головой на длинной малиновой шее, и это сделало его похожим на гуся, особенно потому, что у его фуражки со вздернутой тульей был выдавшийся вперед длинный козырек. Генерал огляделся, и на застывшем лице его ничего не изобразилось. Рукою с узкой кистью и сухими пальцами он быстро обвел вокруг, как бы обрекая все это, что оказалось в поле его зрения, и буркнул что-то. Офицер еще почтительнее нагнул голову.

Обдав бабушку Веру сложным парфюмерным запахом и задержав на ней на мгновение взгляд своих сильно выцветших, водянистых усталых глаз, генерал прошел в дом, нагнув голову, чтобы не зацепить притолоки. Молодой офицер на длинных ногах, сделав знак солдатам, вытянувшимся у крыльца, чтобы они не уходили, вошел вслед за генералом, а бабушка Вера осталась во дворе.

Через несколько минут офицер вышел, отдал солдатам короткое распоряжение и при этом обвел рукой палисадник, в точности повторив генеральский жест. Солдаты, повернувшись на месте и щелкнув каблуками, вышли один другому в затылок из палисадника, а офицер вернулся в дом.

Подсолнухи на огороде уже сильно склонили свои золотые головы на запад, длинные густые тени легли на гряды. С улицы из-за кустов жасмина доносился чужой возбужденный говор и смех, справа на переезде все рычали моторы, то в той, то в другой стороне слышны были выстрелы, визг собак, кудахтанье кур.

Два знакомых уже бабушке Вере солдата снова показались в калитке. В руках у них были тесаки. Бабушка не успела еще подумать, зачем им эти тесаки, как оба солдата — один в одну сторону от калитки, другой в другую — начали рубить вдоль заборчика кусты жасмина.

— Да що це вы робите, да хиба ж воно вам мешает? — не выдержала бабушка и, развевая юбки, ринулась на солдат.— То ж цветы, то ж красивые цветы! Да хиба ж воны вам мешають? — гневно говорила она, бросаясь от одного солдата к другому, едва удерживаясь, чтобы не вцепиться им в волосы.

Солдаты, не глядя на нее, молча, сопя, рубили кусты. Потом один из них сказал что-то своему товарищу,— оба они засмеялись.

— Ще смиються,— с презрением сказала бабушка.

Солдат выпрямился, утер рукавом пот со лба и, с улыбкой взглянув на бабушку, сказал по-немецки:

— Это приказ свыше. Военная необходимость. Видите, везде рубят.— И он указал тесаком на соседний палисадник.

Бабушка не поняла того, что он сказал, но посмотрела в направлении, куда указывал тесаком солдат, и увидела, что в соседнем палисаднике, и дальше за ним, и позади, за ее спиной,— везде немецкие солдаты рубили деревья и кусты.

— Партизанен — пу! пу! — пытался объяснить немецкий солдат и, присев за кустом, вытянув грязный указательный палец с толстым ногтем, показал, как партизаны это делают.

Бабушка, сразу вся ослабев и махнув рукой, пошла от солдат и села на крылечке.

В калитке показался солдат в белой поварской шапочке и белом халате, из-под которого видны были концы его серых брюк и грубые, на деревянной подошве, ботинки. Он нес в одной руке большую, мелкого плетения круглую корзинку, в которой позвякивала посуда, а в другой — большую алюминиевую кастрюлю. За ним шел еще солдат в засаленной серой куртке и что-то нес перед собой в большой миске. Они прошли мимо бабушки на кухню.

Внезапно, точно вырвавшись из другого мира, донеслись из дома обрывки музыки, треск, шипенье, обрывки немецкой речи, снова треск и шипенье и опять обрывки музыки.

На всем протяжении улицы солдаты вырубали палисадники, и вскоре и направо и налево стало видно от второго переезда до парка, открылась вся улица, по которой сновали немецкие солдаты и проносились мотоциклетки.

Вдруг из горницы за спиной бабушки полилась далекая, нежная музыка. Где-то очень далеко от Краснодона шла спокойная, размеренная жизнь, чуждая всему, что здесь сейчас происходило. Люди, для которых предназначалась эта музыка, жили далеко от войны, от этих

солдат, которые сновали по улицам и рубили палисадники, и от бабушки Веры. И, должно быть, эта жизнь была далекой и чужой солдатам, которые рубили кусты в палисаднике, потому что солдаты не подняли голов, не приостановились, не прислушались, не обменялись словом по поводу этой музыки.

Они вырубили все деревья и кусты в палисаднике по самое окошко комнаты бабушки Веры, где, одинокая, молча сидела Елена Николаевна, и принялись теми же тесаками рубить под корень подсолнухи, склонившие на закат свои золотые головы. Они вырубили и эти подсолнухи, и тогда вокруг стало уже совсем чисто, и партизанам неоткуда было делать свое «пу-пу».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Немецкие солдаты и офицеры разных родов оружия в течение всего вечера растекались по всем районам города, только большой «Шанхай» и малые «шанхайчики» да отдаленный район «Голубятники» и Деревянная улица, на которой жила Валя Борц, оставались еще не занятыми.

Казалось, весь город, на улицах которого не видно было местных жителей, заполнился мундирами грязно-серого цвета, такими же пилотками и фуражками с серебряным германским орлом. Серые мундиры растекались по дворам и огородам; их можно было видеть в дверях домов, сараев, амбаров, кладовых.

Улица, на которой жили Осьмухины и Земнуховы, одной из первых была занята въехавшей на грузовиках пехотой. Улица эта была достаточно широка для того, чтобы на ней расположить грузовики, но из боязни привлечь внимание советской авиации солдаты, по приказу своих начальников, повсеместно ломали низенькие заборчики палисадников, чтобы машины свободно могли пройти во двор под прикрытие домов и домашних пристроек.

Высокий длинный грузовик, с которого уже поспрыгивали солдаты, пятясь задом и ревя мотором, наехал на палисадник дома Осьмухиных своими громадными двойными колесами на литых шинах. Забор затрещал. Сминая цветы и клумбы перед домом, наполняя воздух

бензинной гарью и рыча, грузовик задом въехал во двор Осьмухиных и остановился у стены.

Молодцеватый ефрейтор, весь черный, с черными, торчащими вперед жесткими усиками, черными жесткими волосами, обкладывавшими, как войлоком, его виски и затылок под сдвинутой на лоб пилоткой, ногой распахнув дверь в сени и из сеней в переднюю, ввалился в квартиру Осьмухиных в сопровождении группы солдат.

Елизавета Алексеевна и Люся с неестественно выпрямленным корпусом, похожие друг на друга, сидели у кровати Володи. Волнуясь и стараясь не показать своего волнения родным, Володя лежал, покрытый до подбородка простыней, и сумрачно глядел перед собой узкими коричневыми глазами. Но когда раздался этот грохот в сенях и потные, грязные лица ефрейтора и солдат показались в передней, дверь в которую была открыта, Елизавета Алексеевна резко встала и, быстрая, прямая, с лицом, которое приняло свойственное ей решительное выражение, вышла к немцам.

— Ошень карашо,— сказал ефрейтор и весело засмеялся, с нахальной откровенностью, но дружелюбно глядя в лицо Елизаветы Алексеевны.— Здесь будут стоять наши солдаты... Только две-три ночки. Nur zwei oder drei Nächte. Ошень карашо.

Солдаты стояли за его спиной и молча, без улыбки, смотрели на Елизавету Алексеевну. Она отворила дверь в комнату, где обычно она жила с Люсей. Она еще до прихода немцев решила, если немцы станут на постой, перебраться в комнату к Володе, чтобы всем быть вместе. Но ефрейтор не прошел в эту комнату, даже не заглянул в нее,— он в растворенную дверь смотрел на Люсю, прямо и неподвижно сидевшую у постели Володи.

— О! — воскликнул ефрейтор, весело улыбнувшись Люсе и козырнув.— Ваш брат? — он бесцеремонно ткнул черным пальцем в сторону Володи.— Он ранен?

— Нет,— вспыхнув, сказала Люся,— он болен.

— Она говорит по-немецки! — Ефрейтор, смеясь, обернулся к солдатам, которые по-прежнему без улыбки стояли в передней.— Вы хотите скрыть, что ваш брат красный солдат или партизан и что он ранен, но мы всегда можем это проверить,— с улыбкой говорил еф-

рейтор, заигрывая с Люсей своими блестящими черными глазами.

— Нет, нет, он учащийся, ему всего семнадцать лет, он лежит после операции,— с волнением отвечала Люся.

— Не бойтесь, мы не тронем вашего брата,— сказал ефрейтор, улыбнувшись Люсе, и, снова козырнув ей, заглянул в комнату, которую указала ему Елизавета Алексеевна.— Ошень карашо! А это дверь куда? — спросил он Елизавету Алексеевну и, не дожидаясь ответа, отворил дверь в кухню.— Прекрасно! Сейчас же затопить. У вас есть куры?.. Яйки, яйки! — И он дружелюбно, с глупой откровенностью засмеялся.

Было даже удивительно, что он сказал то самое, что в течение всех месяцев войны было содержанием анекдотов о немцах, что можно было услышать от очевидцев, прочесть в газетных корреспонденциях и в подписях под карикатурами. Но он сказал именно это.

— Фридрих, займись нашим столом.— И он в сопровождении солдат вошел в комнату, указанную ему Елизаветой Алексеевной, и весь дом наполнился смехом и говором.

— Мама, ты поняла? Они просят яиц и просят затопить печь,— шепотом сказала Люся.

Елизавета Алексеевна продолжала молча стоять в передней.

— Ты поняла, мама? Может быть, мне принести дров?

— Я все поняла,— сказала мать, не меняя позы, както уж чересчур спокойно.

Немолодой солдат с сильно выдававшейся вперед нижней челюстью, с шрамом, спускавшимся из-под пилотки на бровь, вышел из комнаты.

— Это ты будешь — Фридрих? — спокойно спросила Елизавета Алексеевна.

— Фридрих? Это я Фридрих,— мрачно сказал солдат.

— Пойдем... поможешь мне принести дрова... А яиц я вам сама дам.

— Что? — спросил он, не понимая.

Но она сделала ему знак рукой и вышла в сени. Солдат последовал за нею.

— Да,— сказал Володя, не глядя на Люсю.— Закрой дверь.

Люся притворила дверь, думая, что Володя хочет что-то сказать ей.

Но когда она вернулась к кровати, он лежал с закрытыми глазами и молчал. И в это время в дверях, без стука, появился ефрейтор, голый по пояс, очень волосатый, черный, держа в руке мыльницу, с полотенцем через плечо.

— Где у вас умывальник? — спросил он.

— У нас нет умывальника, мы поливаем друг другу из кружки во дворе,— сказала Люся.

— Какая дикость! — Ефрейтор весело глядел на Люсю, расставив ноги в порыжелых ботинках на толстой подметке.— Как ваше имя?

— Людмила.

— Как?

— Людмила.

— Не понимаю... Лю... Лю...

— Людмила.

— О! Luise! — удовлетворенно воскликнул ефрейтор.— Вы говорите по-немецки, а моетесь из кружки,— брезгливо сказал он.— Ошень плёхо.

Люся молчала.

— А зимой? — воскликнул ефрейтор.— Ха-ха!.. Какая дикость! Так полейте мне по крайней мере!

Люся поднялась и шагнула к двери, но он продолжал стоять в дверях, расставив ноги, черно-волосатый, и, улыбаясь, откровенно и прямо смотрел на Люсю.

Она остановилась перед ним, потупив голову, и покраснела.

— Ха-ха!..— Ефрейтор еще постоял немного и уступил ей дорогу.

Они вышли на крыльцо.

Володя, понимавший их разговор, лежал закрыв глаза, чувствуя всем телом сильные толчки сердца. Если бы он не был болен, он мог бы сам полить немцу вместо Люси. Ему было стыдно от сознания униженности того положения, в котором очутились он и вся его семья и в котором им предстояло жить теперь, и он лежал с бьющимся сердцем, закрыв глаза, чтобы не выдать своего состояния.

Он слышал, как немецкие солдаты в тяжелых, кованых гвоздями ботинках ходили через переднюю во двор и обратно. Мать что-то сказала на крыльце своим рез-

ким голосом, прошла на кухню, шаркая туфлями, и снова вышла на крыльцо. Люся бесшумно вошла в комнату и притворила за собой дверь,— мать заменила ее.

— Володя! Ужас какой,— быстро заговорила Люся шепотом.— Заборы кругом переломали. Цветники все затоптали, и все дворы забиты солдатами. Вшей трясут из рубах. А прямо перед нашим крыльцом, в чем мать родила, обливаются холодной водой из ведра. Меня чуть не стошнило.

Володя лежал, не открывая глаз, и молчал.

Во дворе закричала курица.

— Фридрих наших кур режет,— с неожиданной издевкой в голосе сказала Люся.

Ефрейтор, фыркая и издавая ртом прерывистые разнообразные звуки,— должно быть, он утирался на ходу полотенцем,— прошел через переднюю в комнату, и некоторое время там слышен был его громкий, жизнерадостный голос очень здорового человека. Елизавета Алексеевна что-то отвечала ему. Через некоторое время она вернулась в комнату Володи со свернутой постелью и положила ее в угол.

В кухне что-то пекли, жарили, даже через закрытую дверь наносило запахи жаренья. Квартира превратилась в проходной двор, все время кто-нибудь приходил, уходил. Из кухни, и со двора, и из комнаты, где расположился ефрейтор с солдатами, доносился немецкий говор, смех.

Люся, имевшая способность к языкам, по окончании школы весь год войны специально занималась немецким, французским и английским,— она мечтала поступить в институт иностранных языков в Москве, чтобы иметь возможность когда-нибудь потом пойти на дипломатическую работу. Люся невольно слушала и понимала многое из этих солдатских разговоров, сдобренных грубым словом или шуткой.

— А, дружище Адам! Здорово, Адам, что это у тебя?

— Свиное сало по-украински. Я хочу войти с вами в долю.

— Великолепно! У тебя есть коньяк? Нет? Будем пить, hol's der Teufel, русскую водку!

— Говорят, на том конце улицы у какого-то старика есть мед.

— Я пошлю Гансхена. Надо пользоваться случаем. Черт знает, долго ли мы здесь пробудем и что нас ждет впереди.

— А что нас ждет впереди? Нас ждут Дон и Кубань. А может быть, Волга. Уверяю тебя, там будет не хуже.

— Здесь мы, по крайней мере, живы!

— А ну их, эти проклятые угольные районы! Ветер, пыль или грязь, и каждый смотрит на тебя по-волчьи.

— А где они смотрели на тебя ласково? И почему ты думаешь, что ты приносишь им счастье? Ха-ха!..

Кто-то вошел в переднюю и сказал сиплым бабьим голосом:

— Heil Hitler!

— Тьфу черт, это Петер Фенбонг! Heil Hitler!.. Ах, verdammt noch mal [1], мы тебя еще не видели в черном! А ну, покажись... Смотрите, ребятишки, Петер Фенбонг! Подумать только, мы не виделись с самой границы.

— Можно подумать, вы, правда, обо мне соскучились,— с усмешкой отвечал этот бабий голос.

— Петер Фенбонг! Откуда тебя принесло?

— Лучше скажи — куда? Мы получили назначение в эту дыру.

— А что это за значок у тебя на груди?

— Я теперь уже ротенфюрер.

— Ого! Недаром ты растолстел. Должно быть, в частях СС лучше кормят!

— Но он, должно быть, по-прежнему спит в одежде и не моется, я это чувствую по запаху.

— Никогда не шути так, чтобы потом раскаиваться,— просипел бабий голос.

— Прости, дорогой Петер, но ведь мы старые друзья. Не правда ли? Что останется солдату, если нельзя и пошутить! Как ты забрел к нам?

— Я ищу квартиру.

— Ты ищешь квартиру?! Вам всегда достаются лучшие дома.

— Мы заняли больницу, это громадное здание. Но мне нужна квартира.

— Нас здесь семеро.

---

[1] Будь проклят *(нем.)*.

— Я вижу... Wie die Heringe! [1].

— Да, теперь ты пошел в гору. Но все же не забывай старых товарищей. Заходи, пока мы здесь.

Человек с бабьим голосом что-то пискнул в ответ, все засмеялись. Тяжело ступая коваными ботинками, он вышел.

— Странный человек этот Петер Фенбонг!

— Странный? Он делает себе карьеру, и он прав.

— Но ты видел его когда-нибудь не то что голым, а хотя бы в нижней рубашке? Он никогда не моется.

— Я подозреваю, что у него болячки на теле, которые он стыдится показать. Фридрих, скоро там у тебя?

— Мне нужен лавровый лист,— мрачно сказал Фридрих.

— Ты думаешь, что дело идет к концу, и хочешь заранее сплести себе венок победителя?

— Конца не будет, потому что мы воюем с целым светом,— мрачно сказал Фридрих.

Елизавета Алексеевна сидела у окна, облокотившись одной рукой о подоконник, задумавшись. Из окна ей виден был большой пустырь, облитый вечерним солнцем. На дальнем краю пустыря, наискось от их домика, стояли отдельно два белых каменных здания: одно, побольше,— школа имени Ворошилова, другое, поменьше,— детская больница. И школа и больница были эвакуированы, и здания стояли пустые.

— Люся, посмотри, что это? — сказала вдруг Елизавета Алексеевна и припала виском к стеклу.

Люся подбежала к окну. По пыльной дороге, пролегавшей слева через пустырь мимо двух этих зданий,— по этой дороге тянулась вереница людей. Вначале Люся даже не поняла, кто они такие. Мужчины и женщины в темных халатах, с непокрытыми головами, брели по дороге, иные едва ковыляли на костылях, иные, сами едва передвигая ноги, несли на носилках не то больных, не то раненых. Женщины в белых косынках и халатах и просто горожане и горожанки в обычных своих одеждах шли с тяжелыми узлами за плечами. Эта вереница людей тянулась по дороге из той части города, что не была видна из окна. Люди грудились возле главного входа в детскую больницу, где у больших парадных дверей

[1] Как сельди! (*нем.*)

возились две женщины в белых халатах, пытаясь открыть дверь.

— Это больные из городской больницы! Их просто выгнали,— сказала Люся.— Ты слышал? Ты понял? — спросила она, обернувшись к брату.

— Да, да, я слышал, я сразу подумал: а как же больные? Ведь я там лежал. Там ведь раненые были! — с волнением говорил Володя.

Некоторое время Люся и Елизавета Алексеевна наблюдали за переселением больных и шепотом делились с Володей своими наблюдениями, пока их не отвлек шумный говор немецких солдат. В комнате ефрейтора набралось, судя по голосам, человек десять—двенадцать. Впрочем, одни уходили, и приходили другие. Часов с семи вечера они начали есть, и вот уже совсем стемнело, а они все ели и ели, и все еще что-то жарилось на кухне. В передней взад-вперед топали солдатские ботинки. Из комнаты ефрейтора доносилось чоканье кружек, тосты, хохот. Разговор то оживлялся, то смолкал, когда приносили новое блюдо. Голоса становились все пьянее и все развязней.

В комнате, где сидели хозяева, было душно: наносило жаром и чадом из кухни, а хозяева по-прежнему не решались растворить окна. И было темно: по молчаливому соглашению они не зажигали лампы.

Спускалась темная июльская ночь, а они все сидели, не стеля постелей, не решаясь лечь спать. За окном на пустыре уже ничего нельзя было различить, только темный гребень длинного холма справа от пустыря с выступающими на нем зданиями районного исполкома и «бешеного барина» вырисовывался на более светлом фоне неба.

В комнате у ефрейтора запели песню! Пели ее, как поют не просто пьяные люди, а как поют пьяные немцы: совершенно одинаковыми низкими голосами, со страшным напряжением; они даже сипели и хрипели — так им хотелось петь одновременно и низко и громко. Потом они опять чокались и пели, и снова ели, и на некоторое время, пока они ели, все стихало.

Вдруг тяжелые ботинки протопали в передней до самой двери в комнату хозяев и здесь остановились,— тот, кто подошел, прислушивался за дверью.

Раздался сильный стук в дверь пальцем. Елизавета Алексеевна сделала знак не открывать, будто они уже легли. Стук повторился. Через несколько секунд в дверь сильно стукнули кулаком, она отворилась, и черная голова высунулась в дверь.

— Кто есть? — по-русски спросил ефрейтор.— Хазайка!

Елизавета Алексеевна, прямо встав со стула, подошла к двери.

— Что вам нужно? — тихо спросила она.

— Я и мои солдаты просим вас немношко покушать с нами... Ты и Луиза. Немношко,— пояснил он.— И мальтшик!.. Ему вы тоже можете принести. Немношко.

— Мы уже ели, мы не хотим есть,— сказала Елизавета Алексеевна.

— Где Луиза? — не поняв ее, спросил ефрейтор, сопя и отрыгивая пищу, от него так и разило водкой.— Луиза! Я вижу вас,— сказал он, широко улыбнувшись.— Я и мои солдаты просим вас поесть с нами. И выпить, если вы не возражаете.

— Моему брату нехорошо, я не могу оставить его,— сказала Люся.

— Может быть, вам нужно убрать со стола? Пойдемте, я помогу вам, пойдемте.— И Елизавета Алексеевна, смело взяв ефрейтора за рукав, вместе с ним вышла в переднюю, притворив за собой дверь.

Желто-синий чад, от которого слезились глаза, наполнял все пространство кухни, передней и комнаты, где происходило пиршество. И в этом чаду точно растворился мерцающий желтый свет круглых жестяных плошек, залитых не то стеарином, не то другим, похожим на стеарин, белым веществом. Плошки горели и на столе, и на подоконнике в кухне, и на навесе вешалки в передней, и на столе в комнате, наполненной немецкими солдатами, куда вошла Елизавета Алексеевна вместе с ефрейтором.

Немцы обсели стол, придвинутый к кровати. Они, плотно сдвинувшись, сидели на кровати, на стульях, на табуретах, а мрачный Фридрих, со своим шрамом, сидел на чурбане, на котором обычно кололи дрова. На столе стояло несколько бутылок с водкой, и много пустых было и на столе, и под столом, и на подоконниках. Стол

был заставлен грязной посудой, завален бараньими и куриными костями, огрызками зелени, корками хлеба.

Немцы сидели без мундиров, в нижних несвежих рубахах с расстегнутым воротом, потные, волосатые, с сальными от пальцев до локтей руками.

— Фридрих! — взревел ефрейтор.— Ты что сидишь? Разве ты не знаешь, как надо ухаживать за матерями хорошеньких девушек! — Он засмеялся еще более откровенно и весело, чем он делал это в трезвом виде. И все вокруг тоже засмеялись.

Елизавета Алексеевна, чувствуя, что это смеются над ней, и подозревая гораздо более худшее, чем на самом деле сказал ефрейтор, молча сметала со стола объедки в грязную пустую миску, бледная, молчаливая и страшная.

— Где ваша дочь Луиза? Выпейте с нами,— говорил молодой красный пьяный солдат, неверными руками беря со стола бутылку и ища глазами чистую кружку. Не найдя ее, он налил в свою.— Пригласите ее сюда! Ее просят немецкие солдаты. Говорят, она понимает по-немецки. Пусть она научит нас петь русские песни...

Он взмахнул рукой, в которой была бутылка с водкой, и, сильно напыжившись и выпучив глаза, запел ужасным низким голосом:

Wolga, Wolga, Mutter Wolga,
Wolga, Wolga, Russlands Fluss...[1]

Он встал и пел, дирижируя этой бутылкой так, что из нее выплескивалось на солдат, на стол и на кровать. Черный ефрейтор захохотал и тоже запел, и все подхватили ужасными низкими голосами.

— Да, мы выходим на Волгу! — кричал очень толстый немец с мокрыми бровками, стараясь перекричать голоса поющих.— Волга — немецкая река! Deutschlands Fluss. Так надо петь! — кричал он. И, утверждая свои слова и самого себя, воткнул в стол вилку так, что зубья ее погнулись.

Они были настолько увлечены пением, что Елизавета Алексеевна, не замеченная никем, вынесла миску с объедками на кухню. Она хотела сполоснуть миску, но не обнаружила на плите чайника с кипятком. «Да они же не пьют чаю»,— подумала она.

---

[1] Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река... (*нем.*).

Фридрих, возившийся у плиты с тряпкой в руке, снял с плиты сковороду с плавающими в жире кусками баранины и вышел. «Барана, должно быть, у Слоновых зарезали»,— подумала Елизавета Алексеевна, прислушиваясь к нестройным одинаковым пьяным голосам, на немецком языке исполнявшим старинную волжскую песню. Но это, как и все, что происходило вокруг, было уже безразлично ей, потому что та мера человеческих чувств и поступков, которая была свойственна ей и ее детям в обычной жизни, была уже неприменима в той жизни, в которую она и ее дети вступили. Не только внешне, а и внутренне они уже жили в мире, который настолько не походил на привычный мир отношений людей, что казался выдуманным. Казалось, надо было просто открыть глаза — и этот мир исчезнет.

Елизавета Алексеевна бесшумно вошла в комнату Володи и Люси. Они разговаривали шепотом и смолкли при ее появлении.

— Может быть, лучше постелиться и лечь тебе? Может быть, лучше, если ты будешь спать? — сказала Елизавета Алексеевна.

— Я боюсь ложиться,— тихо отвечала Люся.

— Если он только еще раз попробует, собака,— вдруг сказал Володя, приподнявшись на кровати, весь в белом,— если он только попробует, я убью его, да, да, убью, будь что будет! — повторил он, белый, худой, упираясь руками в постель и блестя в полутьме глазами

И в это время снова раздался стук в дверь, и дверь медленно отворилась. Держа в одной руке плошку, отбрасывающую колеблющийся свет на черное полное лицо его, ефрейтор в нижней рубашке, заправленной в брюки, показался в дверях. Некоторое время он, вытянув шею, вглядывался в сидевшего на постели Володю и в Люсю на табурете в ногах у брата.

— Луиза,— торжественно сказал ефрейтор,— вы не должны гнушаться солдат, которые каждый день и час могут погибнуть! Мы ничего не сделаем вам плохого. Немецкие солдаты — это благородные люди, это рыцари, я бы сказал. Мы просим вас разделить нашу компанию, только и всего.

— Убирайся вон! — сказал Володя, с ненавистью глядя на него.

— О, ты бравый парень, к сожалению, сраженный болезнью! — дружелюбно сказал ефрейтор: в полутьме он не мог рассмотреть лица Володи и не понял того, что тот сказал.

Неизвестно, что могло бы произойти в это мгновение, но Елизавета Алексеевна быстро подошла к сыну, обняла его, прижала лицо его к своей груди и властно уложила сына в постель.

— Молчи, молчи,— прошептала она ему на ухо сухими, горячими губами.

— Солдаты армии фюрера ждут вашего ответа, Луиза! — торжественно говорил пьяный ефрейтор в нижней рубашке, с черно-волосатой грудью, покачиваясь в дверях, с плошкой в руке.

Люся сидела бледная, не зная, что ему ответить.

— Хорошо, очень хорошо! Гут! — резким голосом сказала Елизавета Алексеевна, быстро подойдя к ефрейтору и кивая головой.— Она сейчас придет, понимаешь? Ферштейге? Переоденется и придет.— И она показала руками, будто переодевается.

— Мама...— сказала Люся дрожащим голосом.

— Молчи уж, если бог ума не дал,— говорила Елизавета Алексеевна, кивая головой и выпроваживая ефрейтора.

Ефрейтор вышел. В комнате через переднюю послышались восклицания, хохот, звяканье кружек, и немцы с новым подъемом запели одинаковыми низкими голосами:

Wolga, Wolga, Mutter Wolga...

Елизавета Алексеевна быстро подошла к гардеробу и повернула ключ в дверце.

— Полезай, я тебя закрою, слышишь? — сказала она шепотом.

— А как же...

— Мы скажем, ты вышла во двор...

Люся юркнула в гардероб, мать заперла за ней дверцу на ключ и положила ключ на гардероб.

Немцы яростно пели. Стояла уже глубокая ночь. За окном нельзя было уже различить ни зданий школы и детской больницы, ни длинного холма со зданиями районного исполкома и «бешеного барина». Только под дверью из передней пробивалась в комнату узкая поло-

ска света. «Боже мой, да неужто же все это правда?» — подумала Елизавета Алексеевна.

Немцы кончили петь, и между ними возник шутливый пьяный спор. Все, смеясь, нападали на ефрейтора, а он отбивался сиплым веселым голосом удалого, никогда не унывающего солдата.

И вот он снова появился в дверях с плошкой в руке.

— Луиза?

— Она вышла во двор... во двор...— Елизавета Алексеевна указала ему рукой.

Ефрейтор, пошатнувшись, вышел в сени, неся перед собой плошку и стуча ботинками. Слышно было, как он с грохотом спустился с крыльца. Солдаты, смеясь, еще поговорили немного, потом они тоже повалили во двор, топоча ботинками в передней и по крыльцу. Стало тихо. В комнате через переднюю кто-то, должно быть Фридрих, бренчал посудой, и слышно было, как солдаты мочатся во дворе у самого крыльца. Некоторые из них вскоре вернулись с шумным, пьяным говором. Ефрейтора все не было. Наконец шаги его послышались на крыльце и в сенях. Дверь в комнату распахнулась, и ефрейтор, уже без плошки, появился на фоне призрачного света и чада из растворенной двери кухни.

— Луиза...— шепотом позвал он.

Елизавета Алексеевна, как тень, возникла перед ним.

— Как? Ты ее не нашел?.. Она не приходила, ее нет,— говорила она, делая отрицательное движение головой и рукой.

Ефрейтор невидящими глазами обвел комнату.

— У-у-у...— вдруг пьяно и обиженно промычал он, остановив мутные и черные глаза свои на Елизавете Алексеевне. В то же мгновение он положил ей на лицо громадную сальную пятерню, стиснул пальцы, едва не выдавив Елизавете Алексеевне глаз, оттолкнул ее от себя и, качнувшись, вышел из комнаты. Елизавета Алексеевна быстро повернула ключ в двери.

Немцы еще повозились и побубнили пьяными голосами, потом они заснули, не потушив света.

Елизавета Алексеевна молча сидела против Володи, который по-прежнему не спал. Они испытывали невыносимую душевную усталость, но спать не хотелось. Елизавета Алексеевна выждала немного и выпустила Люсю.

— Я чуть не задохнулась, у меня вся спина мокрая и даже волосы,— говорила Люся возбужденным шепотом. Это приключение как-то взбодрило ее.— Я тихонько окно открою. Я задыхаюсь.

Она бесшумно отворила ближнее к койке окно и высунулась на пустырь. Ночь была душная, но после духоты комнаты и всего, что творилось в доме, такою свежестью пахнуло с пустыря, в городе было так тихо, что казалось — и нет вокруг никакого города, только их домик со спящими немцами один стоит среди темного пустыря. И вдоуг яркая вспышка где-то там, наверху, по ту сторону переезда, у парка, на мгновение осветила небо, и весь пустырь, и холм, и здания школы и больницы. Через мгновение — вторая вспышка, еще более сильная, и снова все выступило из тьмы, даже в комнате на мгновение стало светло. И вслед за этим — не то что взрывы, а какие-то беззвучные сотрясения воздуха, как бы вызванные отдаленными взрывами, один за другим пронеслись над пустырем, и снова потемнело.

— Что это? Что это? — испуганно спрашивала Елизавета Алексеевна.

И Володя приподнялся на постели.

Со странным замиранием сердца Люся всматривалась в темноту, в ту сторону, откуда просияли эти вспышки. Отсвет невидного отсюда пламени, то слабея, то усиливаясь, заколебался где-то там, на возвышенности, то вырывая из темноты, то вновь отпуская крыши зданий райисполкома и «бешеного барина». И вдруг в том месте, где находился источник этого странного света, взвилось в вышину языкастое пламя, и все небо над ним окрасилось багровым цветом, и осветились весь город и пустырь, и в комнате стало так светло, что видны стали и лица и предметы.

— Пожар!..— обернувшись в комнату, сказала Люся с непонятным торжеством и вновь устремила взор свой на это высокое языкастое пламя.

— Закрой окно,— испуганно сказала Елизавета Алексеевна.

— Все равно никто не видит,— говорила Люся, ежась, как от холода.

Она не знала, что это за пожар и как он возник. Но было что-то очищающее душу, что-то возвышенное и страшное в этом высоком, буйном, победном пламени.

И Люся, сама освещенная, не отрываясь, смотрела на него.

Зарево распространилось не только над центром города, но далеко вокруг. Не только здания школы и детской больницы были видны, как днем, можно было видеть даже расположенные за пустырем дальние районы города, примыкавшие к шахте № 1-бис. И это багровое небо и отсветы пожара на крышах зданий и на холмах создавали картину призрачную и фантастическую и в то же время величественную.

Чувствовалось, что весь город проснулся. Там, в центре, слышалось неумолчное движение людей, доносились отдельные голоса, вскрики, где-то рычали грузовики. На улице, где стоял домик Осьмухиных, и в их дворе проснулись, закопошились немцы. Собаки,— их еще не всех успели перестрелять,— позабыв дневные страхи, лаяли на пожар. Только пьяные немцы в комнате через переднюю ничего не слышали и спали.

Пожар бушевал около двух часов, потом стал затихать. Дальние районы города, холмы снова стали окутываться тьмою. Только отдельные последние вспышки пламени иногда вновь проявляли то округлость холма, то группу крыш, то темный конус террикона. Но небо над парком долго еще хранило то убывающий, то вновь усиливающийся багровый свет, и долго видны были здания районного исполкома и «бешеного барина» на холме. Потом они тоже стали меркнуть, и пустырь перед окном все гуще заполнялся тьмою.

А Люся все сидела у окна, возбужденно глядя в сторону пожара, Елизавета Алексеевна и Володя тоже не спали.

Вдруг Люсе показалось, будто кошка мелькнула по пустырю слева от окна, что-то зашуршало по фундаменту. Кто-то крался к окну. Люся инстинктивно отпрянула и хотела уже захлопнуть окно, но ее остановил чей-то шепот. Ее звали по имени:

— Люся... Люся...

Она замерла.

— Не бойся, это я, Тюленин...— И голова Сережки без кепки, с жесткими курчавыми волосами возникла вровень с подоконником.— У вас немцы стоят?

— Стоят,— прошептала Люся, испуганно и радост-

но глядя в смеющиеся и отчаянные глаза Сережки.— А у вас?

— У нас пока нет.

— Кто это? — походолев от ужаса, спрашивала Елизавета Алексеевна.

Дальний отсвет пожара осветил лицо Сережки, и Елизавета Алексеевна и Володя узнали его.

— Володя где? — спрашивал Сережка, навалившись животом на подоконник.

— Я здесь.

— А еще кто остался?

— Толя Орлов. Я больше не знаю, я никуда не выходил, у меня аппендицит.

— Витька Лукьянченко здесь и Любка Шевцова,— сказал Сережка.— И Степку Сафонова я видел, из школы Горького.

— Как ты забрел к нам? Ночью? — спрашивал Володя.

— Я пожар смотрел. Из парка. Потом стал шанхайчиками пробираться до дому, да увидел из балки, что у вас окно открыто.

— Что это горело?

— Трест.

— Ну-у?

— Там ихний штаб устроился. В одних подштанниках выскакивали,— тихо засмеялся Сережка.

— Ты думаешь — поджог? — спросил Володя.

Сережка помолчал, глаза его поблескивали в темноте, как у кошки.

— Да уж не само загорелось,— сказал он и снова тихо засмеялся.— Как жить думаешь? — вдруг спросил он Володю.

— А ты?

— Будто не знаешь.

— Вот и я так,— облегченно сказал Володя.— Я так тебе рад. Ты знаешь, я так рад...

— Я тоже,— нехотя сказал Сережка: он терпеть не мог сердечных излияний.— Немцы у вас злые?

— Пьянствовали всю ночь. Всех кур пожрали. Несколько раз в комнату ломились,— сказал Володя небрежно и в то же время словно гордясь перед Сережкой тем, что он уже испытал на себе, каковы немцы. Он только не сказал, что ефрейтор приставал к сестре.

— Значит, еще ничего,— спокойно сказал Сережка.— А в больнице остановились эсэсовцы, там раненых оставалось человек сорок, вывезли всех в Верхнедуванную рощу и — из автоматов. А врач Федор Федорович, как они их стали брать, не выдержал и вступился. Так они его прямо в коридоре застрелили.

— Ах, черт!.. Ай-я-яй... Какой хороший человек был,— сморщившись, сказал Володя.— Я ведь там лежал.

— Человек, каких мало,— сказал Сережка.

— И что ж это будет, господи! — с тихим стоном сказала Елизавета Алексеевна.

— Я побегу, пока не рассвело,— сказал Сережка.— Будем связь держать.— Он взглянул на Люсю, сделал витиеватое движение рукой и лихо сказал: — Ауфвидерзеген!..— Он знал, что она мечтает о курсах иностранных языков.

Его ловкое, юркое, щуплое тело скользнуло во тьму, и сразу его не стало ни видно, ни слышно,— он точно испарился.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Самое удивительное было то, как они быстро договорились.

— Что ж ты, девушка, читаешь? В Краснодон идут немцы! Разве не слышишь, как машины ревут с Верхнедуванной? — стоя у ног ее, с трудом сдерживая дыхание, говорил Сережка.

Валя все с тем же удивленным, спокойным и радостным выражением молча смотрела на него.

— Куда ты бежал? — спросила она.

На мгновение он смешался. Но нет, не могло быть, чтобы эта девушка была плохой девушкой.

— Хочу на вашу школу забраться, побачить, шо воно буде...

— А как ты заберешься? Разве ты бывал в нашей школе?

Сережка сказал, что он был в их школе один раз года два назад, на литературном вечере.

— Да уж как-нибудь заберусь,— сказал он с усмешкой.

— Но ведь немцы могут в первую очередь занять школу? — сказала Валя.

— Увижу, что они идут, да прямо в парк,— отвечал Сережка.

— Ты знаешь, лучше всего смотреть с чердака, оттуда все видно, а нас не увидят,— сказала Валя и села на своем пледе и быстро оправила косы и блузку.— Я знаю, как туда попасть, я тебе все покажу.

Сережка вдруг проявил некоторую нерешительность.

— Видишь, какое дело,— сказал он,— если немцы сунутся в школу, придется прыгать со второго этажа.

— Что ж поделаешь,— отвечала Валя.

— А сможешь?

— Спрашиваешь...

Сережка посмотрел на ее загорелые крепкие ноги, покрытые золотистым пушком. Теплая волна прошла у него по сердцу. Ну, конечно, эта девушка могла спрыгнуть со второго этажа!

И вот они уже вдвоем бежали к школе через парк.

Большая двухэтажная школа из красного кирпича, с светлыми классами, с большим гимнастическим залом, была расположена у главных ворот парка, против здания треста «Краснодонуголь». Школа была пуста и закрыта на ключ. Но, исходя из благородных целей, какие они преследовали, Сережка не посчитал для себя зазорным, наломав пук ветвей, с их помощью выдавить одно из окон в первом этаже, выходящее в глубину парка.

Сердца их благоговейно замерли, когда они, на цыпочках ступая по половицам, прошли через один из классов в нижний коридор. Тишина стояла во всем этом просторном здании, малейший шорох, стук гулко отзывались вокруг. За эти несколько дней многое сместилось на земле, и многие здания, как и люди, потеряли прежнее свое звание и назначение и еще не обрели нового. Но все-таки это была школа, в которой учили детей, школа, в которой Валя провела много светлых дней своей жизни.

Они увидели дверь с дощечкой, на которой написано было: «Учительская», дверь с дощечкой: «Директор», двери с дощечками: «Кабинет врача», «Физический кабинет», «Химический кабинет», «Библиотека». Да, это была школа, здесь взрослые люди, учителя, учили детей знанию и тому, как надо жить на свете.

И от этих пустых классов с голыми партами, помещений, еще хранивших специфический школьный запах, вдруг повеяло и на Сережку и на Валю тем миром, в котором они росли, который был неотъемлем от них и который теперь ушел, казалось, навсегда. Этот мир казался когда-то таким обыденным, заурядным, даже скучным. И вдруг он встал перед ними такой неповторимо чудесный, вольный, полный откровенных, прямых и чистых отношений между теми, кто учил и кто учился. Где они теперь, и те и другие, куда развеяла их судьба? И сердца и Сережки и Вали на мгновение распахнулись, полные такой любви к этому ушедшему миру и смутного благоговения перед высокой святостью этого мира, который они в свое время не умели ценить.

Они оба испытывали одни и те же чувства и без слов понимали это, и за эти несколько минут они необыкновенно сблизились друг с другом.

Узкой внутренней лестницей Валя вывела Сережку на второй этаж и еще выше, к маленьким дверям, ведущим на чердак. Двери были закрыты, но это не обескуражило Сережку. Пошарив в кармане брюк, он достал складной ножик, сервированный многими другими полезными предметами, среди которых была и отвертка. Вывернув винтики, он снял ручку двери так, что замочная скважина предстала перед ним обнаженная.

— Классно работаешь, сразу видно, что профессиональный взломщик,— усмехнулась Валя.

— На свете, кроме взломщиков, есть еще слесаря,— сказал Сережка и, обернувшись к Вале, улыбнулся ей.

Поковыряв в скважине долотцом, он открыл дверь, и на них пахнуло жаром от накалившейся на солнце железной крыши, запахом нагретой чердачной земли, пыли и паутины.

Пригибаясь, чтобы не задеть головой балок, они пробрались к одному из чердачных окон, сильно запыленному, и, не вытерев окна, чтобы их нельзя было увидеть с улицы, прижались лицами к стеклу, едва не касаясь друг друга щеками.

Из окна им видна была вся Садовая улица, упиравшаяся в ворота парка, особенно та сторона ее, где стояли стандартные дома работников обкома партии. Прямо перед их глазами на углу улицы видно было двухэтажное здание треста «Краснодонуголь».

С того момента, как Сережка покинул Верхнедуванную рощу, и до того момента, как они вместе с Валей прижали свои лица к пыльному чердачному стеклу, прошло довольно много времени: немецкие части успели войти в город, по всей Садовой улице теснились машины, и там и здесь видны были немецкие солдаты.

«Немцы... Вот они какие, немцы! Немцы у нас в Краснодоне»,— думала Валя, и у нее колотилось сердце, и грудь ее вздымалась от волнения.

А Сережку занимала больше внешняя, практическая сторона дела; острые глаза его схватывали все, что попадало в поле их зрения из окна на чердаке, и Сережка, сам того не замечая, запоминал каждую мелочь.

Не более десяти метров отделяли здание школы от здания треста. Здание треста было пониже здания школы. Сережка видел перед собой железную крышу, внутренность комнат второго этажа и ближайшую к окнам часть пола в первом этаже. Кроме Садовой улицы, Сережка видел и другие улицы, в иных местах загороженные от него домами. Он видел дворы и зады владений, в которых хозяйничали немецкие солдаты. Постепенно он вовлек и Валю в круг своих наблюдений.

— Кусты, кусты рубят... Смотри, даже подсолнухи,— говорил он.— А здесь, в тресте, у них, видно, штаб будет, видишь, как хозяйничают...

Немецкие офицеры и солдаты — делопроизводители, писаря — хозяйственно размещались в обоих этажах треста. Немцы были веселы. Они растворили все окна в тресте, рассматривали помещения, доставшиеся им, рылись в ящиках столов, курили, выбрасывая окурки на пустынную улочку, отделявшую здание треста от здания школы. Через некоторое время в комнатах появились русские женщины, молодые и пожилые. Женщины были с ведрами и тряпками. Подоткнув подолы, женщины стали мыть полы. Аккуратные, чистенькие немецкие писаря острили на их счет.

Все это происходило так близко от Вали и Сережки, что какая-то еще не вполне осознанная мысль, жестокая, мучительная и в то же время доставлявшая наслаждение ему, вдруг застучала в Сережкином сердце. Он даже обратил внимание на то, что оконца на чердаке легко вынимаются. Они были в легких рамах и держались в своих косячках на тонких, косо прибитых гвоздиках.

Сережка и Валя сидели на чердаке так долго, что могли уже разговаривать и о посторонних предметах.

— Ты Степку Сафонова после того не видала? — спрашивал Сережка.

— Нет.

«Значит, она просто не успела ничего сказать ему»,— с удовлетворением подумал Сережка.

— Он еще придет, он парень свой,— сказал Сережка.— Как ты думаешь жить дальше? — спрашивал он.

Валя самолюбиво повела плечом.

— Кто же может это сказать теперь? Никто же не знает, как это все будет.

— Это верно,— сказал Сережка.— К тебе можно будет зайти как-нибудь? Родители не заругаются?

— Родители!.. Заходи завтра, если хочешь. Я и Степу позову.

— Как зовут тебя?

— Валя Борц.

В это время до их слуха донеслись длинные очереди из автоматов, а потом еще несколько коротких — где-то там, в Верхнедуванной роще.

— Стреляют. Слышишь? — спросила Валя.

— Пока мы тут сидим, в городе, может, невесть что происходит,— серьезно сказал Сережка.— Может, немцы и на вашей и на нашей квартире уже расположились, как дома.

Только теперь Валя вспомнила, при каких обстоятельствах она ушла из дому, и подумала о том, что, может быть, Сережка прав, и мать и отец волнуются за нее. Из самолюбия она не решилась сказать первая, что ей пора уходить, но Сережка никогда не заботился о том, что могут о нем подумать.

— Пора по домам,— сказал он.

И они тем же путем выбрались из школы.

Некоторое время они еще постояли у забора, у садика. После совместного сидения на чердаке они чувствовали себя несколько смущенно.

— Так я зайду к тебе завтра,— сказал Сережка.

А дома Сережка узнал то, что он рассказал потом ночью Володе Осьмухину: об увозе раненых, оставшихся в больнице, и о гибели врача Федора Федоровича. Это

произошло на глазах сестры Нади, она и рассказала Сережке, как это случилось.

К больнице подъехали две легковые и несколько грузовых машин с эсэсовцами, и Наталье Алексеевне, которая встретила их на улице, предложено было в течение получаса очистить помещение. Наталья Алексеевна сразу отдала распоряжение всем, кто может двигаться, переходить в детскую больницу, но все же стала просить об удлинении срока переселения, ссылаясь на то, что у нее много лежачих больных и нет транспорта.

Офицеры уже садились в машины.

— Фенбонг! Что хочет эта женщина? — сказал старший из офицеров большому рыхлому унтеру с золотыми зубами и в очках в светлой роговой оправе. И легковые машины отбыли.

Очки в светлой роговой оправе придавали эсэсовскому унтеру вид если не ученый, то во всяком случае интеллигентный. Но когда Наталья Алексеевна обратилась к нему со своей просьбой и даже попыталась заговорить с ним по-немецки, взгляд унтера сквозь очки прошел как бы мимо Натальи Алексеевны. Бабьим голосом унтер позвал солдат, и они стали выбрасывать больных во двор, не дожидаясь, пока истекут обещанные полчаса.

Они вытаскивали больных на матрацах или просто взяв под мышки и швыряли на газон во дворе. И тут обнаружилось, что в госпитале находятся раненые.

Федор Федорович, сказавшийся врачом больницы пытался было объяснить, что это тяжелораненые, которые уже никогда не будут воевать и оставлены на гражданское попечение. Но унтер сказал, что если они военные люди, то они считаются военнопленными и их немедленно направят куда следует. И раненых стали срывать с постелей в одном нижнем белье и швырять в грузовик одного на другого, как попало.

Зная вспыльчивый характер Федора Федоровича, Наталья Алексеевна просила его уйти, но он не уходил, а все стоял в коридоре, в простенке между окон. Его загорелое лицо темного блеска стало серым. Он все перебирал губами остаток «козьей ножки», и у него дрожало колено так, что он иногда нагибался и потирал его рукою. Наталья Алексеевна боялась отойти от него и просила Надю тоже не уходить, пока все не будет кончено. Наде было жалко и страшно смотреть, как полураздетых

раненых в окровавленных бинтах тащили по коридору, иногда просто волочили по полу. Она боялась плакать, а слезы сами собой катились из глаз ее, но все-таки она не уходила, потому что еще больше она боялась за Федора Федоровича.

Двое немецких солдат тащили раненого, которому две недели тому назад Федор Федорович удалил разорванную осколком мины почку. Раненому было уже значительно лучше в последние дни, и Федор Федорович очень гордился этой операцией. Солдаты тащили раненого по коридору, и в это время унтер Фенбонг окликнул одного из них. Солдат бросил раненого, которого он держал за ноги, и убежал в палату, где находился унтер, а второй солдат потащил раненого волоком по полу.

Федор Федорович внезапно отделился от стены, и никто не успел уследить, как он уже был возле солдата, тащившего раненого. Этот раненый, как и большинство из них, несмотря на муки, какие он испытывал, не стонал, но когда он увидел Федора Федоровича, он сказал:

— Видал, Федор Федорович, что делают? Разве это люди?

И заплакал.

Федор Федорович что-то сказал солдату по-немецки. Наверно, он сказал, что так, мол, нельзя. И наверно, сказал: дай, мол, я помогу. Но немецкий солдат засмеялся и потащил раненого дальше. В это время унтер Фенбонг вышел из палаты, и Федор Федорович пошел прямо на него. Федор Федорович вовсе побелел, и всего его трясло. Он почти надвинулся на унтера и что-то резко сказал ему. Унтер в черном мундире, собравшемся складками на его большом рыхлом теле, с блестящим металлическим значком на груди, изображавшим череп и кости, захрипел на Федора Федоровича и ткнул его револьвером в лицо. Федор Федорович отшатнулся и еще что-то сказал ему, наверно, очень обидное. Тогда унтер, страшно выпучив глаза под очками, выстрелил Федору Федоровичу прямо между глаз. Надя видела, как у него между глаз точно провалилось, хлынула кровь, и Федор Федорович упал. А Наталья Алексеевна и Надя выбежали из больницы, и Надя сама уже не помнила, как она очутилась дома.

Надя сидела в косынке и халате, как она прибежала из больницы, и снова и снова начинала рассказывать.

Она не плакала, лицо у нее было белое, а маленькие скулы горели пламенем, и блестящие глаза ее не видели тех, кому она рассказывала.

— Слыхал, шлендра? — яростно кашлял отец на Сережку.— Ей-богу, возьму да выдеру кнутом. Немцы в городе, а он шлендраеет, где ни попало. Мало мать в могилу не свел.

Мать заплакала.

— Я ж извелась за тобой. Думаю, убили.

— Убили! — вдруг зло сказал Сережка.— Меня не убили. А раненых убили. В Верхнедуванной роще. Я сам слышал...

Он прошел в горницу и кинулся на кровать в подушку. Мстительное чувство сотрясало все его тело, Сережке трудно было дышать. То, что так томило и мучило его на чердаке школы, теперь нашло выход. «Обождите, пусть только стемнеет!» — думал Сережка, корчась на постели. Никакая сила уже не могла удержать его от того, что он задумал.

Спать легли рано, не зажигая света, но все были так возбуждены, что никто не спал. Не было никакой возможности уйти незаметно,— он вышел открыто, будто идет на двор, и шмыгнул в огород. Руками он раскопал одну из ямок, где спрятаны были бутылки с горючей смесью,— ночью опасно было копать лопатой. Он слышал, как звякнула дверь, из хаты вышла сестра Надя и тихо позвала его несколько раз:

— Сережа... Сережа...

Она подождала немного, позвала еще раз, и дверь снова звякнула — сестра ушла.

Он сунул по бутылке в карманы штанов и одну за пазуху и во тьме июльской душной ночи, обходя «шанхайчиками» центр города, снова пробрался в парк.

В парке было тихо, пустынно. Но особенно тихо было в здании школы, куда он проник через окно, выдавленное днем. В здании школы было так тихо, что каждый его шаг, казалось, слышен был не только в здании, но и во всем городе. В высокие проемы окон на лестнице вливался снаружи какой-то смутный свет. И когда фигура Сережки возникла на фоне одного из этих окон, ему показалось, что кто-то затаившийся в углу во тьме теперь увидит и схватит его. Но он пересилил страх и

вскоре очутился на своем наблюдательном пункте на чердаке.

Некоторое время он посидел у оконца, сквозь которое теперь ничего не было видно, посидел просто для того, чтобы перевести дух.

Потом он нащупал пальцами гвоздики, которые держали раму окна, отогнул их и тихо вынул раму. Свежий воздух пахнул на него, на чердаке все еще было душно. После темноты школы и особенно этого чердака он уже мог различать то, что происходило перед ним на улице. Он слышал движение машин по городу и видел движущиеся, приглушенные огни их фар. Непрерывное движение частей от Верхнедуванной продолжалось и ночью. Там, на всем протяжении дороги, видны были светящиеся в ночи фары. Некоторые машины двигались на полный свет, он вдруг вырывался из-за холма ввысь, как свет прожектора, далеко прорезая ночное небо или освещая часть степи или деревья в роще с вывернутой белой изнанкой листьев.

У главного входа в здание треста шла военная ночная жизнь. Подъезжали машины, мотоциклетки. Все время входили и выходили офицеры и солдаты, бряцая оружием и шпорами, слышался чужой, резкий говор, Но окна в здании треста были затемнены.

Все чувства Сережки были так напряжены и так направлены в одну цель, что это новое, непредвиденное обстоятельство — то, что окна были затемнены,— не изменило его решения. Так он просидел возле этого оконца часа два, не меньше. Все уже стихло в городе. Движение возле здания тоже прекратилось, но внутри него еще не спали,— Сережка видел это по полоскам света, выбивавшегося из-за краев черной бумаги. Но вот в двух окнах второго этажа свет потух, и кто-то изнутри отворил одно окно, потом другое. Невидимый, он стоял в темноте комнаты у окна,— Сережка чувствовал это. Потух свет и в некоторых окнах первого этажа, и эти окна тоже распахнулись.

— Wer ist da? — раздался начальственный голос из окна второго этажа, и Сережка смутно различил силуэт фигуры, перегнувшейся через подоконник.— Кто там? — снова спросил этот голос.

— Лейтенант Мейер, Herr Oberst,— ответил юношеский голос снизу.

— Я не советовал бы вам открывать окна в нижнем этаже,— сказал голос наверху.

— Ужасная духота, Herr Oberst. Конечно, если вы запрещаете...

— Нет, я совсем не хочу, чтобы вы превратились в духовую говядину. Sie brauchen nicht zum Schmorbraten werden,— смеясь, сказал этот начальственный голос наверху.

Сережка, не понимая, с бьющимся сердцем прислушивался к немецкой речи.

В окнах гасили свет, подымали шторы, и окна открывались одно за другим. Иногда из них доносились обрывки разговора, кто-то насвистывал. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой, осветив на мгновение лицо, папиросу, пальцы, и потом огненная точка папиросы долго еще видна была в глубине комнаты.

— Какая огромная страна, ей конца нет, da ist ja kein Ende abzusehen,— сказал кто-то у окна, обращаясь, должно быть, к приятелю своему в глубине комнаты.

Немцы ложились спать. Все затихло в здании и в городе. Только со стороны Верхнедуванной, прорезая резким светом фар ночное небо, еще двигались машины.

Сережка слышал биение своего сердца, казалось, оно стучит на весь чердак. Здесь было все-таки очень душно, Сережка весь вспотел.

Здание треста с открытыми окнами, погруженное во тьму и сон, смутно вырисовывалось перед ним. Он видел зияющие тьмой отверстия окон вверху и внизу. Да, это нужно было делать сейчас... Он сделал несколько пробных движений рукой, чтобы вымерить возможный размах и хоть приблизительно прицелиться.

Бутылки, которые он сразу, как пришел сюда, вынул из карманов и из-за пазухи, стояли сбоку от него. Он нащупал одну из них, крепко сжал ее за горлышко, примерился и с силой пустил в нижнее растворенное окно. Ослепительная вспышка озарила все окно и даже часть улочки между зданием треста и зданием школы, и в то же мгновение раздался звон стекла и легкий взрыв, похожий на то, как будто разбилась электрическая лампочка. Из окна вырвалось пламя. В то же мгновение Сережка бросил в это окно вторую бутылку, она разорвалась в пламени с сильным звуком. Пламя уже бушевало внутри комнаты, горели рамы окна, и языки огня вы-

совывались вверх по стене, едва не до второго этажа. Кто-то отчаянно выл и визжал в этой комнате, крики раздались по всему зданию. Сережка схватил третью бутылку и пустил ее в окно второго этажа напротив.

Он слышал звук, как она разбилась, и видел вспышку, такую сильную, что вся внутренность чердака осветилась, но в это время Сережка был уже далеко от окна, он был уже у выхода на черную лестницу. Стремглав пронесся он этой черной лестницей и, не имея уже времени разыскивать в темноте класс, где было выдавлено окно, он вбежал в ближайшую комнату,— кажется, это была учительская,— быстро распахнул окно, выпрыгнул в парк и, пригибаясь, побежал в глубину его.

С того момента, как он бросил третью бутылку, и до того момента, как он осознал, что бежит по парку, он все делал инстинктивно и вряд ли мог бы восстановить в памяти, как все это происходило. Но теперь он понял, что надо упасть на землю и полежать одно мгновение тихо и прислушаться.

Слышно было, как мышка шуршит где-то неподалеку от Сережки в траве. С того места, где он лежал, он не видел пламени, но оттуда, с улицы, доносились крик и беготня. Он вскочил и пробежал еще дальше, на самый край парка, к террикону выработанной шахты. Он сделал это на случай, если будут оцеплять парк,— отсюда он уже мог уйти при всех условиях.

Теперь он видел огромное, все более распространявшееся по небу зарево, отбрасывавшее свой багровый отсвет даже на этот далеко отстоящий от очага пожара старинный гигантский террикон и на макушки деревьев парка. Сережка чувствовал, что сердце его расширяется и летит. Все тело его содрогалось, он едва удерживался, чтобы громко не засмеяться.

— Вот вам! Зетцен зи зих! Шпрехен зи дейч! Габен зи этвас!..— повторял он с неописуемым торжеством в душе этот набор фраз из школьной немецкой грамматики, приходивших ему на память.

Зарево все разрасталось, окрашивая небо над парком, и даже сюда доносилась суматоха, поднявшаяся в центральной части города. Нужно было уходить. Сережка почувствовал неодолимое желание снова очутиться в садике, где он увидел сегодня эту девушку, Валю Борц,— да, он знал теперь, как ее зовут.

Бесшумно скользя в темноте, он выбрался на зады Деревянной улицы, перелез через заборчик в сад и уже собирался калиткой выйти на самую улицу, когда до него донесся приглушенный говор людей возле самой калитки. Пользуясь тем, что немцы еще не заняли Деревянную улицу, жители, осмелев, вышли из домиков посмотреть на пожар. Сережка, обогнув домик с другого края, бесшумно перемахнул через забор и подошел к калитке. Там стояла группа женщин, освещенная заревом. Среди них он узнал Валю.

— Что это горит? — спросил он, чтобы дать ей знать о себе.

— Где-то на Садовой... А может быть, школа,— отвечал взволнованный женский голос.

— Это горит трест,— резким голосом сказала Валя с некоторым даже вызовом.— Мама, я пойду спать,— сказала она, притворно зевнула и вошла в калитку.

Сережка двинулся было за нею, но услышал, как каблучки ее простучали по ступенькам крыльца и дверь за нею захлопнулась.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В течение многих дней через Краснодон и ближние города и поселки двигались главные силы немецких войск: танковые части, пехота на машинах, тяжелые пушки и гаубицы, части связи, обозы, санитарные и саперные части, штабы больших и малых соединений. Гул моторов, не умолкая, катился по небу и по земле. Массы пыли мглою застилали небо над городом и над степью.

В этом тяжелом ритмическом движении неисчислимых войск и орудий войны был свой неумолимый порядок — Ordnung. И казалось, нет на свете такой силы, какая могла бы противостоять этой силе с ее неумолимым железным порядком — Ordnung'ом.

Вдавливая громадными колесами землю, плавно и грузно катились высокие, как вагоны, грузовики с боеприпасами и продовольствием, сплюснутые и пузатые цистерны с бензином. Солдаты были в добротном по виду и ладно пригнанном обмундировании. Офицеры были нарядны. С немцами двигались румыны, венгры,

итальянцы. Пушки, танки, самолеты этой армии носили клейма всех заводов Европы. У человека, знавшего не только русскую грамоту, рябило в глазах от одних марок заводов грузовых и легковых машин, и он ужасался тому, какая производственная сила большинства стран Европы питала немецкую армию, двигавшуюся сейчас через донецкую степь в реве моторов, в чудовищной пыли, мглою закрывавшей небо.

Даже самый маленький человек, мало смысливший в делах войны, чувствовал и видел, как под напором этой силы советские армии откатывались на восток и юго-восток, все дальше, неотвратимо, иному казалось — безвозвратно,— к Новочеркасску, Ростову, за тихий Дон, к Волге, на Кубань. И кто знает правду, где они теперь... И уже только по немецким сводкам и разговорам немецких солдат можно догадываться, где, на каком рубеже бьется, а может быть, уже сложил голову за землю родную сын твой, отец, муж, брат.

В то время как через город еще продолжали двигаться немецкие части, пожирая, как саранча. все, что еще не было пожрано частями, прошедшими ранее, в Краснодоне, как в уже освоенном доме, хозяйственно и прочно оседали глубокие тылы наступающих немецких армий, их штабы, отделы снабжения, резервные части.

В эти первые дни существования под властью немцев никто из местных жителей не разбирался в том, какое немецкое начальство здесь временно, а какое постоянно, какая власть установилась в городе и что требуется от жителей, кроме того, что творилось у каждого в доме по произволу проходящих солдат и офицеров. Каждая семья существовала сама по себе, и, все более сознавая безвыходность и ужас своего положения, каждая по-своему применялась к этому новому и ужасному положению.

Новым и ужасным в жизни бабушки Веры и Елены Николаевны было то, что в их доме расположился один из немецких штабов во главе с генералом бароном фон Венцелем, его адъютантом и денщиком с палевой головой и палевыми веснушками. Теперь у их дома всегда стоял немецкий часовой. Теперь их дом всегда был полон свободно, как в свой собственный дом, приходивших и уходивших, то совещавшихся, то просто пивших

и евших немецких генералов и офицеров, звуков их немецкой речи и звуков немецких маршей и немецкой речи по радио. А хозяева дома, бабушка Вера и Елена Николаевна, были вытеснены в маленькую, нестерпимо душную от беспрерывно топившейся рядом на кухне плиты комнатку и с самого раннего утра до поздней ночи обслуживали господ немецких генералов и офицеров.

Еще вчера бабушка Вера Васильевна была заслужившая себе работой на селе общественное имя персональная пенсионерка, мать геолога одного из крупнейших трестов Донбасса, а Елена Николаевна — вдова видного советского работника, заведующего земельным отделом в Каневе, мать лучшего ученика краснодонской школы,— еще вчера обе они были всем известные и всеми уважаемые люди. А теперь они были в полном и беспрекословном подчинении у немецкого денщика с палевыми веснушками.

Генерал барон фон Венцель был настолько поглощен делами войны, что не замечал бабушки Веры и Елены Николаевны. Он часами сидел над картой, читал, надписывал и подписывал бумаги, которые подавал ему адъютант, и пил коньяк с другими генералами. Иногда генерал сердился и кричал так, будто командовал на плацу, и другие генералы стояли перед ним, вытянув руки по сдвоенным красным лампасам. И бабушке Вере и Елене Николаевне было ясно, что по воле генерала фон Венцеля движутся через Краснодон в глубь страны немецкие войска с танками, самолетами, пушками и генералу важно именно то, чтобы они двигались и приходили всегда вовремя и в то место, куда им назначено. А все то, что они делали в местах, где они проходили, это не интересовало генерала фон Венцеля, как не интересовало его то, что он живет в доме бабушки Веры и Елены Николаевны.

По приказу генерала фон Венцеля или с его холодного молчаливого согласия возле него и вокруг него совершались сотни и тысячи дурных и грязных поступков. В каждом доме что-нибудь отбирали, отбирали и у бабушки Веры и у Елены Николаевны сало, мед, яйца, масло, но это не мешало ему так высоко носить неподвижную узкую голову с малиновым кадыком, уверенно расположившимся меж пальмовых ветвей, что каза-

лось — ничто дурное и грязное не в силах досягнуть до сознания генерала.

Генерал был очень чистоплотный человек; дважды в день, утром и перед сном, мылся с головы до ног горячей водой. Морщины на узком лице генерала и его кадык всегда были чисто выбриты, промыты, надушены. Для него была сделана отдельная уборная, которую бабушка Вера должна была ежедневно мыть, чтобы генерал мог совершать свои дела, не становясь на корточки. Генерал ходил в уборную по утрам всегда в одно и то же время, а денщик караулил возле и, услышав покашливание генерала, подавал ему специальную вафельную бумажку. Но при этой своей чистоплотности генерал не стеснялся при бабушке Вере и Елене Николаевне громко отрыгивать пищу после еды, а если он находился один в своей комнате, он выпускал дурной воздух из кишечника, не заботясь о том, что бабушка Вера и Елена Николаевна находятся в комнате рядом.

А адъютант на длинных ногах старался во всем походить на генерала. Казалось, он, адъютант. даже вырос таким длинным только затем, чтобы походить на своего длинного генерала. И так же, как генерал, он старался не замечать ни бабушки Веры, ни Елены Николаевны.

Ни для генерала, ни для его адъютанта бабушка Вера и Елена Николаевна не существовали не только как люди, а даже как предметы. А денщик был теперь их полновластным начальником и хозяином.

И, осваиваясь с этим новым и ужасным положением, бабушка Вера с первых же дней обнаружила, что она не согласна мириться с этим положением. Хитрая бабушка Вера догадалась, что денщик с палевыми веснушками не настолько властен в присутствии своих начальников, чтобы посметь убить ее, бабушку Веру. И с каждым днем она все смелее пререкалась с денщиком, а когда он кричал на нее, она сама кричала на денщика. Однажды, вспылив, он пнул ее своим громадным каблуком в поясницу, но бабушка в ответ изо всей силы ударила его сковородой по голове, и, как это ни странно было, побагровевший денщик словно захлебнулся. Такие странные и сложные отношения установились у бабушки Веры с денщиком с палевыми веснушками.

А Елена Николаевна все еще находилась в состоянии глубокого внутреннего оцепенения и, неподвижно нося чуть закинутую назад голову в короне пышных светло-русых волос, механически, молча исполняла то, что от нее требовали.

В один из таких дней Елена Николаевна шла по улице, параллельной Садовой, за водой и вдруг увидела двигавшуюся ей навстречу знакомую подводу, запряженную буланым коньком, и идущего рядом с подводой сына Олега.

Елена Николаевна беспомощно оглянулась, выронила ведра и коромысло и, раскинув руки, кинулась к сыну.

— Олежка... мальчик...— повторяла она, то припадая лицом к груди его, то поглаживая его светло-русые, позолотившиеся от солнца волосы, то просто касаясь ладонями его груди, плеч, спины, бедер.

Он был выше ее на голову; за эти дни он сильно загорел, осунулся в лице, возмужал; но сквозь эту возмужалость более чем когда-либо проступали те навеки сохранившиеся для нее в сыне черты, какие она знала в нем, когда он лепетал первые слова и делал первые шажки на полных, круглых загорелых ножках и его заносило вбок, точно ветром. Он действительно был еще только большое дитя. Он обнимал мать своими большими, сильными руками, а глаза его из-под широких светлых бровей сияли так, как они сияли матери все эти шестнадцать с половиной лет,— чистым и ясным сыновним светом, и он все повторял:

— Мамо... мамо... мамо...

Никого и ничего не существовало для них в эти несколько мгновений ни двух немецких солдат, из ближнего двора наблюдавших за ними — нет ли в этом чего-либо, нарушающего порядок, Ordnung, ни стоявших возле брички родных, с разными чувствами смотревших на встречу матери и сына: дядя Коля — флегматично и печально, тетя Марина — со слезами на черных, красивых, утомленных глазах, трехлетний мальчик — удивленно и капризно, почему не его первого обнимает и целует тетя Лена, а дед-возчик — с тактичным выражением старого человека: вот, мол, какие дела бывают на свете. А добрые люди, тайком наблюдавшие из окон за встречей так похожих друг на друга

рослого юноши с непокрытой, опаленной солнцем головой, и совсем еще молодой женщины с пышными косами, окружавшими ее голову, могли бы подумать, что это встретились брат и сестра, когда б они не знали, что это Олег Кошевой вернулся до матери своей, как возвращались теперь сотни и тысячи краснодонцев, не успевших уйти от беды, возвращались к своим родным, в свои хаты, занятые немцами.

Тяжело было в эти дни тем, кто покинул родные места, дом, близких людей. Но те, кто успел уйти от немца, шли уже по своей, советской земле. Насколько тяжелее было тем, кто приложил все усилия, чтобы уйти от немца, и пережил крах этих усилий, и видел смерть перед лицом своим, и теперь брел по родным местам, которые еще вчера были своими, а вот стали немецкими,— брел без пищи, без крова, в одиночку, павший духом, отданный на милость встречного немца-победителя, как преступник в глазах его.

В то мгновение, когда в открытой яркой степи, в белом тусклом блеске воздуха Олег и его товарищи увидели двигавшиеся прямо на них немецкие танки, души их содрогнулись, впервые став перед лицом смерти. Но смерть повременила.

Немцы мотоциклисты оцепили всех, кто не успел переправиться, и согнали в одно место к Донцу. И здесь снова сошлись вместе и Олег с товарищами, и Ваня Земнухов с Клавой и ее матерью, и директор шахты № 1-бис Валько. Валько был весь мокрый — бриджи и пиджак хоть выжми,— вода хлюпала в его хромовых сапогах.

В эти минуты всеобщего смятения мало кто обращал внимание друг на друга, но при взгляде на Валько каждый думал: «Вот и этому не удалось переплыть Донец». А он с выражением какой-то сосредоточенной злости на смуглом небритом цыганском лице присел на землю, снял свои добротные сапоги, вылил воду, выжал портянки, обулся и, обернув к ребятам сумрачное лицо свое, вдруг не то чтобы подмигнул, а чуть-чуть свел веки черного глаза: не робейте, мол, я с вами.

Немецкий офицер-танкист, в черном шлеме-берете, с лицом закопченным и злым, на ломаном русском языке приказал всем военным выйти из толпы. Военные, уже без оружия, выходили из толпы группами или

в одиночку. Немецкие солдаты, пиная их прикладами в спину, уводили в сторону, и вскоре неподалеку от толпы образовалась на степи другая, меньшая толпа военных. Что-то пронзительно-печальное было в лицах, взглядах этих людей, жавшихся друг к другу в своих застарело-грязных гимнастерках и запыленных сапогах среди залитой солнцем яркой степи.

Военных построили в колонну и погнали вверх по Донцу. А всех гражданских людей распустили по домам.

И люди начали растекаться по степи в разные стороны от Донца. Бо́льшая часть потянулась вдоль дороги на запад, через хутор, где ночевали Ваня и Жора, в сторону Лихой.

Отец Виктора Петрова и дед, везший Кошевого и его родню, в тот момент, как увидели в степи немецкие танки, присоединились с подводами к своим. И вся их группа, включившая теперь Клаву Ковалеву с матерью, влилась в поток людей и подвод, отходивших на запад, в сторону Лихой.

Некоторое время никто из людей не верил, что все именно так и будет, отпустили их и нет в этом никакого подвоха,— все с опаской косились на двигавшихся по дороге встречным потоком немецких солдат. Но солдаты с усталыми, потными, грязными от размазавшейся пыли лицами, озабоченные тем, что ждало их впереди, почти не смотрели на русских беженцев.

Когда прошло первое потрясение, кто-то неуверенно сказал:

— На то есть приказ немецкого командования — местных жителей не обижать...

Валько, от которого валил под солнцем пар, как от лошади, мрачно усмехнулся и, кивнув на колонны злых, вымазанных, как черти, немецких солдат, сказал:

— Не видишь, у них времени нет. А то дали б они тебе водички испить!

— А ты, кажись, уже испил? — вдруг весело отозвался чей-то голос, один из тех неунывающих голосов, какие при всех, даже самых ужасных обстоятельствах жизни обязательно обнаружатся, когда собираются русские люди.

— Я уже испил,— мрачно согласился Валько. И, подумав, добавил: — Да еще не всю чару.

На самом деле вот что произошло с Валько, когда он, покинув на берегу ребят, спустился к переправе. Благодаря свирепому своему виду он все же заставил одного из военных, ведавших переправой, вступить с ним в переговоры. От военного Валько узнал, что командование переправой находится на той стороне реки. «Я его заставлю, чтобы он со своими лайдаками порядок мне навел!» — яростно думал Валько, прыгая с края одного понтона на край другого, сбоку от двигавшихся по наплавному мосту машин. В это время налетели немецкие пикировщики, и он, как и все люди, прыгавшие вместе с ним, вынужден был лечь. Потом ударила немецкая артиллерия, на понтонах началась паника. И тут Валько заколебался.

По своему положению он не только имел право, а обязан был воспользоваться последней возможностью перебраться на ту сторону Донца. Но, как это бывает в жизни даже очень сильных и рассудительных натур, с горячей кровью, скрытно кипящей в жилах, иногда долг частный, меньший, но ближний, берет верх над долгом общим и главным, но дальним.

Едва Валько представил себе, что могут подумать о нем его рабочие, Григорий Ильич Шевцов — его друг, ребята-комсомольцы, оставшиеся на берегу,— едва Валько представил себе это, вся кровь прихлынула к черному лицу его, и он повернул обратно. В это время уже по всей ширине наплавного моста бежали навстречу ему люди сплошной лавиной. Тогда он, в чем был, бросился в воду и поплыл к берегу.

В то время, когда немцы уже обстреливали и оцепляли этот берег Донца и люди с этого берега, обезумев, бежали по понтонам на другой берег и дрались у спуска к понтонам и десятками и сотнями перебирались вплавь на другой берег,— Валько, рассекая волны своими сильными руками, плыл к этому берегу. Он знал, что будет первым из тех, с кем немцы расправятся, а плыл, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть.

На беду себе немцы поступили так недальновидно, что не убили Валько, а отпустили его вместе с другими. И вот, вместо того чтобы двигаться на восток, к Саратову, куда он обязан был явиться по службе и где на-

ходились его жена и дети, Валько в потоке беженцев двигался на запад.

Еще не доходя Лихой, вся эта сборная колонна беженцев начала распадаться. Валько предложил группе краснодонцев выделиться из остальной колонны, обойти Лихую и двигаться к Краснодону вдали от больших дорог, проселками, а то и целиною.

Как это всегда бывает в трудные моменты жизни народов и государств, в душе даже самого рядового человека мысли о собственной судьбе тесно переплетаются с мыслями о судьбе всего народа и государства.

В эти первые дни после того, что было пережито ими, и взрослые и ребята находились в подавленном настроении и почти не говорили друг с другом. Они подавлены были не только тем, что ждало их впереди, а и тем, что будет теперь со всей советской землей. Но каждый переживал это по-своему.

В состоянии наибольшего душевного равновесия находился трехлетний сынишка Марины, двоюродный братик Олега. Никаких сомнений в устойчивости того мира, в каком он жил, у него не было, поскольку мама и папа всегда были при нем. Ему, правда, страшно было один момент, когда что-то заревело и загремело в небе и кругом так бухало и бежали люди. Но он рос в такое время, когда кругом всегда бухало и всегда бежали люди, поэтому он поплакал немного и успокоился. И теперь уже все было хорошо. Он только находил, что путешествие несколько затянулось. Это ощущение особенно владело им в полдень, когда его всего размаривало, и он начинал хныкать, скоро ли приедет домой к бабушке. Но стоило остановиться на привал и отведать кашки, и потыкать палкой в норку суслика, и обойти, ступая боком, почтительно задирая голову, вокруг гнедых коней, каждый из которых был чуть не вдвое больше буланого конька, а потом сладко поспать, уткнувшись головенкой в мамины колени,— как все становилось на свои места, и мир снова был полон прелести и чудес.

Дед-возчик думал о том, что вряд ли его жизни, жизни маленького старого человека, грозит опасность при немцах. Но он боялся, что немцы еще в дороге отберут у него лошадь. Кроме того, он думал о том, что немцы лишат его пенсии, которую он получал как воз-

чик, проработавший на шахтах сорок лет, и не только лишат пособия, которое он получал за трех сыновей-фронтовиков, а еще, пожалуй, будут утеснять за то, что у него столько сыновей в Красной Армии. И его глубоко волновал вопрос о том, победит ли Россия в войне. В свете того, что он видел, он очень боялся, что Россия не победит. И тогда он, маленький дед, с взъерошенными на затылке серыми перышками, как у воробышка, очень жалел о том, что не умер прошлой зимой, когда у него, как говорил ему доктор, случился «приступ». Но иногда он вспоминал всю свою жизнь и войны, в которых сам участвовал, вспоминал, что Россия велика, богата, а за последний десяток лет стала еще богаче,— неужели же найдется у немца сила победить ее, Россию? И когда дед думал так, им овладевало нервное оживление, он почесывал высохшие, черные от солнца лодыжки, почмокивал на буланого конька, по-детски выпячивая губы и подшевеливая конька вожжою.

Николаю Николаевичу, дяде Олега, было всего обиднее то, что его так хорошо начавшаяся работа в тресте — работа молодого геолога, выдвинувшегося в первые же годы исключительно удачными разведками,— вдруг прервалась таким неожиданным и ужасным образом. Ему казалось, что немцы непременно убьют его, а если не убьют, ему придется проявить немало изворотливости, чтобы уклониться от службы у немцев. А он знал, что при всех условиях не пойдет служить к немцам, потому что служить у немцев ему было так же неестественно и неудобно, как ходить на четвереньках.

А молоденькая тетушка Марина подсчитывала, из каких источников дохода складывалась их жизнь до немцев. И получалось, что их жизнь до немцев складывалась: из заработка Николая Николаевича, пенсии Елены Николаевны, которую она получала за покойного мужа — отчима Олега, пенсии бабушки Веры Васильевны, квартиры, которую им давал трест, и огорода, который они разводили при доме. И выходило так, что первых трех источников существования они с приходом немцев безусловно лишились и могли лишиться остальных. Она все вспоминала убитых детей на переправе и переносила жалость к ним на своего ребенка

и начинала плакать. Ей приходили в голову рассказы о том, что немцы грубо пристают к женщинам и совершают насилия над ними, и тогда она вспоминала, что она хорошенькая женщина и к ней уже, наверное, будут приставать немцы, и она то ужасалась, то утешала себя тем, что будет нарочно попроще одеваться и изменит прическу и все, может быть, обойдется.

Отец Виктора Петрова, лесничий, знал, что возвращение домой грозит смертельной опасностью ему, как человеку, известному в районе своим участием в борьбе против немцев в 1918 году, и его сыну-комсомольцу. Но он заходил в тупик, когда думал о том, как ему теперь поступить. Он знал, что кто-нибудь из партийных людей обязательно оставлен для организации подпольной и партизанской борьбы. Но сам он, человек уже немолодой, всю жизнь честно работал рядовым лесничим и привык к той мысли, что он до конца жизни останется лесничим. Он мечтал дать хорошее образование сыну и дочери и вывести их в люди. Но когда теперь в сердце к нему закрадывалась мысль о том, что прошлое его может остаться неизвестным и у него сохранится возможность так же служить лесничим при немцах,— им овладевали такая тоска и отвращение, что ему, крупному, сильному человеку, хотелось драться.

В это же самое время сын его, Виктор, находился в состоянии крайней обиды и оскорбления за Красную Армию. Он с детства обожал Красную Армию и ее командиров и с первых же дней войны готовился к тому, чтобы принять участие в войне как командир Красной Армии. Он был руководителем военного кружка в школе и проводил военные занятия и физические упражнения в кружке под дождем и на морозе, как учил этому Суворов. Отступление Красной Армии, конечно, не могло пошатнуть в глазах Виктора ее престижа. Но обидно было, что ему своевременно не удалось попасть в Красную Армию командиром, а между тем, будь он теперь командиром Красной Армии, она, несомненно, не попала бы в такое тяжкое и горестное положение. Что же касается его судьбы при немцах, то о ней Виктор просто не думал, целиком полагаясь на отца и на друга своего Анатолия Попова, который во всех трудных случаях жизни умел найти что-нибудь неожиданное и абсолютно правильное.

А друг его Анатолий всей душой болел за отечество и, молча покусывая ногти, всю дорогу думал о том, что же ему, Анатолию, теперь делать? За время войны он столько прочел докладов на комсомольских собраниях о защите социалистического отечества, но ни в одном из докладов он не мог выразить еще и того ощущения отечества, как чего-то большого и певучего, какой была его, Анатолия, мама, Таисья Прокофьевна, с ее рослым, полным телом, лицом румяным, добрым и с чудными старинными казачьими песнями, которые она певала ему с колыбели. Это ощущение отечества всегда жило в его сердце и исторгало слезы из глаз его при звуках родной песни или при виде потоптанного хлеба и сожженной избы. И вот отечество его находилось в беде, такой беде, что ни видеть это, ни думать об этом нельзя было без острой боли сердечной. Надо было действовать, действовать немедленно, но — как, где, с кем?

Такие мысли в большей или меньшей степени волновали всех его товарищей.

И только Уля не имела сил думать ни о судьбе родной земли, ни о личной своей судьбе. Все, что она пережила с того момента, как увидела пошатнувшийся копер шахты № 1-бис: прощание с любимой подругой и с матерью, этот путь по обожженной солнцем, вытоптанной степи и, наконец, переправу, где в этой окровавленной верхней части туловища женщины с красным платком на голове и в мальчике с вылетевшими из орбит глазами точно воплотилось все пережитое ею,— все это снова и снова, то остро, как кинжал, то тяжко-тяжко, как жернов, поворачивалось в кровоточащем сердце Ули. Всю дорогу она шагала рядом с телегой, молчаливая, будто спокойная, и только эти черты мрачной силы, обозначившиеся в ее глазах, ноздрях, губах, выдавали, какие бури волнами ходили в душе ее.

Зато Жоре Арутюнянцу было совершенно ясно, как он будет жить при немцах. И он очень авторитетно рассуждал вслух:

— Каннибалы! Разве наш народ может с ними примириться, да? Наш народ, как в прежде оккупированных немцами местностях, безусловно возьмется за оружие. Мой отец — тихий человек, но я не сомневаюсь — он возьмется за оружие. А мать, с ее характером, та

безусловно возьмется за оружие. Если наши старики так поступают, как же мы, молодежь, должны поступать? Мы, молодежь, должны взять на учет — выявить, потом взять на учет,— поправился Жора,— всех ребят, кто не уехал, и немедленно связаться с подпольной организацией. Мне, по крайней мере, известно, что в Краснодоне остались Володя Осьмухин и Толя Орлов,— разве они будут сидеть сложа руки? А Люся, сестра Володи, эта прекрасная девушка,— с чувством сказал Жора,— она, во всяком случае, безусловно не будет сидеть сложа руки.

Выбрав момент, когда никто, кроме Клавы, не мог их слышать, Ваня Земнухов сказал Жоре:

— Слушай, ты, абрек! Честное слово, все с тобой согласны. Но... придержи язык. Во-первых, это дело совести каждого. А во-вторых, ты же не можешь поручиться за всех. А ну, как кто-нибудь невзначай трепанет, что тогда будет — и тебе, и всем нам?

— Почему ты назвал меня абреком? — спросил Жора, в черных глазах которого появилось вдохновенно-самодовольное выражение.

— Потому, что ты черный и действуешь, как наездник.

— Ты знаешь, Ваня, когда я перейду в подполье, я обязательно возьму себе кличку «Абрек»,— понизив голос до шепота, сказал Жора Арутюнянц.

Ваня разделял мысли и настроения Жоры Арутюнянца. Но во все, о чем бы сейчас Ваня ни думал, властно вторгалось чувство счастья от близости Клавы и чувство гордости, когда он вспоминал свое поведение у переправы, и снова слышал слова Ковалева: «Ваня, спаси их»,— и чувствовал себя спасителем Клавы. Это чувство счастья было тем более полным, что Клава разделяла с ним это чувство. Если бы не беспокойство за отца и не жалобные причитания матери, Клава Ковалева была бы открыто и просто счастлива с любимым человеком здесь, в залитой солнцем донецкой степи, несмотря на то, что на горизонте то там, то тут возникали башни немецких танков, стволы зениток и каски, каски, каски немецких солдат, мчавшиеся над золотистой пшеницей в реве моторов и в пыли.

Но среди всех этих людей, так по-разному думавших о судьбе своей и всего народа, было два человека,

тоже очень разных по характеру и по возрасту, но удивительно схожих тем, что оба они находились в состоянии небывалого морального подъема и энергической деятельности. Одним из этих людей был Валько, а другим — Олег.

Валько был человек немногословный, и никто никогда не знал, что совершается в душе его под цыганской внешностью. Казалось, все в его судьбе изменилось к худшему. А между тем никогда еще его не видели таким подвижным и веселым. Всю дорогу он шел пешком, обо всех заботился, охотно заговаривал с ребятами, то с одним, то с другим, будто испытывая их, и все чаще шутил.

А Олегу тоже не сиделось в бричке. Он вслух выражал нетерпение, когда же наконец увидит мать, бабушку. Он с наслаждением потирал кончики пальцев, слушая Жору Арутюнянца, а то вдруг начинал подсмеиваться над Ваней и Клавой или с робким заиканием утешал Улю, или нянчил трехлетнего братишку, или объяснялся в любви тетушке Марине, или пускался в длинные политические разговоры с дедом. А иногда он шагал рядом с бричкой, молчаливый, с резко обозначившимися на лбу продольными морщинами, с упрямой, еще детской складкой полных губ, как бы чуть тронутых отзвуком улыбки, с глазами, устремленными вдаль с задумчивым, сурово-нежным выражением.

Они были уже не более чем в одном переходе от Краснодона, когда вдруг наскочили на какую-то отбившуюся команду немецких солдат. Немецкие солдаты деловито — даже не очень грубо, а именно деловито — обшарили обе подводы, взяли из чемоданов Марины и Ули все шелковые вещи, сняли с отца Виктора и Валько сапоги и взяли у Валько старинные золотые часы, которые, несмотря на купанье, что он перенес, великолепно шли.

Душевное напряжение, какое они испытывали в этом первом непосредственном столкновении с немцами, от которых все ждали худшего, перешло в смущение друг перед другом, а потом в неестественное оживление — все наперебой изображали немцев, как они обшаривали подводы, поддразнивали Марину, очень сокрушавшуюся по шелковым чулкам, и даже не пощадили Валько и отца Виктора, больше других чувствовавших себя

смущенно в бриджах и в тапочках. И только Олег не разделял этого ложного веселья, в лице у него долго стояло резкое, злое выражение.

Они подошли к Краснодону ночью и по совету Валько, полагавшего, что ночное движение в городе воспрещено, не пошли в город, а остановились на ночлег в балке. Ночь была месячной. Все были взволнованы и долго не могли уснуть.

Валько пошел разведать, куда тянется балка. И вдруг услышал за собой шаги. Он обернулся, остановился и при свете месяца, блестевшего по росе, узнал Олега.

— Товарищ Валько, мне очень нужно с вами поговорить. Очень нужно,— сказал Олег тихим голосом, чуть заикаясь.

— Добре,— сказал Валько.— Да стоя придется, бо дюже мокро.— Он усмехнулся.

— Помогите мне найти в городе кого-нибудь из наших подпольщиков,— сказал Олег, прямо глядя в потупленные под сросшимися бровями глаза Валько.

Валько резко поднял голову и некоторое время внимательно изучал лицо Олега.

Перед ним стоял человек нового, самого юного поколения.

Самые, казалось бы, несоединимые черты — мечтательность и действенность, полет фантазии и практицизм, любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям земным и самоограничение,— эти, казалось бы, несоединимые черты вместе создали неповторимый облик этого поколения.

Валько хорошо знал его, это поколение, потому что оно в большой мере было сколком с него самого.

— Подпольщика ты вроде уже нашел,— с усмешкой сказал Валько,— а что нам дальше делать, об том мы сейчас поговорим.

Олег молча ждал.

— Я вижу, ты не сегодня решился,— сказал Валько.

Он был прав. Едва возникла непосредственная угроза Ворошиловграду, Олег, впервые скрыв от матери свое намерение, пошел в райком комсомола и попросил, чтобы его использовали при организации подпольных групп.

Его очень обидели, когда сказали без всякого объяснения причин примерно следующее:

— Вот что, хлопец: собирай-ка свои манатки да уезжай подобру-поздорову, да поживее.

Он не знал, что райком комсомола не создавал самостоятельных подпольных групп, а те комсомольцы, которых оставляли в распоряжение подпольной организации, были уже выделены заранее. Поэтому ответ, который он получил в райкоме, не только не был грубым, а был, даже, в известном смысле, выражением внимания к товарищу. И ему пришлось уехать.

Но в тот самый момент, как прошло первое напряжение событий на переправе и Олегу стало ясно, что уйти не удалось, его так и озарила мысль: теперь мечта его осуществится! Вся тяжесть бегства, расставания с матерью, неясности всей его судьбы свалилась с души его. И все силы души его, все страсти, мечты, надежды, весь пыл и напор юности — все это хлынуло на волю.

— Оттого ты так и подобрался, что решился,— продолжал Валько.— У меня у самого такой характер. Еще вчера — иду, а все у меня из памяти не выходит: то, как мы шахту взорвали, то, вижу, армия отступает, беженцы мучаются, дети. И такой у меня мрак на душе! — с необыкновенной искренностью говорил Валько.— Должен был радоваться тому, что хоть семью увижу, с начала войны не видался,— а в сердце все стучит: «Ну, а дальше что?..». Так было вчера. А что ж сегодня? Армия наша ушла. Немец нас захватил. Семью я не увижу. Может быть, никогда не увижу. А на душе у меня отлегло. Почему? Потому, что теперь у меня один шлях, як у чумака. А это для нашего брата самое главное.

Олег чувствовал, что сейчас в балке под Краснодоном, при свете месяца, чудно блестевшего по росе, этот суровый, сдержанный человек со сросшимися, как у цыгана, бровями говорит с ним, с Олегом, так откровенно, как он, может быть, не говорил ни с кем.

— Ты вот что: ты с этими ребятами связи не теряй, это ребята свои,— говорил Валько.— Себя не выдавай, а связь с ними держи. И присматривай еще ребят, годных к делу, таких, что покремнистей. Но только смотри, без моего ведома ничего не предприни-

май,— завалишься. Я тебе скажу, когда и что тебе делать...

— Вы знаете, кто оставлен в городе? — спросил Олег.

— Не знаю,— откровенно сознался Валько.— Не знаю, но найду.

— А мне как вас находить?

— Тебе меня находить не надо. Коли б у меня была квартира, я бы ее тебе все равно не назвал, а у меня, откровенно сказать, ее пока что нет.

Как ни печально было являться вестником гибели мужа и отца, но Валько решил на первых порах укрыться в семье Шевцова, где знали и любили Валько. С помощью такой отчаянной девчонки, как Любка, он надеялся установить связи и подыскать квартиру в более глухом месте.

— Ты лучше дай мне свой адрес, я тебя найду.

Валько несколько раз вслух повторил адрес Олега, пока не затвердил.

— Ты не бойся, я тебя найду,— тихо говорил Валько.— И коли не скоро обо мне услышишь, не рыпайся, жди... А теперь иди,— сказал он и своей широкой ладонью легонько подтолкнул Олега в плечо.

— Спасибо вам,— чуть слышно сказал Олег.

С необъяснимым волнением, словно бы несшим его по росистой траве, подходил он к лагерю. Все уже спали, одни лошади похрустывали травою. Да Ваня Земнухов сидел в головах у спящей Клавы и ее матери, обхватив руками острое колено.

«Ваня, друг любимый»,— с размягченным чувством, которое у него было теперь ко всем людям, подумал Олег. Он подошел к товарищу и с волнением опустился рядом с ним на мокрую траву.

Ваня повернул к нему свое лицо, бледное при свете месяца.

— Ну как? Что он сказал тебе? — живо спросил Ваня своим глуховатым голосом.

— О чем ты спрашиваешь? — сказал Олег, удивившись и смутившись одновременно.

— Что Валько сказал? Знает он что-нибудь?

Олег в нерешительности смотрел на него.

— Уж не думаешь ли ты со мной в прятки иг-

рать? — сказал Ваня с досадой.— Не маленькие же мы в самом деле!

— К-как ты узнал? — все более изумляясь, глядя на друга широко раскрытыми глазами, шепотом спросил Олег.

— Не так уж мудрено узнать твои подпольные связи, они такие же, как и у меня,— сказал Ваня с усмешкой.— Неужто ты думаешь, что я тоже не думал об этом?

— Ваня!..— Олег своими большими руками схватил и крепко сжал узкую руку Земнухова, сразу ответившую ему энергичным пожатием.— Значит, вместе?

— Конечно, вместе.

— Навсегда?

— Навсегда,— сказал Ваня очень тихо и серьезно.— Пока кровь течет в моих жилах.

Они смотрели друг другу в лицо, блестя глазами.

— Ты знаешь, он пока ничего не знает. Но сказал — найдет. И он найдет,— говорил Олег с гордостью.— Ты ж смотри, в Нижней Александровке не задержись...

— Нет, об этом не думай,— решительно тряхнув головой, сказал Ваня. Он немного смутился.— Я только устрою их.

— Любишь ее? — склонившись к самому лицу Вани, шепотом спросил Олег.

— Разве о таких вещах говорят?

— Нет, ты не стесняйся. Ведь это же хорошо, это же очень хорошо. Она т-такая чудесная, а ты... О тебе у меня даже слов нет,— с наивным и счастливым выражением в лице и в голосе говорил Олег.

— Да, столько приходится переживать и нам, и всем людям, а жизнь все-таки прекрасна,— сказал Ваня.

— В-верно, в-верно,— сказал Олег, сильно заикаясь, и слезы выступили ему на глаза.

Немногим более недели прошло с той поры, как судьба свела на степи всех этих разнородных людей: и ребят и взрослых. Но вот в последний раз всех вместе осветило их солнце, вставшее над степью, и показалось, что целая жизнь оставалась за их плечами,— такой теплотой, и грустью, и волнением наполнились их сердца, когда пришла пора расставаться.

— Ну, хлопцы та дивчата...— начал было Валько, один, в бриджах и тапочках, оставшийся посреди балки, махнул смуглой рукой и ничего не сказал.

Ребята обменялись адресами, дали обещание держать связь, простились. И долго еще они видели друг друга, после того как растеклись в разные стороны по степи. Нет-нет да и взмахнет кто-нибудь рукой или платком. Но вот один, потом другие исчезли за холмом или в балке. Будто не было этого совместного пути в великую страшную годину, под палящим солнцем..

Так Олег Кошевой переступил порог родного дома, занятого немцами.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Марина с маленьким сыном поселилась в комнатке рядом с кухней вместе с бабушкой Верой и Еленой Николаевной. А Николай Николаевич и Олег сбили себе из досок два топчана и кое-как устроились в дровяном сарайчике во дворе.

Бабушка Вера, истомившаяся без слушателей (не могла же она считать собеседником денщика с палевыми веснушками!), сразу обрушила на них ворох городских новостей.

Дня два тому назад на входных будках наиболее крупных шахт, на здании школ имени Горького и имени Ворошилова, на здании райисполкома и еще кое-где были наклеены большевистские листовки, написанные от руки. Под текстом стояла подпись: «Краснодонский районный комитет ВКП(б)». Удивительно было то, что рядом с листовками наклеены были номера газеты «Правда» за старые годы с портретами Ленина и Сталина. По слухам, из разговоров немецких солдат было известно, что в разных районах области, особенно по Донцу, на границе Ворошиловградской и Ростовской областей, в Боково-Антрацитовском и Кременском районах партизаны нападают на немецкий транспорт и воинские части.

До сих пор ни один коммунист и ни один комсомолец не явились на специальную регистрацию к немецкому коменданту («Да чтоб я сама им в глотку полезла,— нехай воны там подавятся!» — сказала бабушка

Вера), но многих уже раскрыли и поарестовали. Ни одно предприятие и учреждение не работает, но по приказу немецкого коменданта люди обязаны являться по месту работы и отсиживать положенные часы. По словам бабушки Веры, на работу в Центральных электромеханических мастерских треста «Краснодонуголь» явились инженер-механик Бараков и Филипп Петрович Лютиков. По слухам, их не только не тронули, а назначили Баракова директором мастерских, а Лютикова оставили на старой должности — начальником механического цеха.

— И кто бы мог ждать от таких людей? То ж старые члены партии! Бараков на фронте был, ранен был! А Лютиков — такой общественник, его ж уси знають! Чи воны сказились, чи що? — недоумевала и негодовала бабушка Вера.

Еще она сказала о том, что немцы вылавливают в городе евреев и увозят под Ворошиловград, где будто бы образовано «гетто», но многие говорят, что на самом деле евреев довозят только до Верхнедуванной рощи и там убивают и закапывают. И Мария Андреевна Борц очень боится за своего мужа, чтобы кто-нибудь его не выдал.

С того момента, как Олег вернулся домой, то оцепенение, в котором все дни со времени его отъезда, а особенно с приходом немцев, находилась Елена Николаевна, снялось с нее, точно волшебной рукою. Она теперь все время находилась в состоянии душевного напряжения и той энергической деятельности, которая так свойственна была ее натуре. Как орлица над выпавшим из гнезда орленком, кружила она над своим сыном. И частo-часто ловил он на себе ее внимательный, напряженно-беспокойный взгляд: «Как ты, сынок? В силах ли ты вынести все это, сынок?»

А он после того нравственного подъема, который испытал в дороге, вдруг впал в глубокое душевное оцепенение. Все было не так, как он представлял себе.

Юноше, вступающему в борьбу, она предстает в мечтах как беспрерывный ряд подвигов против насилия и зла. Но зло оказалось неуловимым и каким-то невыносимо, мерзко будничным.

Не было в живых лохматого, черного, простодушного пса, с которым Олег так любил возиться. Улица

с вырубленными в дворах и палисадниках деревьями и кустами выглядела голой. И по этой голой улице, казалось, ходили голые немцы.

Генерал барон фон Венцель так же не замечал Олега, Марины и Николая Николаевича, как он не замечал бабушки Веры и Елены Николаевны.

Бабушка Вера, правда, не чувствовала ничего оскорбительного для себя в поведении генерала.

— То ж ихний новый порядок,— говорила бабушка.— А я вже стара и знаю ще от дида своего, що то дуже старый порядок, як був у нас при крепостном праве. При крепостном праве у нас тож булы немцы — помещики, таки ж надменни и таки ж каты, як цей барон, хай ему очи повылазять. Що ж мени на его обижаться? Он все равно будет такой, пока наши не прийдуть та не выдеруть ему глотку...

Но для Олега генерал с его узкими блестящими штиблетами и чисто промытым кадыком был главным виновником того невыносимого унижения, в какое повергнуты были Олег и близкие ему люди и все люди вокруг. Освободиться от этого чувства унижения, казалось, можно было, только убив немецкого генерала, но на место этого генерала появится другой и притом совершенно такой же — с чисто промытым кадыком и блестящими штиблетами.

Адъютант на длинных ногах стал уделять много вежливого холодного внимания Марине и все чаще заставлял ее прислуживать ему и генералу. В бесцветных глазах его, когда он смотрел на Марину, было презрительное и в тоже время мальчишеское любопытствующее выражение, будто он смотрел на экзотическое животное, которое может доставить немало развлечения, но неизвестно, как с ним обходиться.

Теперь излюбленным занятием адъютанта было — поманить конфеткой маленького сына Марины и, дождавшись, когда мальчик протянет толстую ручонку, быстро отправить конфетку в рот к себе. Адъютант проделывал это раз, и другой, и третий, пока мальчик не начинал плакать. Тогда, присев перед мальчиком на корточки на длинных своих ногах, адъютант высовывал язык с конфеткой на красном кончике, демонстративно сосал и жевал конфетку и долго хохотал, выкатив бесцветные глаза.

Он был противен Марине весь — от длинных ног до неестественно белых ногтей. Он был для нее не только не человек, а даже не скотина. Она брезгала им, как брезгают в нашем народе лягушками, ящерицами, тритонами. И когда он заставлял ее прислуживать себе, она испытывала чувство отвращения и одновременно ужаса перед тем, что она находится во власти этого существа.

Но кто поистине делал жизнь молодых людей невыносимой, так это денщик с палевыми веснушками. У денщика было удивительно много свободного времени: он был главным среди других денщиков, поваров, солдат хозяйственной команды, обслуживавшей генерала. И все свободное время денщика уходило на то, чтобы снова и снова расспрашивать молодых людей, как они хотели уйти от немцев и как им это не удалось, и, в который уже раз, высказывать им свои соображения о том, что только глупые или дикие люди могут хотеть уйти от немцев.

Он преследовал молодых людей в дровяном сарае, где они отсиживались, и на дворе, когда они выходили подышать свежим воздухом, и в доме, когда генерал отсутствовал. И только появление бабушки освобождало их от преследований денщика.

Как это было ни странно, но громадный, с красными руками денщик, внешне державшийся с бабушкой так же развязно, как и со всеми, побаивался бабушки Веры. Немец-денщик и бабушка Вера изъяснялись друг с другом на чудовищной помеси русского и немецкого языков, подкрепляемой мимической работой лица и тела, всегда очень точной и ядовитой у бабушки и всегда очень грубой, какой-то плотской, и глупой, и злой у денщика. Но они великолепно понимали друг друга.

Теперь вся семья сходилась в дровяном сарайчике завтракать, обедать и ужинать, и все это проделывалось точно украдкой. Ели постные борщи, зелень, вареную картошку и — и вместо хлеба — пшеничные пресные лепешки бабушкиного изготовления. У бабушки было припрятано еще немало всякого добра. Но после того как немцы пожрали все, что плохо лежало, бабушка стряпала только постное, стараясь показать немцам, что больше и нет ничего. Ночью, когда немцы спали,

бабушка тайком приносила в сарай кусочек сала или сырое яичко, и в этом тоже было что-то унизительное — есть, прячась от дневного света.

Валько не подавал вестей о себе. И Ваня не приходил. И трудно было представить себе, как они встретятся. Во всех домах стояли немцы. Они с ревнивой наблюдательностью присматривались к каждому приходящему человеку. Даже обычная встреча, разговор на улице вызывали подозрение.

Мучительное наслаждение доставляло Олегу, вытянувшись на топчане с подложенными под голову руками, когда все спали вокруг, и свежий воздух из степи вливался в раскрытую дверцу сарая, и почти полная луна рассеивала далеко по небу грифельный свет свой и блистающим прямоугольником лежала на земляном полу, у самых ног,— мучительное наслаждение доставляло Олегу думать о том, что здесь же, в городе, живет Лена Позднышева. Образ ее, смутный, разрозненный, несоединимый, реял над ним: глаза, как вишни в ночи, с золотыми точками луны,— да, он видел эти глаза весной в парке, а может быть, они приснились ему,— смех, будто издалека, весь из серебряных звучков, как будто даже искусственный, так отделялся каждый звучок от другого, будто ложечки перебирали за стеной. Олег томился от сознания ее близости и от разлуки с ней, как томятся только в юности,— без страсти, без укоров совести,— одним представлением ее, одним счастьем видения.

В те часы, когда ни генерала, ни его адъютанта не было дома, Олег и Николай Николаевич заходили в родной дом. В нос им ударял сложный парфюмерный запах, запах заграничного табака и еще тот специфический холостяцкий запах, которого не в силах заглушить ни запахи духов, ни табака и который в равной степени свойствен жилищам генералов и солдат, когда они живут вне семьи.

В один из таких тихих часов Олег вошел в дом проведать мать. Немецкий солдат-повар и бабушка Вера молча стряпали на плите — каждый свое. А в горнице, служившей столовой, развалясь на диване в ботинках и в пилотке, лежал денщик, курил и, видно, очень скучал. Он лежал на том самом диване, на котором раньше обычно спал Олег.

Едва Олег вошел в комнату, ленивые, скучающие глаза денщика остановились на нем.

— Стой! — сказал денщик.— Ты, кажется, начинаешь задирать нос,— да, да, я все больше замечаю это! — сказал он и сел, опустив на пол громадные ступни в ботинках с толстой подметкой.— Опусти руки по швам и держи вместе пятки: ты разговариваешь с человеком старше тебя! — Он пытался вызвать в себе если не гнев, то раздражение, но духота так разморила его, что у него не было силы на это.— Исполняй то, что тебе сказано! Слышишь? Ты!..— вскричал денщик.

Олег, понимавший то, что говорит денщик, и молча смотревший на его палевые веснушки, вдруг сделал испуганное лицо, быстро присел на корточки, ударил себя по коленкам и вскричал:

— Генерал идет!

В то же мгновение денщик был уже на ногах. На ходу он успел вырвать изо рта сигаретку и смять ее в кулаке. Ленивое лицо его мгновенно приняло подобострастно-тупое выражение. Он щелкнул каблуками и застыл, вытянув руки по швам.

— То-то, холуй! Развалился на диване, пока барина нет... Вот так и стой теперь,— сказал Олег, не повышая голоса, испытывая наслаждение от того, что он может высказать это денщику без опасения, что тот поймет его, и прошел в комнату к матери.

Мать, закинув голову, стояла у двери, с бледным лицом, держа в руках шитье: она все слышала.

— Разве так можно, сынок...— начала было она.

Но в это мгновение денщик с ревом ворвался к ним.

— Назад!.. Сюда!..— ревел он вне себя.

Лицо его так побагровело, что не видно стало веснушек.

— Не об-бращай внимания, мама, на этого ид-диота,— чуть дрожащим голосом сказал Олег, не глядя на денщика, словно его тут и не было.

— Сюда!.. Свинья! — ревел денщик.

Вдруг он ринулся на Олега, схватил его обеими руками за отвороты пиджака и стал бешено трясти Олега, глядя на него совершенно белыми на багровом лице глазами.

— Не надо... не надо! Олежек, ну, уступи ему, зачем тебе...— говорила Елена Николаевна, пытаясь свои-

ми маленькими руками оторвать от груди сына громадные красные руки денщика.

Олег, тоже весь побагровев, обеими руками схватил денщика за ремень под мундиром, и сверкающие глаза его с такой силой ненависти вонзились в лицо денщика, что тот на мгновение смешался.

— П-пусти... Слышишь? — сказал Олег страшным шепотом, с силой подтянув денщика к себе и приходя в тем большую ярость, что на лице денщика появилось выражение не то чтобы страха, но сомнения в том, что он, денщик, поступает достаточно выгодно для себя.

Денщик отпустил его. Они оба стояли друг против друга, тяжело дыша.

— Уйди, сынок... Уйди...— повторяла Елена Николаевна.

— Дикарь... Худший из дикарей,— стараясь вложить презрение в свои слова, говорил денщик пониженным голосом,— всех вас нужно дрессировать хлыстом, как собак!

— Это ты худший из дикарей, потому что ты холуй у дикарей, ты только и умеешь воровать кур, рыться в чемоданах у женщин да стаскивать сапоги с прохожих людей,— с ненавистью глядя прямо в белые глаза его, говорил Олег.

Денщик говорил по-немецки, а Олег по-русски, но все, что они говорили, так ясно выражали их позы и лица, что оба отлично понимали друг друга. При последних словах Олега денщик тяжелой, набрякшей ладонью с такой силой ударил Олега по лицу, что Олег едва не упал.

Никогда, за все шестнадцать с половиной лет жизни, ничья рука — ни по запальчивости, ни ради наказания — не касалась Олега. Самый воздух, которым он дышал с детства и в семье и в школе, был чистый воздух соревнования, где грубое физическое насилие было так же невозможно, как кража, убийство, клятвопреступление. Бешеная кровь хлынула Олегу в голову. Он кинулся на денщика. Денщик отпрянул к двери. Мать повисла на плечах у сына.

— Олег! Опомнись!.. Он убьет тебя!..— говорила она, блестя сухими глазами, все крепче прижимаясь к сыну.

На шум прибежали бабушка Вера, Николай Николаевич, повар-немец в поварской шапочке и белом халате поверх солдатского мундира. Денщик ревел, как ишак. А бабушка Вера, растопырив сухие руки, с развевающимися на них пестрыми рукавами, кричала и прыгала перед денщиком, как наседка, вытесняя его в столовую.

— Олежек, мальчик, умоляю тебя... Окошко открыто, беги, беги!..— жарко шептала Елена Николаевна на ухо сыну.

— В окошко? Не буду я лазить в окошко в своем доме! — говорил Олег, самолюбиво подрагивая ноздрями и губами. Но он уже пришел в себя.— Не бойся, мама, пусти,— я и так уйду... Я пойду к Лене,— вдруг сказал он.

Он решительными шагами вышел в столовую. Все отступили перед ним.

— И свинья же ты, свинья! — сказал Олег, обернувшись к денщику.— Бьешь, когда знаешь, что тебе нельзя ответить...— И неторопливым шагом вышел из дому.

Щека его горела. Но он чувствовал, что одержал моральную победу: он не только ни в чем не уступил немцу,— немец испугался его. Не хотелось думать о последствиях своего поступка. Все равно! Бабушка права. считаться с их «новым порядком»? К чертовой матери! Он будет поступать так, как ему нужно. Посмотрим еще, кто кого!

Он вышел через калитку на улицу, параллельную Садовой. И почти у самого дома столкнулся с Степой Сафоновым.

— Ты куда? А я к тебе,— живо сказал маленький белоголовый Степа, очень радушно, обеими руками встряхивая большую руку Олега.

Олег смутился:

— Тут в одно место...

Он хотел даже добавить: «по семейному делу», но язык у него не повернулся.

— Что у тебя такая щека красная? — удивленно спросил Степа, отпустив руку Олега. Он точно подрядился спрашивать невпопад.

— С немцем подрался,— сказал Олег и улыбнулся.

— Что ты говоришь?! Здóрово!..— Степа с уважением смотрел на красную щеку Олега.— Тем лучше. Я к тебе, собственно говоря, и шел немножко по этому делу.

— То есть по какому делу? — засмеялся Олег.

— Пойдем, я тебя провожу, а то, если будем стоять, кто-нибудь из фрицев привяжется...— Степа Сафонов взял Олега под руку.

— Луч-чше я тебя провожу,— сказал Олег заикаясь.

— Может быть, ты вообще можешь отложить на некоторое время свое дело и пойти со мной?

— Куда?

— К Вале Борц.

— К Вале?..— Олег чувствовал угрызения совести оттого, что он до сих пор не навестил Валю.— У них немцы стоят?

— Нет. В том-то и дело, что нет. Я, собственно, и шел к тебе по поручению Вали.

Какое это было счастье — вдруг очутиться в доме, в котором не стоят немцы! Очутиться в знакомом тенистом садике все с той же, точно отделанной мехом, клумбой, похожей на шапку Мономаха, и с той же многоствольной старой акацией с ее светло-зеленой кружевной листвой, такой неподвижной, будто она нашита на синее степное небо.

Марии Андреевне все ученики ее школы еще казались маленькими. Она долго тискала, целовала Олега, шумела:

— Забыл старых друзей? Когда вернулся, а глаз не кажешь,— забыл! А где тебя больше всех любят? Кто сиживал у нас часами, наморщив лоб, пока ему играли на пианино? Чьей библиотекой ты пользовался, как своей?.. Забыл, забыл! Ах, Олежка-дролежка! А у нас...— Она схватилась за голову.— Как же — прячется! — сделав страшные глаза, сказала она шепотом, вырвавшимся из нее, подобно паровозному пару, и слышным на всю улицу.— Да, да, даже тебе не скажу — где... Так унизительно и ужасно прятаться в собственном доме! И, кажется, ему придется уйти в другой город. У него не так ярко выражена еврейская внешность,— как ты находишь? Здесь его просто выдадут, а в Сталино у нас есть верные друзья, мои родственни-

ки, русские люди... Да, придется ему уйти,— говорила Мария Андреевна, и лицо ее приняло грустное, даже скорбное выражение, но в силу исключительного здоровья Марии Андреевны скорбные чувства не находили на ее лице соответствующей формы: несмотря на предельную искренность Марии Андреевны, казалось, что она притворяется.

Олег насилу освободился из ее объятий.

— И правда. свинство с твоей стороны,— говорила Валя, самолюбиво приподымая верхнюю полную губу,— когда вернулся, а не зашел!

— И т-ты ведь могла зайти! — сказал Олег со смущенной улыбкой.

— Если ты рассчитываешь, что девушки будут сами заходить к тебе, тебе обеспечена одинокая старость! — шумно сказала Мария Андреевна.

Олег весело взглянул на нее, и они вместе засмеялись.

— Вы знаете. он уже с фрицем подрался,— видите, какая у него щека красная! — с удовольствием сказал Степа Сафонов.

— Серьезно, подрался? — Валя с любопытством смотрела на Олега.— Мама,— вдруг обернулась она к матери,— мне кажется, тебя в доме ждут...

— Боже, какие конспираторы! — шумно сказала Мария Андреевна, воздев к небу свои плотные руки.— Уйду, уйду...

— С офицером? С солдатом? — допытывалась Валя у Олега.

Кроме Вали и Степы Сафонова, в садике присутствовал незнакомый Олегу паренек, худенький, босой, с курчавыми жесткими светлыми волосами на косой пробор и с чуть выдавшимися вперед губами. Паренек молча сидел в развилине меж стволов акаций и с момента появления Олега не спускал с него твердых по выражению, пытливых глаз. В этом его взгляде и во всей манере держать себя было что-то внушавшее уважение, и Олег тоже невольно посматривал в его сторону.

— Олег! — сказала Валя с решительным выражением в лице и в голосе, когда мать вошла в дом.— Помоги нам установить связь с подпольной организацией... Нет, ты подожди,— сказала она, заметив, как в лице

Олега сразу появилось отсутствующее выражение. Впрочем, он тут же простодушно улыбнулся.— Ведь ты же, наверно, знаешь, как это делается! У вас в доме всегда бывало много партийных, и я знаю, что ты больше дружишь со взрослыми, чем с ребятами.

— Нет, к сожалению, связи мои п-потеряны,— с улыбкой отвечал Олег.

— Говори кому другому, здесь все свои... Да! Ты, может быть, его стесняешься? Это же Сережа Тюленин! — воскликнула Валя, быстро взглянув на паренька, молча сидевшего в развилине стволов.

Валя ничего больше не добавила к характеристике Сережи Тюленина, но этого было вполне достаточно.

— Я говорю правду,— сказал Олег, обращаясь уже к Сереже Тюленину и не сомневаясь в том, что он-то, Сережа Тюленин, и был главным зачинщиком этого разговора.— Я знаю, что подпольная организация существует. Во-первых, листовки выпустили. Во-вторых, я не сомневаюсь, что поджог треста и бани — это ее рук дело,— говорил Олег, не заметив, как при этих его словах какая-то искорка-дичинка промелькнула в глазах у Вали и улыбка чуть тронула ее верхнюю полную яркую губу.— И у меня есть сведения, что в ближайшее время мы, комсомольцы, получим указания, что нам делать.

— Время идет... руки горят! — сказал Сережка.

Они стали обсуждать ребят и дивчат, которые могли бы быть в городе. Степа Сафонов — общительный парень, друживший с ребятами и дивчатами всего города,— всем им давал такие отчаянные характеристики, что Валя, Олег и Сережка, позабыв о немцах и о том, ради чего они подняли этот разговор, покатывались от хохота.

— А где Ленка Позднышева? — вдруг спросила Валя.

— Она здесь! — воскликнул Степа.— Я ее на улице встретил. Идет такая расфуфыренная, голову вот так несет,— и Степа с вздернутым веснушчатым носиком будто проплыл по саду.— Я ей: «Ленка, Ленка!», а она только головой кивнула, вот так,— показал Степа.

— И вовсе не похоже! — лукаво косясь на Олега, фыркала Валя.

— Помнишь, как мы чу́дно пели у нее? Три недели тому назад, всего три недели, подумать только! — сказал Олег, с доброй грустной улыбкой взглянув на Валю. Он сразу заторопился уходить.

Они вышли вместе с Сережкой.

— Мне Валя много рассказывала о тебе, Олег, да я, как тебя увидел, и сам положился на тебя душою,— кинув на Олега несколько смущенный быстрый взгляд, сказал Сережка.— Говорю тебе об этом так, чтобы ты знал, и больше говорить об этом не буду. А дело вот в чем: это никакая не подпольная организация подожгла трест и баню, это я поджег...

— К-как, один? — Олег с заблестевшими глазами смотрел на Сережку.

— Сам, один...

Некоторое время они шли молча.

— П-плохо, что один... Здорово, смело, но... п-плохо, что один,— сказал Олег, на лице которого было одновременно и добродушное и озабоченное выражение.

— А подпольная организация есть, я знаю не только по листовке,— продолжал Сережка, никак не отозвавшись на замечание Олега.— Я было на след напал, да...— Сережка с досадой махнул рукой,— не зацепился...

Он рассказал Олегу о посещении Игната Фомина и о всех обстоятельствах этого посещения, не утаив, что он вынужден был дать человеку, который скрывался у Фомина, ложный адрес.

— Ты Вале об этом тоже рассказывал? — вдруг спросил Олег.

— Нет, Вале я этого не рассказывал,— спокойно сказал Сережка.

— Х-хорошо... Очень х-хорошо!— Олег схватил Сережку за руку.— Ведь если у тебя с этим человеком был такой разговор, ты можешь к нему и еще зайти? — говорил он волнуясь.

— В том-то и дело, что нет,— сказал Сережка, и возле его словно бы подпухших губ легла жесткая складка.— Человека этого его хозяин, Игнат Фомин, немцам выдал. Он его не сразу выдал, а так на пятый, на шестой день после того, как немцы пришли. По Шанхаю болтают, будто он хотел через того человека всю организацию раскрыть, а тот, видать, был осто-

рожный. Фомин подождал, подождал, да и выдал его, и сам пошел в полицию служить.

— В какую полицию? — удивленно воскликнул Олег: пока он сидел в дровяном сарайчике, вот какие дела творились в городе!

— Знаешь барак, внизу, за райисполкомом, где наша милиция была?.. Там теперь немецкая полевая жандармерия, и они при себе формируют полицию из русских. Говорят, нашли сволочь на место начальника,— какой-то Соликовский. Служил десятником на мелкой шахтенке, где-то в районе. А сейчас с его помощью набирают полицейских из разной шпаны.

— Куда они его дели? Убили? —спрашивал Олег.

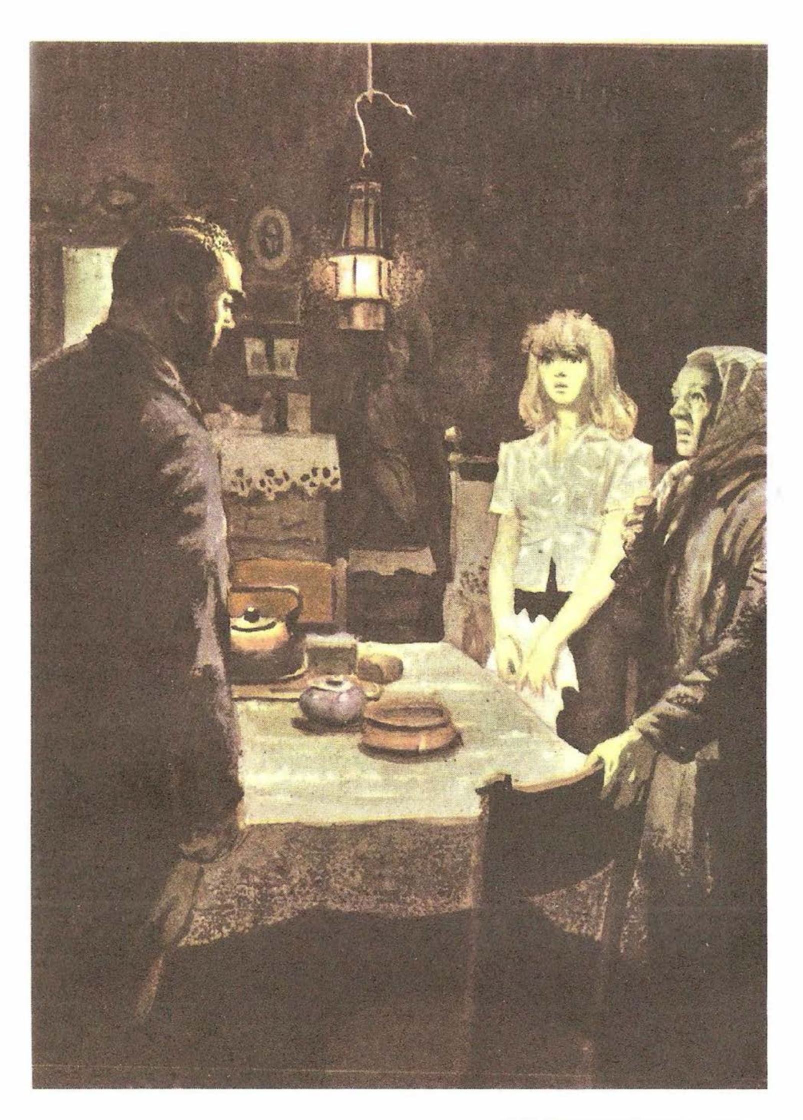
— Коли дураки, так уже убили,— сказал Сережка,— а думаю, еще держат. Им надо от него все узнать, а он не из таких, что скажет. Наверно, держат в том же бараке да жилы тянут. Там и еще арестованные есть, только не могу дознаться, кто такие...

У Олега вдруг сердце сжалось от страшной мысли: пока он ждет вестей от Валько, этот могучей души человек со своими цыганскими глазами, может быть, уже сидит в этом бараке под горой в темной и тесной каморке, и из него тоже тянут жилы, как сказал Сережка.

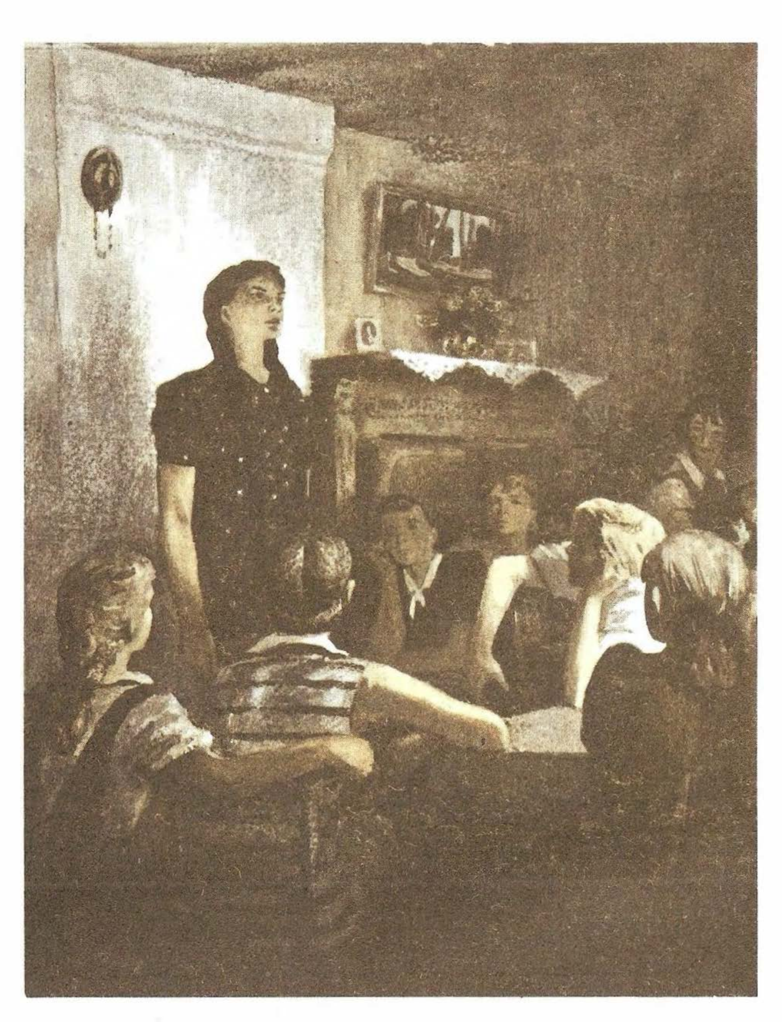
— Спасибо... Спасибо, что все это рассказал,— глухим голосом сказал Олег.

И он, руководствуясь только соображениями целесообразности, без малейшего колебания в том, что нарушает обещание, данное Валько, передал Сережке свой разговор с Валько, а потом с Ваней Земнуховым

Они медленно шли по Деревянной улице,— босой Сережка — вразвалку, а Олег, легко и сильно ступая по пыли в своих, как всегда аккуратно вычищенных, ботинках,— и Олег развивал перед товарищем свой план действий: осторожно, исподволь, чтобы не повредить делу, искать и искать путь к большевистскому подполью; в то же время присматриваться к молодежи, брать на примету наиболее верных, стойких, годных к работе, узнать, кто арестован в городе и в районе, где сидят. найти возможность помощи им и непрерывно разведывать среди немецких солдат о всех военных и гражданских мероприятиях командования.



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Сережка, сразу оживившись, предложил организовать сбор оружия: после боев и отступления много его валялось по всей округе, даже в степи.

Они оба понимали, насколько все это дела будничные, но это были дела осуществимые,— в обоих заговорило чувство реальности.

— Все, что мы друг другу сказали, все, что мы узнаем и сделаем, не должен знать, кроме нас, никто, как бы близко к нам люди ни стояли, с кем бы мы ни дружили! — говорил Олег, глядя перед собой ярко блестевшими, расширенными глазами.— Дружба дружбой, а... здесь к-кровью пахнет,— с силой сказал он.— Ты, Ваня, я и — всё... А установим связи, там нам скажут, что делать...

Сережка промолчал: он не любил словесных клятв и заверений.

— Что в парке сейчас? — спрашивал Олег.

— Немецкий автопарк. И зенитки кругом. Изрыли всю землю, как свиньи!

— Бедный наш парк!.. А у вас немцы стоят?

— Так, проходом: им наше помещение не нравится,— усмехнулся Сережка.— Встречаться у меня нельзя,— сказал он, поняв смысл вопросов Олега,— народонаселение большое.

— Будем держать связь через Валю.

— Точно,— с удовольствием сказал Сережка.

Они дошли до переезда и здесь крепко пожали друг другу руки. Они были почти ровесники и сразу сблизились за время этого короткого разговора. Настроение у них было мужественно-приподнятое.

Семья Позднышевых жила в районе «Сеняков». Она, как и Кошевые с Коростылевыми, занимала половину стандартного дома. Олег еще издалека увидел распахнутые, в старинных тюлевых занавесках окна их квартиры, и до него донеслись звуки пианино и искуственный смех Леночки из этих раздельных серебряных звучков. Кто-то, очень энергичный, сильными пальцами брал первые аккорды романса, знакомого Олегу, и Леночка начинала петь, но тот, кто аккомпанировал ей, тут же сбивался, и Леночка смеялась, а потом показывала голосом, где он ошибся и как надо, и все повторялось снова.

Звук ее голоса и звуки пианино вдруг так взволновали Олега, что он некоторое время не мог заставить себя войти в дом. Они, эти звуки, снова напомнили ему счастливые вечера, здесь же, у Лены, в кругу друзей, которых, казалось, было тогда так много... Валя аккомпанировала, а Леночка пела, а Олег смотрел на ее лицо, немного взволнованное, смотрел, очарованный и счастливый ее волнением, звуком ее голоса и этими навек запечатленными в сердце звуками пианино, наполнявшими собой весь мир его юности.

Ах, если бы никогда больше не переступал он порога этого дома! Если бы навеки осталось в сердце это слитное ощущение музыки, юности, неясного волнения первой любви!

Но он уже вошел в сени, а из сеней в кухню. В этой полутемной кухне, находившейся в теневой стороне дома, очень мирно и привычно, как они, очевидно, делали это не первый раз, сидели у маленького кухонного столика сухонькая, в старомодном темном платье и в старомодной прическе буклями, мать Лены и немецкий солдат с такой же палевой головой, как тот денщик, с которым подрался Олег, но без веснушек, низенький, толстый,— по всем ухваткам тоже денщик. Они сидели на табуретках друг против друга, и немецкий денщик с улыбкой, самодовольной и вежливой, с некоторым даже кокетством во взоре, что-то вынимал из рюкзака, который он держал на коленях, и передавал это что-то в руки матери Лены. А она со своим сухоньким лицом и буклями, с дамским, старушечьим выражением понимания того, что ее задабривают, и одновременно с улыбкой льстивой и угоднической, дрожащими руками принимала что-то и клала себе в колени. Они были так заняты этим несложным, но глубоко захватившим обоих делом, что не расслышали, как Олег вошел. И он смог рассмотреть то, что лежало на коленях у матери Лены: плоская жестяная коробка сардин, плитка шоколада и узкая четырехугольная, поллитровая, с вывинчивающейся пробкой жестяная банка в яркой, желтой с синим, этикетке,— такие банки Олег видел у немцев в своем доме,— это было прованское масло.

Мать Лены заметила Олега и невольно сделала движение руками, будто хотела прикрыть то, что лежа-

ло у нее в коленях, и денщик тоже увидел Олега и с равнодушным вниманием уставился на него, придерживая свой рюкзак.

В то же время в соседней комнате оборвались звуки пианино и пение Леночки, и раздался ее смех, и смех мужчин, и обрывки немецких фраз. И Леночка, отделяя один серебряный звучок своего голоса от другого, сказала:

— Нет, нет, я повторяю, ich wiederhole, здесь пауза, и еще раз повтор, и сразу...

И она сама пробежала тонкими пальчиками одной руки по клавишам.

— Это ты, Олежек? Разве ты не уехал? — удивленно подняв редкие брови, говорила мама Лены фальшиво-ласковым голосом.— Ты хочешь видеть Леночку?

С неожиданным проворством она спрятала то, что лежало у нее в коленях, в нижнее помещение кухонного столика, потрогала сухонькими пальцами букли, в порядке ли они, и, втянув в плечи голову и выставив носик и подбородок, прошла в комнату, откуда доносились звуки пианино и голос Леночки.

С отхлынувшей от лица кровью, опустив большие руки, сразу став неуклюжим и угловатым, Олег стоял посреди кухни, под равнодушным взглядом немецкого денщика.

В комнате послышалось восклицание Лены, выразившее удивление и смущение. Она пониженным голосом сказала что-то мужчинам в комнате, будто извинилась, и ее каблучки бегом протопали через всю комнату. Леночка показалась в двери на кухню в сером, темного рисунка, тяжеловатом на ее тонкой фигуре платье, с голой тонкой шейкой, смуглыми ключицами и голыми смуглыми руками, которыми она схватилась за дверные косяки.

— Олег?.. — сказала она, смутившись так, что ее смуглое личико залилось румянцем.— А мы тут...

Но оказалось, что у нее решительно ничего не заготовлено для объяснения того, что «они тут». И она с чисто женской непоследовательностью, неестественно улыбнувшись, подбежала к Олегу, повлекла его за руку за собой, потом отпустила, сказала: «идем, идем», и уже у порога опять обернулась с наклоненной головой, приглашая его еще раз.

Олег вошел вслед за ней в комнату, едва не столкнувшись с матерью Лены, шмыгнувшей мимо него. Двое немецких офицеров в одинаковых серых мундирах,— один офицер, сидя вполоборота на стуле перед раскрытым пианино, а другой, стоя между окном и пианино,— смотрели на Олега без любопытства, но и без досады, просто как на помеху, с которой хочешь не хочешь надо мириться.

— Он из нашей школы,— сказала Леночка своим серебряным голоском.— Садись, Олег... Ты ведь помнишь этот романс? Я уже час бьюсь, чтобы они его разучили. Мы все это повторим, господа! Садись, Олег...

Олег поднял на нее глаза, полуприкрытые золотистыми ресницами, и сказал внятно и тоже раздельно, так, что каждое его слово точно по лицу ее било:

— Ч-чем же они платят тебе? Кажется, постным маслом? Ты п-продешевила!..

Он повернулся на каблуках и мимо матери Лены и мимо толстого денщика с стандартно-палевой головой вышел на улицу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Итак, Филипп Петрович Лютиков исчез и появился уже в новом качестве.

Что происходило с ним за это время?

Мы помним, что он был выделен для подпольной работы еще прошлой осенью. Тогда Филипп Петрович скрыл это от жены и очень доволен был своей предусмотрительностью: угроза оккупации отодвинулась.

Но Филипп Петрович помнил об этом, помнил всегда. Да и Иван Федорович Проценко, человек предусмотрительный, поддерживал его в состоянии этой постоянной душевной готовности:

— Кто его знае, як воно там буде! А наше с тобой дело пионерское: «Будь готов!» — «Всегда готов!»...

Из людей, выделенных прошлой осенью, так же нерушимо оставалась на своем посту Полина Георгиевна Соколова, домашняя хозяйка, беспартийная, известная в городе как активистка по работе среди женщин. Лютикова, депутата городского совета, слишком хорошо знали все жители Краснодона,— в условиях подполья

он был бы скован и в передвижениях, и в связях с людьми. Полина Георгиевна должна была стать его глазами, руками, ногами,— она была выделена как его связная.

С того момента, как Соколова дала согласие остаться на этой работе, она, по совету Лютикова, вовсе отошла от общественной деятельности. Среди женщин, ее подруг, это вызвало сначала недоумение, потом нарекания: почему в такое трудное для родины время женщина, всегда такая деятельная, отошла от общественной работы? Но в конце концов ее ведь никто не назначал, не выдвигал, она работала добровольно, пока ей это нравилось. Мало ли что случается с людьми? Вот взял человек и ушел целиком в свое домашнее. А может быть, трудности жизни в дни войны толкнули его на это? И постепенно все забыли Полину Георгиевну.

Она купила корову,— купила на медные деньги, по случаю, у какой-то эвакуировавшейся на восток семьи,— и начала ходить по людям, торговать молоком. Не так уж много молока требовалось семье Филиппа Петровича,— жили они втроем: жена, Евдокия Федотовна, дочка двенадцати лет, Рая, да сам он, Филипп Петрович. Но у хозяйки, Пелагеи Ильиничны, было трое детишек, старая мать жила при ней,— и хозяйка тоже стала брать молоко у Полины Георгиевны. И все соседи привыкли к тому, что каждое утро, едва забрезжит свет, женщина с добрым русским лицом, скромно одетая, повязанная по-деревенски белым платком, неторопливо подходит к домику Пелагеи Ильиничны, сама отворяет калитку, просунув между планок длинные тонкие пальцы, чтобы повернуть вертушку, и тихо стучит в оконце у крыльца. Дверь отворяла встававшая раньше других мать Пелагеи Ильиничны. Соколова приветливо здоровалась, входила в домик, а через некоторое время выходила с пустым бидоном.

Семья Лютикова жила в этом домике уже много лет. Жена Лютикова, Евдокия Федотовна, дружила с Пелагеей Ильиничной. Девочки-однолетки, Рая и старшая дочь хозяйки Лиза, учились в одной школе, в одном классе. Муж хозяйки, с первого дня войны находившийся на фронте, был моложе Филиппа Петровича лет на пятнадцать,— столярный мастер, младший офицер запаса, артиллерист, он, считая себя воспитан-

ником Филиппа Петровича, относился к нему как ученик к учителю.

Еще той осенью Филипп Петрович выяснил, что Пелагея Ильинична с ее большим семейством без мужа не решится оставить хозяйство и покинуть город, если придут немцы. И именно тогда у Филиппа Петровича возникла мысль — отправить в случае необходимости свою семью на восток, а самому остаться на старой квартире.

Хозяйка его, Пелагея Ильинична, была из тех простых, честных и чистых женщин, которыми так богат наш народ. Филипп Петрович знал, что она его ни о чем не спросит, а даже нарочно сделает вид, будто и знать ничего не знает. Этак спокойнее и удобнее ее совести: никаких обязательств не давала, значит, и спроса нет. А молчать она будет, и спрячет его, и даже под пытками не выдаст,— из глубокой веры в человека, из сочувствия делам его и просто по доброте и жалостливости женского сердца.

И квартира ее была удобна Филиппу Петровичу. Домик Пелагеи Ильиничны был одним из тех первых деревянных домиков, что пристроились к одиноко стоявшей здесь когда-то хибарке шахтера Чурилина,— весь этот район так и назывался до сих пор «Чурилино». Позади домика начиналась далеко уходящая в степь балка — тоже «Чурилинская». Район этот всё еще считался глухим,— он и был глухим.

В тот грозный час июля, когда пришлось все-таки Филиппу Петровичу объявиться жене, Евдокия Федотовна заплакала, сказала ему:

— Ты старый, больной... Пойди в райком, поговори,— тебя ведь отпустят... Уедем в Кузбасс,— вдруг сказала она, и в глазах ее появилось то знакомое ему выражение, которое возникало, когда жена вспоминала о молодых годах, о хороших людях, о чем-нибудь близком сердцу. В Кузбасс эвакуированы были в дни войны многие донецкие шахтеры с семьями, среди них были друзья Филиппа Петровича, подруги его жены с детских лет.— Уедем в Кузбасс! — сказала она так, будто сейчас в Кузбассе им может быть так же хорошо, как было когда-то здесь, на родине, когда оба они были юны.

Бедная женщина,— будто она не знала своего Филиппа Петровича!

— Не говори мне больше об этом. Вопрос решен,— сказал он, так строго глядя в молящие глаза ее, что ясно было: не потерпит он ни ее просьб, ни слез.— А вам здесь оставаться нельзя: мешать мне будете. И душа моя изболится, глядючи на вас...— И он поцеловал жену и долго не отпускал от сердца любимицу свою, единственную дочку.

Как и многие семьи, семья его выехала слишком поздно и вернулась, даже не достигнув Донца. Но Филипп Петрович так и не разрешил жене и дочери остаться вместе с ним: он устроил их на хуторе, подальше от города.

В течение трех недель, изменивших положение на фронте в пользу немецких армий, в областном комитете партии и в Краснодонском райкоме шла деятельная работа по пополнению подпольных организаций и партизанских отрядов новыми людьми. В распоряжение Лютикова тоже поступила большая группа руководящих работников Краснодонского и других районов.

В тот памятный день, когда Филипп Петрович простился с Проценко, он вернулся домой, как обычно,— это был час, когда он возвращался из мастерских. Дети играли на улице, старуха спряталась от жары в полутемной комнате с закрытыми ставенками. Пелагея Ильинична сидела на кухне, положив одна на другую загорелые жилистые руки. Такая глубокая дума была в ее еще не старом миловидном лице, что даже приход Филиппа Петровича не сразу привел ее в чувство: некоторое время она смотрела на него и не видела его.

— Сколько лет живу у вас, а первый раз вижу, чтобы вы этак сидели, не хлопотали,— сказал Филипп Петрович.— Загрустили? Не грустите.

Она молча приподняла жилистую руку и снова положила ее на другую.

Филипп Петрович некоторое время постоял перед хозяйкой, потом тяжелой и медленной походкой прошел в горницы. Через некоторое время он вернулся уже без кепки, без галстука, в туфлях, но все в том же новом черном пиджаке поверх белой, с отложным воротничком рубашки. Большой зеленой расческой он расчесывал на ходу свои густые, с неровной проседью волосы.

— Вот что я хочу спросить у вас, Пелагея Ильинична,— сказал он, быстро разобрав все той же расческой свои короткие колючие усы на две стороны: — С того самого дня, как приняли меня в партию,— в двадцать четвертом году, по ленинскому призыву,— выписываю я нашу газету «Правду». И все номера сохранил. По работе она мне бывала очень нужна: доклады я делал, кружки политические вел... Сундук тот, что у меня в горнице, вы, может быть, думали, он у меня с барахлом? А это у меня газеты,— сказал Филипп Петрович и улыбнулся. Он улыбался не часто, и, может быть, поэтому улыбка сразу меняла лицо его, придавая лицу несвойственное выражение мягкости.— Что ж мне теперь с ними делать? Семнадцать лет собирал. Жечь жалко...— И он вопросительно посмотрел на Пелагею Ильиничну.

Некоторое время оба они молчали.

— Где ж бы их спрятать? — спросила Пелагея Ильинична как бы самое себя.— Их можно закопать. Ночью можно вырыть яму на огороде и прямо так, в сундуке, и закопать,— сказала она, не глядя на Лютикова.

— А если понадобятся? Могут понадобиться,— сказал Филипп Петрович.

Как он и предполагал, Пелагея Ильинична не спросила, зачем ему могут понадобиться советские газеты при немцах, даже лицо ее не изменило постороннего выражения. Она опять помолчала, потом спросила:

— Вы, Филипп Петрович, так давно у нас живете, ко всему присмотрелись, а я у вас спрошу: если бы вы зашли к нам в дом, зашли нарочно что-нибудь найти, заметили бы вы у нас на кухне что-нибудь такое особенное?

Филипп Петрович очень серьезно и внимательно оглядел кухню: маленькая опрятная кухонька в маленьком провинциальном домике. Как человек мастеровой, Филипп Петрович обратил внимание только на то, что деревянный крашеный пол сбит не из продольных половиц, а из широких, плотных, коротких досок, положенных в ряд от одной поддерживающей балки до другой и пригнанных в стык. Человек, строивший дом, был хороший хозяин. Такой добротный пол был сделан для прочности,— чтобы не прогибался под тяжестью рус-

ской печки, чтобы дольше сохранялся от гниения в таком помещении, где много сорят, а потому чаще моют.

— Ничего такого не вижу, Пелагея Ильинична,— сказал Лютиков.

— Здесь старый погреб под кухней...— Пелагея Ильинична привстала с табурета, нагнулась и пощупала едва заметное темное пятнышко на одной из половиц.— Вот здесь кольцо было. Там и лестничка есть...

— Можно посмотреть? — спросил Филипп Петрович.

Пелагея Ильинична закинула крючок на дверь и достала из-под печки топор. Однако Филипп Петрович отказался воспользоваться им, чтобы не сделать на полу метины. Они вооружились — Лютиков кухонным ножом, а она обыкновенным столовым — и аккуратно прочистили забитые слежавшимся сором щели по прямоугольнику влаза. Наконец они с трудом приподняли сбитые вместе три короткие тяжелые половицы.

В погреб вела лестничка в четыре ступеньки. Филипп Петрович спустился, зажег спичку: в погребе было сухо. Сейчас даже трудно было предусмотреть, насколько полезен ему будет этот удивительный погребок!

Филипп Петрович поднялся по ступенькам в кухню и бережно прикрыл влаз.

— Вы уж на меня не серчайте, у меня еще вопрос к вам,— сказал он.— Я, конечно, потом устроюсь, немцы меня не тронут. А в первые дни, как придут, боюсь, чтоб они меня сгоряча не убили. Так я в случае чего — сюда,— и он указал пальцем в пол.

— А если ко мне солдаты на постой?

— К вам не поставят: Чурилино... А я человек не гордый, посижу там... Да вы не смущайтесь,— сказал Филипп Петрович, сам немножко смущенный безразличным выражением лица Пелагеи Ильиничны.

— Я не смущаюсь, мое дело маленькое...

— Если немцы спросят, где, мол, такой Лютиков, говорите: здесь живет, ушел в деревню продукты покупать и обязательно вернется... А прятаться мне Лиза и Петька помогут. Я буду их днем на дежурство ставить,— сказал Филипп Петрович и улыбнулся.

Пелагея Ильинична покосилась на него и вдруг по-молодому качнула головой и засмеялась. Такой строгий на вид, Филипп Петрович был прирожденным воспита-

телем, знал и любил детей и умел их привораживать. Дети льнули к нему. Он держался с ними, как со взрослыми. Он был мастер на все руки, мог на их глазах сделать почти все — от игрушки до предмета, полезного в хозяйстве,— и сделать из ничего. В народе таких зовут «умельцами».

Он не делал различия между хозяйскими детьми и своей дочкой ни в чем, и все ребята в доме с радостью выполняли любое его поручение, стоило ему пальцем двинуть.

— Ты их лучше себе возьми, дядя Филипп, так ты их приучил,— они тебя больше, чем родного отца, признают! — говорил, бывало, муж Пелагеи Ильиничны.— Пойдете к дяде Филиппу навсегда жить? — спрашивал он, сердито поглядывая на детей.

— Не пойдем! — хором кричали они, облепив, однако, дядю Филиппа со всех сторон и прижимаясь к нему.

В разных областях деятельности можно встретить много самых различных характеров партийного руководителя с той или иной особенно заметной, бросающейся в глаза чертой. Среди них едва ли не самым распространенным является тип партийного работника-воспитателя. Здесь речь идет не только и даже не столько о работниках, основной деятельностью которых является собственно партийное воспитание, политическое просвещение, а именно о типе партийного работника-воспитателя, в какой бы области он ни работал,— в области хозяйственной, военной, административной или культурной. Именно к такому типу работника-воспитателя принадлежал Филипп Петрович Лютиков.

Он не только любил и считал нужным воспитывать людей, это было для него естественной потребностью и необходимостью, это было его второй натурой — учить и воспитывать, передавать свои знания, свой опыт.

Правда, это придавало многим его высказываниям характер как бы поучения. Но поучения Лютикова не были назойливо-дидактическими, навязчивыми, они были плодом его труда и размышлений и именно так и воспринимались людьми.

Особенностью Лютикова, как и вообще этого типа руководителей, было неразрывное сочетание слова и дела. Умение претворять всякое слово в дело, сплотить

совсем разных людей именно вокруг данного дела и вдохновить их смыслом этого дела и было той главной чертой, которая превращала Филиппа Петровича Лютикова в воспитателя совершенно нового типа. Он был хорошим воспитателем именно потому, что был человеком-организатором, человеком — хозяином жизни.

Его поучения не оставляли равнодушным, а тем более не отталкивали, они привлекали сердца, а особенно сердца людей молодых, потому что молодежь тем сильней воспламеняется мыслью, чем больше мысль подкреплена силой примера.

Иногда ему достаточно было только слово сказать или даже просто посмотреть. От природы он был немногословен, скорее даже молчалив. На первый взгляд как будто медлительный,— иным даже казалось, тяжелый на подъем,— он на самом деле находился всегда в состоянии спокойной, разумной, ясно организованной деятельности. Все свободное от производства время он так умело распределял между общественной деятельностью, физическим трудом, чтением, забавой, что всегда все успевал.

В общении с людьми Филипп Петрович был ровен, не выходил из себя, в беседе умел помолчать, послушать человека — качество, очень редкое в людях. Поэтому он слыл за хорошего собеседника, человека душевного: многие люди делились с ним такими общественными и личными делами, о каких никогда бы не решились поговорить даже с близкими.

При всем том он вовсе не был то, что называется добрым человеком, а тем более мягким человеком. Он был неподкупен, строг и, если нужно, беспощаден.

Одни люди уважали, другие любили его, а были и такие, что боялись. Вернее сказать, всем людям, общавшимся с ним, включая жену и друзей, были свойственны, в зависимости от характера человека, все эти чувства к нему, только в одних преобладало одно, в других — другое, а в третьих — третье. Если делить людей по возрасту, то можно сказать, что взрослые люди и уважали, и любили, и боялись его, молодежь любила и уважала, а дети просто любили.

Вот почему Пелагея Ильинична засмеялась, когда Филипп Петрович сказал: «Лиза и Петька помогут мне».

И правда, все первые дни после прихода немцев, пока Филипп Петрович прятался, дети дежурили по очереди на улице и охраняли его.

Ему повезло. Никто из немецких солдат не поселился у Пелагеи Ильиничны: в городе даже по соседству можно было найти дома попросторней, получше. Пугала немцев балка за домом: боялись партизан. Немецкие солдаты, правда, заходили иногда посмотреть квартиру и прихватить, что плохо лежит. Филипп Петрович всякий раз прятался под полом на кухне. Но никто не справлялся о нем.

Каждое утро, как всегда, приходила Полина Георгиевна, скромная, тихая, повязанная по-деревенски белым чистым платком, отливала молоко в два глиняных кувшина и проходила со своим бидоном к Филиппу Петровичу. Пока она находилась у него, Пелагея Ильинична и ее мать оставались на кухне. Дети еще спали. Полина Георгиевна выходила от Лютикова и некоторое время задерживалась еще на кухне поболтать с женщинами.

Так прошла неделя, а может быть, немножко больше. Однажды Полина Георгиевна, прежде чем передать Лютикову уличные новости, тихо сказала:

— На работу зовут вас, Филипп Петрович...

Он вдруг весь изменился: выражение спокойствия и равнодушия, медлительность движений, иногда почти неподвижность,— все это, напущенное на себя Филиппом Петровичем, пока он жил здесь невидимый, слетело с него в одно мгновение.

Мощным, львиным броском он подскочил к двери и выглянул в соседнюю горницу. Там, как всегда, никого не было.

— Всех зовут? — спросил он.

— Всех...

— Николай Петрович?

— Он...

— А был он?..— пытливо вглядываясь в глаза Соколовой, спросил Филипп Петрович.

Ему не нужно было пояснять Полине Георгиевне, где был Бараков,— все это она знала, все это было уже раньше условлено между нею и Филиппом Петровичем.

— Был,— сказала она чуть слышно.

Филипп Петрович не стал суетлив, не повысил голоса,— нет, но все его большое, тяжелое тело, оплывшее книзу лицо, глаза и голос его — все это налилось энергией, будто в нем какая-то туго скрученная спираль развертывалась.

Он сунул два плотных, негнущихся и в то же время точных пальца мастерового в наружный карманчик пиджака, вынул крохотный, мелко исписанный лоскуточек бумажки и подал Полине Георгиевне.

— К завтрему, к утру... И побольше!

Полина Георгиевна мгновенно спрятала листочек у себя на груди.

— Немного обождите в столовой. Сейчас я вам хозяек пришлю...

Пелагея Ильинична и мать ее вошли в соседнюю горницу, куда перешла и Полина Георгиевна со своим бидоном. Они стоя обменивались уличными новостями. Потом Филипп Петрович окликнул Соколову из кухни, и она вышла к нему.

Он держал в руке свернутую пачку газет. На лице Полины Георгиевны выразилось удивление: это были сложенные вчетверо и свернутые в толстую трубку номера газеты «Правда».

— В бидон,— сказал Филипп Петрович.— Пусть клеят там же, на самых видных местах.

У Полины Георгиевны даже сердце забилось: как ни невероятно это было, ей показалось в первое мгновение, что Филипп Петрович получил свежую «Правду». Полина Георгиевна не утерпела и, прежде чем засунуть сверток в бидон, взглянула на число.

— Старые,— сказала она, не в силах скрыть разочарование.

— Не старые. Большевистская правда не стареет,— сказал Лютиков.

Она быстро перебрала несколько номеров. В большинстве это были праздничные номера за разные годы, с портретами Ленина и Сталина. Замысел Лютикова стал ясен ей. Она туже свернула газеты в трубку и сунула в бидон.

— Чтобы не забыть,— сказал Филипп Петрович: — Пусть Остапчук тоже выходит на работу. Завтра...

Полина Георгиевна молча кивнула головой. Она не знала, что Остапчук — это Матвей Шульга, и не знала,

где он скрывается,— она знала только квартиру, где нужно было передать распоряжение Лютикова: на эту квартиру она тоже носила молоко.

— Спасибо. Все...— Филипп Петрович подал ей свою большую руку и вернулся в комнату.

Он тяжело опустился на стул, уперся ладонями с растопыренными пальцами в колени и посидел так некоторое время. Взглянул на часы: они показывали начало восьмого. Медленными, спокойными движениями он снял поношенную рубашку, достал белую, свежую, повязал галстук, причесал волосы, поседевшие особенно на висках и спереди, надел пиджак и вышел на кухню, где после ухода Полины Георгиевны снова хлопотали Пелагея Ильинична и ее мать.

— Что ж, Пелагея Ильинична, дайте мне того молочка, из-под бешеной коровки, и хлебца, коли есть. На работу пойду,— сказал он.

Минут через десять, аккуратно и чисто одетый, в черной кепке, он обычной дорогой, ни от кого не таясь, шагал по улицам города в направлении к Центральным мастерским треста «Краснодонуголь».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Среди многочисленных чинов немецкой армии и администрации «нового порядка», двигавшейся вслед за армией, прибыл в Краснодон лейтенант Швейде, пожилой, очень худой, седоватый немец, техник из так называемого горнорудного батальона. Никто из краснодонцев не запомнил дня его появления: как и все чины, он был одет в стандартную военную форму с непонятными знаками различия.

Он занял под свою особу большой четырехквартирный стандартный дом с четырьмя кухнями, и для всех четырех кухонь с первой же минуты появления в доме господина Швейде оказалось достаточно работы. Он привез с собой большую группу других немецких чинов, но все они поселились отдельно от него, а непосредственно с ним поселилось несколько немцев-поваров, немка-экономка и денщик. Вскоре, однако, штат его прислуги вырос за счет russischen Frauen, как безлично называл он присланных к нему биржей труда служанок,

прачку, переводчицу, портниху, а в скором времени еще и коровницу, свинарку и птичницу. Коровы, свиньи завелись у господина Швейде поистине как по мановению волшебного жезла, но особенное личное пристрастие испытывал он к домашней птице.

В конце концов это не так уж выделило бы среди прочих немецких чинов лейтенанта горнорудного батальона. Однако о нем заговорили в городе. Господин Швейде и другие прибывшие с ним чиновники заняли помещение школы имени Горького в парке. И вместо школы возникло в городе новое учреждение — дирекцион № 10.

Это военизированное учреждение, как выяснилось, было самым главным административно-хозяйственным управлением, которому подчинялись теперь все шахты и связанные с ними предприятия Краснодонского района со всем их имуществом и оборудованием, какое не успели вывезти или взорвать, и со всеми рабочими, которые не успели или не смогли уйти. Это учреждение было только одним из многочисленных ответвлений большого акционерного общества, носившего длинное претенциозное название: «Восточное общество по эксплуатации угольных и металлургических предприятий». Правление общества находилось в городе Сталино, снова переименованном в Юзовск. Так называемое «Восточное общество» опиралось на «Окружные управления горных и металлургических предприятий». Дирекцион № 10 в числе прочих дирекционов подчинялся окружному управлению в городе Шахты.

Все это было так хорошо устроено и еще того лучше распланировано, что углю и металлу советского Донбасса теперь только и оставалось течь широким потоком в карманы немецкого «Восточного общества». И господин Швейде отдал распоряжение, чтобы все рабочие, служащие и инженерно-технические работники шахт и заводов бывшего треста «Краснодонуголь» немедленно приступили к работе.

Сколько тяжких сомнений терзало в ту пору душу рабочего человека, прежде чем он вынужден был принять решение о выходе на работу, когда родные шахты и заводы стали собственностью врагов отчизны, когда сыновья и братья, мужья и отцы отдавали свои жизни на поле брани против врагов отчизны! Лица рабочих и

служащих, вышедших на работу в Центральные мастерские, были одновременно угрюмыми и смущенными, люди избегали смотреть в глаза друг другу, почти не разговаривали.

Мастерские были открыты настежь со дня последней эвакуации. Никто их не запирал, не сторожил, потому что никто уже не был заинтересован в том, чтобы все, что осталось в мастерских, пребывало в целости и сохранности. Мастерские были открыты, но никто не пошел в цехи. Рабочие даже не группами, а поодиночке, редко-редко по двое, расположились среди хлама и лома во дворе, молча ожидали начальство.

И тогда появился инженер-механик Бараков, стройный, сильный и такой моложавый для своих тридцати пяти лет, с самоуверенным выражением лица, одетый не только опрятно, а с претензией. У него был черный галстук бабочкой. Шляпу он нес в руке, и его гладко выбритая голова лоснилась на солнце. Бараков подошел к этой разрозненной группе рабочих во дворе, вежливо поздоровался, на мгновение замялся и решительным шагом прошел в главный корпус. Рабочие, не ответив на его приветствие, молча проводили его глазами и видели в распахнутую настежь дверь, как он прошел через механический цех в конторку.

Немецкое начальство не торопилось. Было уже жарко, когда во двор вошли через проходную будку заместитель Швейде господин Фельднер и русская женщина-переводчица с пышной прической.

Как это часто случается в природе, господин Фельднер по своим физическим качествам и по темпераменту был прямой противоположностью своему начальнику. Лейтенант Швейде был худ, недоверчив, молчалив. Фельднер был маленький кругленький крикун и болтун. Его голос, работавший на разной степени повышенных интонациях, можно было услышать еще издалека, и всегда казалось, что это идет не один немец, а несколько спорящих между собой немцев. Господин Фельднер был в военной форме, в крагах, в серой фуражке с сильно вздернутой спереди тульей.

Фельднер в сопровождении переводчицы подошел к рабочим,— они один за другим встали, и это доставило ему некоторое удовольствие. Не делая паузы между тем, что он говорил только что переводчице, и тем, что

хотел теперь сказать рабочим, он выпалил одну длинную, а может быть, несколько коротких немецких фраз. И пока женщина переводила, он продолжал кричать. Должно быть, состояние молчания было неведомо ему. Можно было предполагать, что с того момента, как он испустил первый крик, выйдя из чрева матери, он уже не останавливался и всю остальную жизнь беспрерывно пребывал в состоянии разных форм и степеней крика.

Он интересовался, нет ли здесь кого-нибудь из старой администрации, потом велел рабочим идти в цехи и проводить его, Фельднера. Несколько рабочих сопроводили идущего впереди кричащего немца вместе с переводчицей в конторку механического цеха, где находился Бараков. Напыжившись и так высоко, как это только было доступно ему, задирая голову в фуражке с вздернутой тульей, Фельднер толкнул дверь пухлым кулачком и вошел в конторку. Женщина вошла вслед за ним и притворила дверь. Рабочие остановились возле послушать.

Сначала слышен был только крик Фельднера, будто несколько немцев ссорились. Ждали, что переводчица вот-вот скажет, о чем он все-таки кричит, но, к всеобщему удивлению, Бараков сам заговорил по-немецки. Он говорил вежливо, спокойно и, насколько могли об этом судить рабочие возле конторки, свободно обращаясь с чужим языком.

То ли потому, что Бараков говорил по-немецки, то ли смысл того, что он говорил, удовлетворял немца, но Фельднер постепенно переходил на все менее громкие интонации крика. И вдруг совершилось чудо: немец замолчал. Замолчал и Бараков. Через несколько мгновений немец вскричал уже в совершенно мирном тоне. Они вышли из конторки — впереди Фельднер, за ним Бараков, сзади переводчица. Бараков, окинув рабочих холодным невеселым взглядом, сказал, что не следует расходиться, а надо ждать его, Баракова, пока он не вернется. И они в том же порядке пошли через цех к выходу, причем красивый и сильный Бараков, забегая сзади, показывал маленькому кругленькому карикатурному немцу, где удобней пройти. Ужасно было смотреть на это!

Через некоторое время Бараков уже сидел в учительской школы имени Горького, теперь кабинете начальни-

ка дирекциона № 10 господина Швейде. Фельднер и неизвестная переводчица присутствовали при разговоре, но переводчице так и не пришлось проявить свои знания в немецком языке.

Как мы уже сказали, в отличие от болтливого и экспансивного Фельднера лейтенант Швейде был не речист. От невозможности высказаться он казался даже угрюмым, хотя на самом деле он не был угрюмым, а любил все радости и наслаждения жизни. Необыкновенно тощий, он страшно много ел. Трудно было даже понять, куда вмещается все то количество пищи, которое он поглощал, и как все это проходит через его организм. Он до самозабвения любил и Mädchen и Frauen, а в нынешнем своем положении особенно russichen Mädchen und russichen Frauen. И для того чтобы заманивать в дом наименее стойких среди них, он каждый вечер устраивал в своем четырехквартирном особняке шумные вечеринки с подачей разнообразных жарких и сладких, не говоря уже о разных сортах вин. Он так и говорил поварам:

— Готовьте побольше! Kocht reichlich Essen! Чтобы russichen Frauen наелись и напились!..

И действительно, при исключительно нечленораздельном характере его речи это было единственное, чем он мог пленить russichen Frauen того сорта, какой только и мог попасть в его дом.

Неумение связывать слова в фразы породило в господине Швейде недоверчивое отношение ко всем людям, которые делали это легко. Не доверял он даже своему заместителю Фельднеру. Можно себе представить, как недоверчиво относился Швейде к людям других наций!

В этом смысле Бараков попал в самое невыгодное положение. Но, во-первых, Бараков поразил господина Швейде тем, что легко связывал слова в фразы не на русском, а на немецком языке. А во-вторых, Бараков купил Швейде лестью. Господину лейтенанту ничего уже не оставалось, как только принять ее.

— Я один из немногих оставшихся в живых представителей привилегированного класса старой России,— говорил Бараков, не сводя с господина Швейде своих немигающих глаз,— я с самого детства влюблен в германский гений, особенно в области хозяйства, собственно в области производства... Мой отец был директором

одного из крупнейших предприятий известного в старой России общества «Сименс — Шуккерт». Немецкий язык был вторым родным языком в нашей семье. Я воспитан на немецкой технической литературе. И вот теперь я буду иметь счастье работать под руководством такого выдающегося специалиста, как вы, господин Швейде. Я сделаю все, что вы мне прикажете...

Бараков вдруг увидел, что переводчица смотрит на него с удивлением, которого она даже не в силах скрыть. Черт его знает, откуда немцы выкопали эту лохматую стерву! Если она здешняя, она не может не знать, что Бараков не один из оставшихся в живых представителей привилегированного класса старой России, а потомственный и почетный представитель целой династии донецких шахтеров Бараковых. На чисто выбритой голове его выступил пот.

Пока он говорил, господин Швейде молча проделал некоторую мыслительную работу, не отразившуюся, впрочем, на его лице, потом сказал не то утвердительно, не то вопросительно:

— Вы коммунист...

Бараков махнул рукой. Это движение его руки и одновременно выражение его лица можно было истолковать так: «Какой я коммунист!» — или так: «Сами знаете, что мы все обязаны были быть здесь коммунистами». Или даже так: «Да, коммунист, но тем лучше для вас, если я иду к вам служить».

Жест этот на некоторое время удовлетворил господина Швейде. Надо было объяснить этому русскому инженеру, насколько важно пустить Центральные мастерские, чтобы с их помощью восстановить оборудование шахт. Эту сложную мысль господин Швейде построил на отрицании.

— Ничего нет. Es ist nichts da,— сказал он и мучительно посмотрел на Фельднера.

Фельднер, испытывавший неимоверные страдания оттого, что пришлось так долго молчать в присутствии начальника, автоматически выкрикнул все «нет» в подтверждение начальнической мысли:

— Механизмов нет! Транспорта нет! Инструментов нет! Леса для крепления нет! Рабочих нет! — кричал он.

Ему даже жалко было, что он не может назвать еще что-нибудь, чего «нет».

Швейде удовлетворенно кивнул головой, подумал и с трудом повторил по-русски:

— Нитшево нет,— also, уголь нет!

Он откинулся на спинку стула и посмотрел сначала на Баракова, потом на Фельднера. Поняв этот взгляд, как сигнал к действию, Фельднер закричал о том, чего же ждет, наконец, от Баракова «Восточное общество».

Бараков с трудом выбрал в этом сплошном крике паузу-щелку, в которую ему удалось всунуть фразу о том, что он будет делать все, что он в силах сделать.

Тут господином Швейде опять овладело чувство недоверия.

— Вы коммунист,— повторил он.

Бараков криво усмехнулся и повторил свой жест.

Вернувшись в мастерские, Бараков вывесил на воротах большое объявление о том, что он, директор Центральных мастерских дирекциона № 10, предлагает всем рабочим, служащим и инженерам вернуться на свои места и принимает на работу всех желающих по таким-то и таким-то специальностям.

Даже самые отсталые из людей, допустивших сделку со своей совестью, когда решили выйти на работу, были душевно ушиблены тем, что инженер Бараков, участник финской и Отечественной войн, добровольно согласился стать директором важнейшего для немцев предприятия. Но еще не успела просохнуть краска на объявлении, как в мастерские явился не кто иной, как Филипп Петрович Лютиков,— тот Лютиков, которого не только в мастерских, а во всей партийной организации Краснодона называли коммунистической совестью.

Он явился утром, ни от кого не таясь, чисто одетый и гладко выбритый, в белой рубашке под черным пиджаком и с праздничным галстуком. И сразу был зачислен в мастерские по старой должности — начальника механического цеха.

С началом работы в мастерских совпало появление первых листовок подпольного районного комитета партии. Листовки расклеены были на самых видных местах вместе со старыми номерами газеты «Правда». Больше-

вики не покинули маленький Краснодон на произвол судьбы, они продолжали борьбу и призывают к борьбе все население,— вот что говорили эти листовки! И многим людям, знавшим Баракова и Лютикова в лучшую пору, не раз приходило на ум: как же посмеют они потом, когда придут наши, взглянуть в чистые глаза своим товарищам?

Правда, никакой работы в мастерских по существу не было. Бараков общался все больше с немецким начальством и мало интересовался тем, что делается в мастерских. Рабочие опаздывали на работу, без дела слонялись от станка к станку, часами занимались перекуркой, собравшись где-нибудь на травке в затененном уголке двора. Лютиков, должно быть, для того, чтобы задобрить людей, поощрял отпуска в деревню и выдавал официальные бумаги, будто люди едут в командировку по делам мастерских. Рабочие занимались мелкими поделками для населения, чтобы немножно подработать. Особенно много делали зажигалок: спички повсюду вывелись, а бензин можно было добывать у немецких солдат за продукты.

Каждый день по нескольку раз забегали в мастерские офицерские денщики с консервными банками, наполненными сливочным маслом или медом, и требовали запаять банки, чтобы отправить в Германию.

Кое-кто из рабочих пытался иногда поговорить с Лютиковым,— до Баракова и доступа не было,— как же он все-таки пошел работать на немцев и как же все-таки жить дальше? Начинали издалека и все крутились возле да около. Но Филипп Петрович, сразу вскрывая маневр, говорил строго:

— Ничего, мы на них поработаем...

Или грубил:

— А это, брат, не твоего ума дело. Ты сам-то на работу стал? Стал. Ты мне начальник или я тебе? Я тебе... Выходит, спрашивать я с тебя буду, а не ты с меня. Что я тебе прикажу, то ты и будешь делать. Понял?

Каждое утро Филипп Петрович медленной, тяжелой походкой страдающего одышкой пожилого человека шел на работу через весь город, а вечером возвращался с работы. И никому не могло бы прийти в голову, с ка-

кой энергией и быстротой и в то же время расчетливостью развертывал Филипп Петрович ту главную свою деятельность, которая принесла впоследствии маленькому угольному городку Краснодону мировую славу.

Что пережил он, когда в самом начале своей деятельности вдруг узнал, что один из ближайших помощников его, Матвей Шульга, необъяснимо исчез?

Филиппу Петровичу, как секретарю подпольного райкома, были известны все квартиры укрытия и места явок в городе и районе. Знал он и квартиры Ивана Кондратовича и Игната Фомина, которыми предположительно должен был воспользоваться Шульга. Но Филипп Петрович не имел права послать на эти квартиры ни одного из связных райкома, тем более Полину Георгиевну. В том случае, если Шульга был выдан немцам на одной из этих квартир, хозяевам ее достаточно было бы только увидеть связную, чтобы по ее следам обнаружить и Лютикова и других членов райкома.

Если бы Шульга был в порядке, он давно справился бы на главной явочной квартире, пора ли ему выходить на работу в мастерские. Он не должен был даже заходить в эту квартиру, а только пройти мимо нее. В тот самый день, когда Полина Георгиевна передала на эту квартиру распоряжение Филиппа Петровича, тогда же был выставлен на подоконник первого от входной двери окна горшок с геранью. Но Евдоким Остапчук — он же Шульга — на работу не вышел.

Прошло довольно много времени, пока Филипп Петрович, собиравший все сведения о предателях, поступивших на службу в немецкую полицию, узнал, кто такой Игнат Фомин. Должно быть, Фомин и предал Шульгу. Но как это случилось и какова дальнейшая судьба Матвея Костиевича?

В дни эвакуации районный комитет партии по указанию Проценко закопал в парке шрифты районной типографии, и Лютикову в последний момент был передан план с точным указанием места, где они закопаны. Лютиков очень беспокоился, что шрифты могут быть найдены немецкими зенитчиками и солдатами автопарка. Во что бы то ни стало шрифты надо было найти и извлечь под носом у немецких часовых. Кто мог это сделать?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В первую военную зиму, после смерти отца, Володя Осьмухин, вместо того чтобы учиться в последнем, десятом, классе школы имени Ворошилова, работал слесарем в механическом цехе мастерских треста «Краснодонуголь». Он работал под руководством Лютикова, который был близок с семьей его матери, семьей Рыбаловых, и хорошо знал Володю. Володя работал в цехе до того дня, как его свезли в больницу с приступом аппендицита.

С приходом немцев Володя, разумеется, не собирался вернуться в цех. Но после того как вышел приказ Баракова и пошел слух, что всех уклонившихся угонят в Германию, а особенно после того, как стал на работу Филипп Петрович, между Володей и лучшим его другом Толей Орловым начались раздиравшие душу разговоры — как поступить.

Как и для всех советских людей, вопрос о том, выходить или не выходить на работу при власти немцев, был для Володи и Толи одним из самых трудных вопросов совести. Стать на работу — это был самый легкий способ получить хоть что-нибудь для того, чтобы жить и одновременно избежать репрессий, которые обрушивались на советского человека, отказавшегося работать на немцев. Мало того,— опыт многих людей показывал, что можно и не работать, а только делать вид, что работаешь. Но, как и все советские люди, всем своим воспитанием Володя и Толя были морально подготовлены прежде всего к тому, что на врага нельзя работать ни много, ни мало, наоборот — с его приходом надо бросать работу, надо бороться с врагом всеми способами, идти в подполье, в партизаны. Но где они, эти подпольщики и партизаны? Как их найти? А пока они не найдены, как и чем жить все это время?

И Володя, уже начавший ходить после болезни, и Толя, валяясь оба где-нибудь в степи на солнышке, только и говорили об этом главном вопросе их жизни,— что же они должны теперь делать?

Однажды под вечер на квартиру Осьмухиных пришел сам Филипп Петрович Лютиков. Он пришел, когда дом был полон немецких солдат — не тех, с бравым ефрейтором во главе, который так добивался Люси, а

других или уже третьих: Осьмухины жили в районе, через который катился главный поток немецких войск. Филипп Петрович взошел на крыльцо тяжелой, медленной поступью, как человек с положением, снял кепку, вежливо поздоровался с солдатом на кухне и постучал в комнату, где по-прежнему жили втроем Елизавета Алексеевна, Люся и Володя.

— Филипп Петрович! К нам?..— Елизавета Алексеевна порывисто бросилась к нему и взяла его за обе руки своими горячими сухими руками.

Елизавета Алексеевна принадлежала к тем людям в Краснодоне, которые не осуждали Филиппа Петровича за то, что он вернулся на работу в мастерские. Она так хорошо знала Лютикова, что даже не считала нужным дознаваться до причин этого его поступка. Если Филипп Петрович так поступил, значит иного выхода не было, а может быть, так надо было.

Филипп Петрович был первый близкий человек, который навестил Осьмухиных со дня прихода немцев, и вся радость видеть его сказалась в этом порывистом движении Елизаветы Алексеевны. Он понял это и внутренне был благодарен ей.

— Пришел вытащить сына вашего на работу,— сказал он с обычным строгим выражением лица.— Вы с Люсей посидите с нами для порядка, а потом выйдете вроде по делу, а мы с ним малость потолкуем...— И он улыбнулся всем троим, и лицо его сразу помягчело.

С того момента, как он вошел, Володя глаз с него не сводил. В разговорах с Толей Володя уже не раз высказывал догадку, что Лютиков не по вынужденной необходимости, тем более не из трусости, вернулся на работу в мастерские,— не такой это был человек. Должно быть, у него были соображения более глубокие, и, как знать,— может быть, соображения эти не так уж далеки от тех, что не раз возникали и в головах Володи и Толи. Во всяком случае это был человек, с которым можно было смело поделиться своими намерениями.

Володя заговорил первый, едва Елизавета Алексеевна и Люся вышли из комнаты:

— На работу! Вы сказали — на работу!.. А мне все равно — буду ли я работать, или нет: и в том и

в другом случае цель моя одна. Цель моя — борьба, борьба беспощадная. Если я пойду на работу, то только для того, чтобы замаскироваться,— сказал Володя с некоторым даже вызовом.

Юношеская его смелость, наивность, горячность, едва сдерживаемая присутствием немецких солдат за дверью, вызвали в душе Филиппа Петровича не опасение за юношу, не досаду, не усмешку, нет,— улыбку. Но такой уж он был человек, что чувства его не отразились на его лице, он и бровью не повел.

— Очень хорошо,— сказал он.— Ты это каждому скажи, кто ни зайдет, вот как я. А еще лучше — выйди на улицу и каждому встречному-поперечному: «Иду, мол, на беспощадную борьбу, желаю замаскироваться, помогите!»

Володя вспыхнул.

— Вы же не встречный-поперечный,— сказал он, внезапно помрачнев.

— Я-то, может быть, и нет, но ты этого в нонешнее время знать не можешь,— сказал Лютиков.

Володя понял, что Филипп Петрович начнет сейчас учить его. И Лютиков действительно стал учить Володю.

— Доверчивость в таких делах может жизни стоить,— времена изменились. К тому же сказано: и стены имеют уши. И не думай. что они такие простаки, они хитры по-своему.— И Лютиков чуть кивнул головой в сторону двери.— Ну, на твое счастье, я человек известный, имею задание вернуть всех на работу в мастерские, за тем и пришел к тебе. Ты это и матери и сестре скажи. И этим скажи,— и он снова кивнул в сторону двери.— Мы на них поработаем...— сказал он и поднял свои строгие глаза на Володю.

Володя сразу все понял,— он даже побледнел.

— Кто из своих ребят, на кого можно положиться, остался в городе? — спросил Филипп Петрович.

Володя назвал тех, кого он знал лично: Толю Орлова, Жору Арутюнянца и Ваню Земнухова.

— И еще найдутся,— сказал он.

— Установи связь сначала с теми, на кого, считаешь, можно вполне положиться, да не со всеми вместе, а с каждым порознь. Если убедишься, что люди свои...

— Они свои, Филипп Петрович...

— Если убедишься, что люди свои,— продолжал Лютиков, словно не расслышав замечания Володи,— аккуратно намекни, что есть, мол, возможности, согласны ли...

— Они согласны, только каждый спросит: а что я должен делать?

— Отвечай: получишь задание. А тебе я и сейчас задание дам...— И Лютиков рассказал Володе о закопанном в парке шрифте и точно указал место.— Разведай, можно ли выкопать. Нельзя,— доложишь мне.

Володя задумался. Филипп Петрович не торопил его с ответом: он понимал, что Володя не колеблется, а просто обдумывает дело, как человек серьезный. Но Володя думал не о том, что предложил ему сейчас Лютиков.

— Я буду с вами совсем откровенным,— сказал Володя.— Вы сказали, что я должен поговорить с ребятами поодиночке,— это я понимаю. Но и в разговоре поодиночке я должен дать им понять, от кого говорю... Одно дело, если я буду действовать, как единоличник, другое, если я скажу, что я получил задание от человека, связанного с организацией. Имени вашего я не назову, да никто из ребят и не спросит,— разве они не понимают? — Володя сказал это, желая предупредить возражения Филиппа Петровича, но Лютиков ничего не возразил, он только слушал Володю.— Конечно, если бы я поговорил с ребятами просто как Осьмухин, они тоже поверили бы мне... Но ведь они все равно стали бы искать связей помимо меня с подпольной организацией,— ведь я им не указ, там есть ребята постарше и...— Володя хотел сказать: «поумнее меня».— Вообще среди ребят есть такие, кто больше интересуется политикой и лучше в ней разбирается. Поэтому лучше сказать ребятам, что я не сам от себя действую, а от организации. Это — раз,— сказал Володя.— Два: чтобы выполнить ваше задание насчет типографии, нужно несколько ребят. А этим и подавно надо объяснить, что это серьезное задание и откуда оно идет. И тут у меня тоже вопрос к вам. У меня есть три друга: один старый друг — Толя Орлов, других два новых, но это ребята и раньше хорошо мне известные и в беде проверенные, им я тоже верю, как самому себе,— это Ваня

Земнухов и Жора Арутюнянц. Могу я их собрать вместе, посоветоваться?

Лютиков некоторое время помолчал, глядя на свои сапоги, потом поднял глаза на Володю и чуть улыбнулся, но лицо его снова приняло строгое выражение.

— Хорошо, собери этих ребят и прямо скажи, от кого действуешь — без фамилии, конечно.

Володя, едва сдерживая волнение, овладевшее им, только головой кивнул.

— Ты очень разумно рассудил: надо дать понять каждому своему человеку, что за всеми нашими делами партия стоит,— продолжал Филипп Петрович, рассуждая уже как бы сам с собой. Умные, строгие глаза его прямо, спокойно глядели в самую душу Володи.— А потом ты правильно понял, что при нашей партийной организации хорошо иметь свою молодежную группу. Я с этим, собственно, и шел к тебе. И если уж мы об этом договорились, один вам совет, а если хочешь,— приказ: никаких действий, не посоветовавшись со мной, не предпринимайте,— можете и себя погубить и нас подвести. Я ведь и сам единолично не действую, а советуюсь. Советуюсь и с товарищами своими и с людьми, что поставлены над нами,— есть такие люди у нас, в Ворошиловградской области. Ты это своим трем дружкам расскажи, и вы тоже советуйтесь между собой. Теперь, выходит, все,— Лютиков улыбнулся и встал.— Завтра приходи на работу.

— Тогда уж послезавтра,— с улыбкой сказал Володя.— А Толю Орлова можно с собой привести?

— Хотел одного сагитировать на немцев работать, а получил сразу двоих,— усмехнулся Лютиков.— Веди, чего же лучше!

Филипп Петрович вышел на кухню к Елизавете Алексеевне и Люсе и к немецкому солдату и еще пошутил с ними и скоро ушел. Володя понимал, что в тайну, к которой он был теперь приобщен, нельзя посвящать родных. Но ему трудно было скрыть возбуждение, овладевшее им, от любящих глаз матери и сестры.

Володя начал притворно зевать, сказал, что ему завтра рано вставать и вообще очень спать хочется. Елизавета Алексеевна ни о чем его не спросила, и это было очень дурным предзнаменованием: Володя подо-

зревал, что мать догадывается о том, что Филипп Петрович говорил с ним не только о работе в мастерских. А Люся прямо спросила:

— О чем вы так долго?

— О чем, о чем! — рассердился Володя.— Сама знаешь, о чем.

— И ты пойдешь?

— А что же делать?

— Работать на немцев!..

В голосе Люси было такое удивление и негодование, что Володя даже не нашелся, что ответить.

— Мы на них поработаем...— угрюмо сказал он словами Филиппа Петровича и, не глядя на Люсю, начал раздеваться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Жора Арутюнянц, вернувшись из неудачной эвакуации, сразу вступил в откровенные дружеские отношения с Володей и Толей Орловым. Только с Люсей Осьмухиной отношения у него сложились напряженно-официальные. Жора жил в маленьком домике на выселках, немцы не жаловали этих мест, и друзья большей частью встречались у Жоры Арутюнянца.

На другой день после того, как Володя получил от Лютикова задание разведать, в каком положении находятся шрифты, все трое сошлись у Жоры Арутюнянца, у которого была совсем крохотная, такая, что едва умещались кровать и письменный столик, но все же отдельная комнатка. И здесь их застал вернувшийся с хутора Нижне-Александровского Ваня Земнухов. Ваня еще больше похудел, одежда его износилась, он был весь в пыли,— он еще не заходил домой. Но он был в очень приподнятом, деятельном настроении.

— Есть у тебя возможность еще раз повидаться с этим человеком? — спросил он Володю.

— А зачем?

— А затем, что надо попросить у него разрешения сразу же привлечь в нашу группу Олега Кошевого.

— Он сказал, что в нашу группу не надо пока что никого привлекать, а надо только подобрать ребят подходящих.

— Я и говорю, что надо спросить разрешения,— сказал Ваня.— Не мог ли бы ты встретиться с этим человеком сегодня,— скажем, до вечера?

— Не понимаю, зачем такая спешка? — сказал Володя, несколько обиженный.

— А вот зачем... Во-первых, Олег — настоящий парень, во-вторых, он мой лучший друг,— значит, парень надежный. В-третьих, он лучше Жоры знает ребят из школы Горького с седьмого по девятый, а ведь их-то больше всего осталось в городе...

Жора быстро вскинул на Володю свои черные огненные глаза и сказал:

— Вернувшись после неудачной эвакуации, я дал тебе полную характеристику Олега. Следует также учесть, что он живет возле самого парка и лучше всех сможет помочь в выполнении полученного нами задания...

Благодаря особенности Жоры облекать мысль в правильные фразы, она приобретала характер настолько официальный, что походила уже на директиву. Володя заколебался. Но все же он не мог уступить, помня, о чем предупреждал его Лютиков.

— Хорошо,— сказал Ваня,— я могу привести тебе еще один довод, но только с глазу на глаз. Вы не обидитесь? — Он с улыбкой, одновременно мужественной и застенчивой, обернулся к Жоре и Толе Орлову и поправил очки на носу.

— В условиях конспирации не может и не должно быть никаких личных обид, над всем должна преобладать целесообразность,— сказал Жора и вышел из комнаты вместе с Толей Орловым.

— Я докажу, что доверяю тебе больше, чем ты мне,— сказал Ваня с улыбкой, которая утратила выражение застенчивости и была теперь только мужественной улыбкой человека решительного и смелого, каким на деле и был Ваня Земнухов.— Тебе Жора Арутюнянц рассказывал, что вместе с нами вернулся Валько?

— Рассказывал.

— А ты не сказал об этом тому товарищу?

— Нет...

— Так вот, имей в виду, что Олег связан с Валько, а Валько ищет связи с большевистским подпольем...

Ты расскажи это тому товарищу. И заодно нашу просьбу передай. Скажи, что мы за Олега ручаемся...

Так судьба судила Володе явиться в Центральные мастерские еще раньше, чем он обещал Лютикову.

А пока Володя отсутствовал, Ваня отрядил Толю «Гром гремит» разузнать сторонкой, живут ли у Кошевого немцы и можно ли проникнуть к нему.

Подойдя к домику Кошевых со стороны Садовой улицы, «Гром гремит» увидел, как из домика, возле которого стоял немецкий часовой, в слезах выбежала красивая, с пушистыми черными волосами, босая женщина в поношенном платье и скрылась в дровяном сарайчике, откуда послышались ее плач и звуки мужского голоса, успокаивавшего ее. Худая загорелая старуха выскочила в сени с ведром в жилистой руке, зачерпнула воды прямо из кадки и быстро ушла обратно в горницы. В доме происходила какая-то суета, слышался молодой недовольный барственный голос немца и словно бы извиняющиеся голоса женщин. Толя не мог больше задерживаться, чтобы не обратить на себя внимания, и, обогнув возле парка весь этот квартал, подошел к домику со стороны улицы, параллельной Садовой. Но отсюда ему уже ничего не было видно и слышно. Воспользовавшись тем, что в соседнем дворе, как и во дворе Кошевых, были калитки на обе улицы, Толя прошел огородом этого соседнего двора и с минуту постоял у задней стенки сарайчика, выходящей на огород.

В сарайчике слышны были теперь три женских голоса и один мужской. Молодой женский голос, плача, говорил:

— Хоть убьют, не вернусь до дому!..

А мужской хмуро уговаривал:

— Ото дело! А Олега куда? А ребенок?..

«Продажная тварь!.. За пол-литра прованского! Продажная тварь!.. Ты еще обо мне услышишь, да, ты услышишь обо мне, ты пожалеешь обо мне!» — говорил в это время Олег, возвращавшийся от Лены Позднышевой, терзаясь вспышками ревности и муками самолюбия. Солнце, склонявшееся к вечеру, красное, жаркое, било ему в глаза, и в красных кругах, нанизывавшихся

один на другой, наплывали снова и снова тонкое смуглое личико Лены и это тяжелое, темного рисунка, платье на ней, и серые немцы у пианино. Он все повторял: «Продажная тварь!.. Продажная тварь!..» И задыхался от горя, почти детского.

Он застал в сарае Марину. Она сидела, закрыв лицо руками, склонив голову, окутанную облаком пушистых черных волос. Родные обступили ее.

Длинноногий адъютант в отсутствие генерала задумал освежиться холодным обтиранием и приказал Марине принести в комнату таз и ведро воды. Когда Марина с тазом и ведром воды отворила дверь в столовую, адъютант стоял перед ней совершенно голый. Он был длинный, белый — «як глиста», плача, рассказывала Марина. Он стоял в дальнем углу возле дивана, и Марина не сразу заметила его. Вдруг он оказался почти рядом с ней. Он смотрел на нее с любопытством, презрительно и нагло. И ею овладели такой испуг и отвращение, что она выронила таз и ведро с водою. Ведро опрокинулось, и вода разлилась по полу. А Марина убежала в сарай.

Все ожидали теперь последствий неосторожного поступка Марины.

— Ну что ты плачешь? — грубо сказал Олег.— Ты думаешь, он хотел что-нибудь сделать с тобой? Будь он здесь главный, он бы не пощадил тебя. Еще и денщика позвал бы на помощь. А тут он действительно просто хотел умыться. А тебя встретил голым, потому что ему даже в голову не пришло, что тебя можно стесняться. Ведь мы же для этих скотов хуже дикарей. Еще скажи спасибо, что они не мочатся и не испражняются на наших глазах, как это делают эсэсовские солдаты и офицеры на постое! Они мочатся и испражняются при наших людях и считают это в порядке вещей. У, как я раскусил эту чванливую, грязную фашистскую породу,— нет, они не скоты, они хуже, они — выродки! — с ожесточением говорил он.— И то, что ты плачешь и что все мы здесь столпились,— ах, какое событие! — это обидно и унизительно! Мы должны презирать этих выродков, если мы не можем пока их бить и уничтожать, да, да, презирать, а не унижаться до плача, до бабьих пересудов! Они еще свое получат! — говорил Олег.

Раздраженный, он вышел из сарая. И как же отвратительно показалось ему снова и снова видеть эти голые палисадники, всю улицу от парка до переезда, точно обнаженную, и немецких солдат на ней.

Елена Николаевна вышла вслед за ним.

— Я взволновалась, так долго не было тебя. Что Леночка? — спросила она, внимательно и испытующе глядя в сумрачное лицо сына.

У Олега дрогнули губы, как у большого ребенка.

— Продажная тварь! Никогда больше не говори мне о ней...

И, как это всегда бывало, он, незаметно для себя, рассказал матери все — и то, что он увидел на квартире у Лены, и как он поступил.

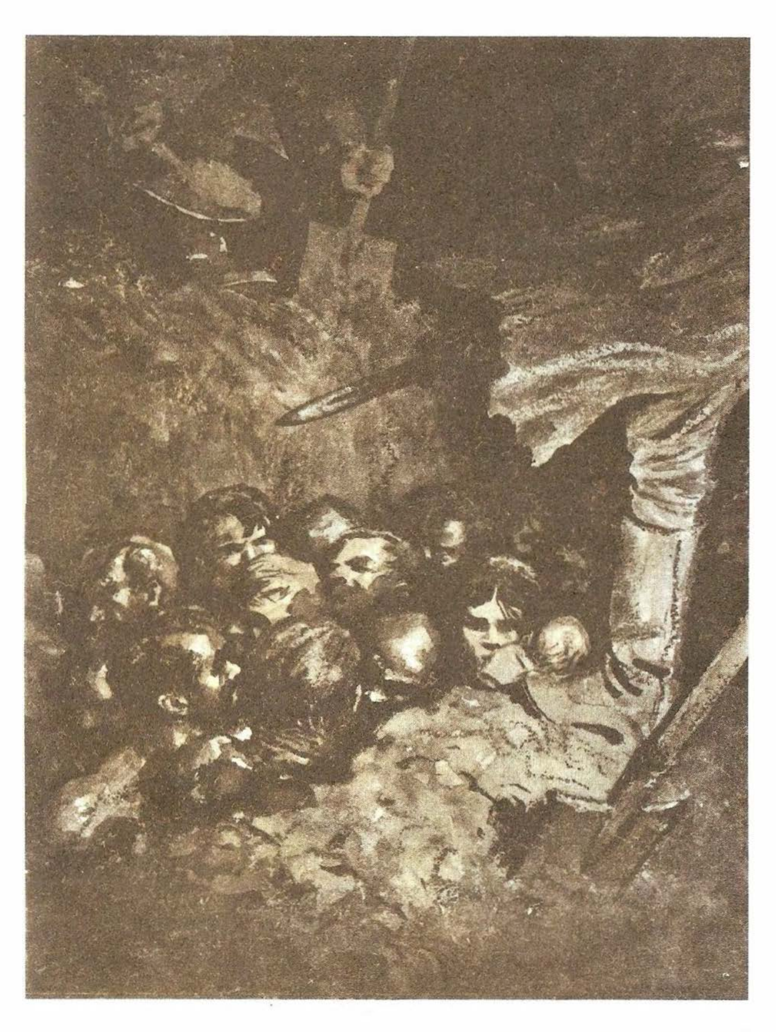
— А что же, в самом деле!..— воскликнул он.

— Ты не жалей о ней,— мягко сказала мать.— Ты потому так волнуешься, что ты о ней жалеешь, а ты не жалей. Если она могла так поступить, значит, она всегда была не такая, как... мы думали.— Она хотела сказать: «как ты думал», но решила сказать: «как мы думали».— Но это говорит дурно о ней, а не о нас...

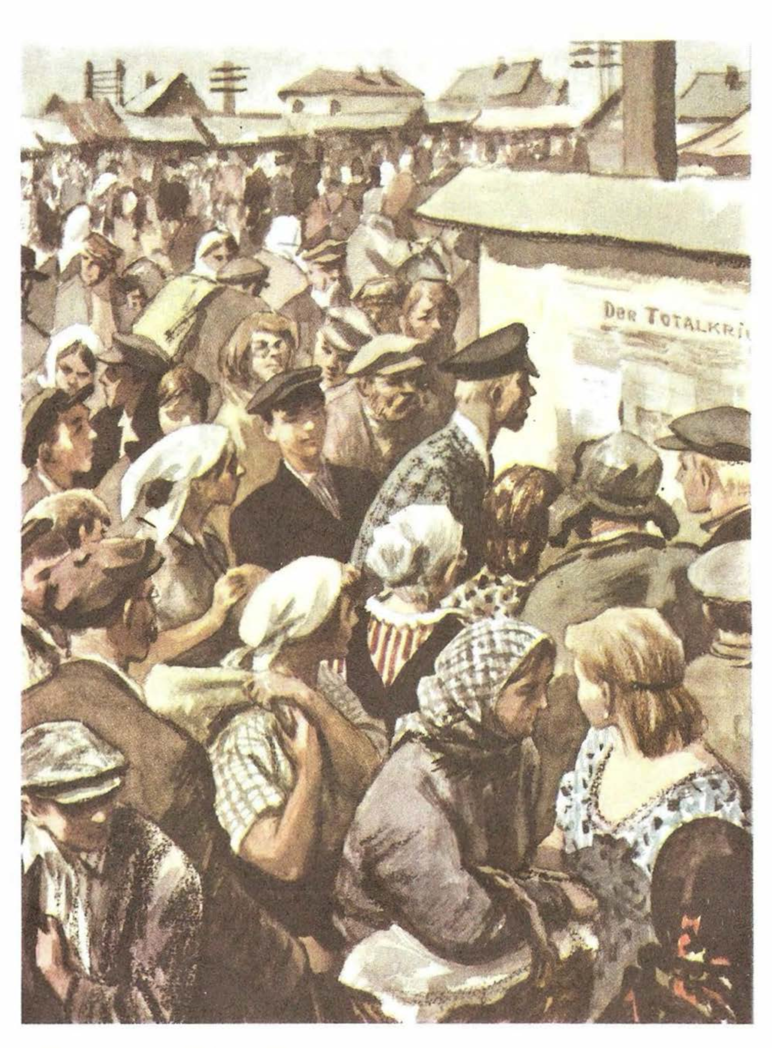
Большая степная луна по-летнему низко висела на юге. Николай Николаевич и Олег не ложились и молча сидели в сарае у распахнутой дверцы, глядя в небо.

Олег расширенными глазами смотрел на эту висевшую в синем вечернем небе полную луну, окруженную точно заревом, отсвет которого падал на немецкого часового у крыльца и на листья тыкв в огороде,— Олег смотрел на луну и точно видел ее впервые. Он привык к жизни в маленьком степном городе, где все было открыто и все было известно, что происходит на земле и на небе. И вот все уже шло мимо него: и как народился месяц молодик, и как развивался, и как взошла, наконец, эта полная луна на синее-синее небо. И кто знает, вернется ли когда-нибудь в жизни эта счастливая пора беззаветного, полного слияния со всем, что происходит в мире простого, доброго и чудесного?

Генерал барон фон Венцель и адъютант, хрустя мундирами, молча прошли в дом. Все спало вокруг. Только часовой ходил возле дома. Николай Николаевич посидел и тоже лег спать. А Олег с расширенными детскими глазами все сидел у распахнутой дверцы, весь облитый лунным сиянием.



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Вдруг позади себя, за дощатой стенкой сарая, выходившей на соседний двор, он услышал шорох.

— Олег... Ты спишь? Проснись,— шептал кто-то, прижавшись к щели.

Олег в одно мгновение очутился у этой стенки.

— Кто это? — прошептал он.

— Это я... Ваня... У тебя дверца открыта?

— Я не один. И часовой ходит.

— Я тоже не один. Можешь вылезти к нам?

— Могу...

Олег выждал, когда часовой отошел к калитке на другую улицу, и, прижимаясь к стенке, снаружи обошел сарайчик. Обок соседнего огорода, в полыни, на которую падала густая тень от сарайчика, лежали веером на брюхе трое — Ваня Земнухов, Жора Арутюнянц и третий, такой же, как они, долговязый парень, в кепке, затемнявшей его лицо.

— Тьфу, черт! Такая светлая ночь, едва пробрались к тебе! — сказал Жора, сверкнув глазами и зубами.— Володя Осьмухин, из школы Ворошилова. Можешь быть абсолютно уверен в нем, как во мне,— сказал Жора, убежденный в том, что дает наивысшую аттестацию, какую только можно дать товарищу.

Олег лег между ним и Ваней.

— Признаться, совсем не ждал тебя в этот запретный час,— шепнул Олег Ване с широкой улыбкой.

— Если их правила соблюдать, с тоски сдохнешь,— сказал Ваня с усмешкой.

— А, ты ж мой хлопчик гарный! — засмеялся Кошевой и большой своей рукой обнял Ваню за плечи.— Устроил их? — шепнул он Ване в самое ухо.

— Смогу я до света посидеть в твоем сарае? — спросил Ваня.— Я ведь еще дома не был, у нас, оказывается, немцы стоят...

— Я же тебе сказал, что можно у нас ночевать! — возмущенно сказал Жора.

— До вас больно далеко... Это для тебя с Володей ночь светлая, а я погибну навеки в каком-нибудь сыром шурфе!

Олег понял, что Ваня хочет поговорить с ним наедине.

— До света можно,— сказал он, пожимая Ване плечо.

— У нас новость исключительная,— чуть слышно, шепотом сказал Ваня.— Володя установил связь с одним подпольщиком и уже получил задание... Да ты сам расскажи.

Ничто так не возбудило бы деятельной натуры Олега, как это неожиданное появление ребят ночью и особенно то, что рассказал ему Володя Осьмухин. На мгновение ему показалось даже, что это не кто иной, как Валько, мог дать Осьмухину такое задание. И Олег, почти припав лицом к лицу Володи и глядя в его узкие темные глаза, стал допытываться:

— Как ты нашел его? Кто он?

— Называть его я не имею права,— немного смутившись, сказал Володя.— Тебе известно расположение немцев в парке?

— Нет...

— Мы с Жорой хотим сейчас разведку сделать, да вдвоем, конечно, трудно. Толя Орлов просился, да больно кашляет,— усмехнулся Володя.

Олег некоторое время молча смотрел мимо него.

— А я бы не советовал делать этого сегодня,— сказал он.— Всех, кто подходит к парку, видно, а что делается в парке, не видно. Проще все это проделать днем, без всяких фокусов.

Парк был огорожен сквозным забором, и по всем четырем направлениям к парку прилегали улицы. И Олег, с присущей ему практической сметкой, предложил завтра же направить по каждой улице в разное время по одному пешеходу, на обязанности которого будет только запомнить расположение крайних к улице зениток, блиндажей и автомашин.

То возбуждение деятельности, с которым ребята пришли к Олегу, несколько упало. Но нельзя было не согласиться с простыми доводами Олега.

Случалось ли тебе, читатель, плутать в глухом лесу в ночи, или одинокому попасть на чужбину, или встретить опасность один на один, или впасть в беду, такую, что даже близкие люди отвернулись от тебя, или в поисках нового, не известного людям, долго жить непонятным и непризнанным всеми? Если случалась тебе одна из этих бед или трудностей жизни, ты поймешь, какая светлая мужественная радость, какое невыразимое сердечное чувство благодарности, какой прилив сил

необоримых охватывают душу человека, когда он встретит друга, чье слово, чья верность, чье мужество и преданность остались неизменными! Ты уже не один на свете, с тобою рядом бьется сердце человека!.. Именно этот светлый поток чувств, их высокое стеснение в груди испытал Олег, когда, оставшись наедине с Ваней, при свете степной луны, передвинувшейся по небу, увидел спокойное, насмешливое, вдохновенное лицо друга с этими близорукими глазами, светившимися добротой и силой.

— Ваня! — Олег обхватил его большими руками, и прижал к груди, и засмеялся тихим, счастливым смехом.— Наконец-то я вижу тебя! Что ты так долго? Я изныл б-без тебя! Ах ты, ч-черт этакий! — говорил Олег, заикаясь и снова прижимая его к груди.

— Пусти, ты ребра мне поломал,— я ведь не девушка,— тихо смеялся Ваня, освобождаясь от его объятий.

— Не думал я, что она т-тебя на цепку возьмет! — лукаво говорил Олег.

— Как тебе не совестно, право,— смутился Ваня.— Разве я мог после всего, что случилось, покинуть их, не устроив, не убедившись, что им не угрожает опасность? А потом ведь это необыкновенная девушка. Какой душевной ясности, какой широты взглядов! — с увлечением говорил Ваня.

Действительно, за те несколько дней, что Ваня провел в Нижне-Александровском, он успел изложить Клаве все, что он продумал, прочувствовал и написал в стихах за девятнадцать лет своей жизни. И Клава, очень добрая девушка, влюбленная в Ваню, молча и терпеливо слушала его. И когда он что-нибудь спрашивал, она охотно кивала головой, во всем соглашаясь с ним. Не было ничего удивительного в том, что чем больше Ваня проводил времени с Клавой, тем более широкими казались ему ее взгляды.

— Вижу, вижу, т-ты пленен! — заикаясь говорил Олег, глядя на друга смеющимися глазами.— Ты не серчай,— вдруг серьезно скзал он, заметив, что этот тон его неприятен Ване,— я ведь так, озорую, а я рад твоему счастью. Да, я рад,— сказал Олег с чувством, и на лбу его собрались продольные морщины, и он несколько мгновений смотрел мимо Вани.

— Скажи откровенно, это не Валько дал задание Осьмухину? — спросил он через некоторое время.

— Нет. Этот человек просил Володю узнать через тебя, как найти Валько. Я из-за этого, собственно, и остался у тебя.

— В том-то и беда, что я не знаю. Я боюсь за него,— сказал Олег.— Давай, однако, пробираться в сарай...

Они прикрыли за собой дверцу и, не раздеваясь, пристроились оба на узком топчане и долго еще шептались в темноте. Казалось, нет неподалеку от них немецкого часового и нет вокруг никаких немцев. В который уже раз они говорили:

— Ну, хватит, хватит, надо трошки поспать...

И снова начинали шептаться.

Олег проснулся оттого, что дядя Коля будил его. Земнухова уже не было.

— Ты что ж одетым спишь? — спросил дядя Коля с чуть заметной усмешкой в глазах и губах.

— Сон свалил богатыря...— отшучивался Олег, потягиваясь.

— То-то, богатыря! Слышал я все ваше заседание в бурьяне под сараем. И что вы с Земнуховым трепали...

— Т-ты слышал? — Олег с заспанно-растерянным выражением лица сел на топчане.— Что ж ты нам сигнала не подал, что не спишь?

— Чтоб не мешать...

— Не ждал я от тебя!

— Ты еще многого от меня не ждешь,— говорил Николай Николаевич своим медлительным голосом.— Знаешь ли ты, например, что у меня есть радиоприемник, прямо под немцами, под половицей.

Олег до того растерялся, что лицо его приняло глупое выражение.

— К-как? Ты в свое время не сдал его?

— Не сдал.

— Выходит, утаил от советской власти?

— Утаил.

— Ну, Коля, д-действительно... Не знал я, что ты такой лукавец,— сказал Олег, не зная, то ли смеяться, то ли обижаться.

— Во-первых, этим приемником меня премировали за хорошую работу,— говорил дядя Коля,— во-вторых, он заграничный, семиламповый...

— Их же обещали вернуть!

— Обещали. И теперь он был бы у немцев, а он — у нас под половицей. И я, когда ночью слушал тебя, понял, что он очень нам пригодится. Выходит, я кругом прав,— без улыбки говорил дядя Коля.

— Все ж таки молодец ты, дядя Коля! Давай умоемся да сгоняем партию в шахматы до завтрака... Власть у нас немецкая, и работать нам все равно не на кого! — в отличном настроении сказал Олег.

И в это время оба они услышали, как девичий звонкий голос громко, на весь двор спросил:

— Послушай-ка ты, балда: Олег Кошевой не в этом доме живет?

— Was sagst du? Ich verstehe nicht [1],— отвечал часовой у крыльца.

— Видала ты, Ниночка, такого обалдуя? Ни черта по-русски не понимает. Тогда пропусти нас или позови какого-нибудь настоящего русского человека,— говорил звонкий девичий голос.

Дядя Коля и Олег, переглянувшись, высунули из сарая головы.

Перед немецким часовым, немного даже растерявшимся, у самого крыльца стояли две девушки. Та из них, что разговаривала с часовым, была такой яркой внешности, что и Олег и Николай Николаевич обратили внимание прежде всего на нее. Это впечатление яркости шло от ее необыкновенно броского, пестрого платья: по небесно-голубому крепдешину густо запущены были какие-то красные вишенки, зеленые горошки и еще блестки чего-то желтого и лилового. Утреннее солнце блестело в ее волосах, уложенных спереди золотистым валом и ниспадавших на шею и плечи тонкими и, должно быть, тщательно продуманными между двух зеркал кудрями. А яркое платье так ловко обхватывало ее талию и так легко, воздушно облегало ее стройные полные ноги в телесного цвета чулках и в кремовых изящных туфельках на высоких каблуках, что от всей девушки исходило ощущение чего-то необыкновенно естественного, подвижного, легкого, воздушного.

В тот момент, когда Олег и дядя Коля выглянули из сарайчика, девушка сделала попытку взойти на

[1] Что ты говоришь? Я не понимаю *(нем.)*.

крыльцо, а часовой, стоявший сбоку крыльца с автоматом на одной руке, другой рукой преградил ей путь.

Девушка, нисколько не смутившись, небрежно хлопнула своей маленькой белой ручкой по грязной руке часового, быстро взошла на крыльцо и, обернувшись к подруге, сказала:

— Ниночка, иди, иди...

Подруга заколебалась. Часовой вскочил на крыльцо и, расставив обе руки, загородил девушке дверь. Автомат на ремне свисал с его толстой шеи. На небритом лице немца застыла улыбка самодовольно-глупая, оттого что он выполнял свой долг, и заискивающая, оттого что он понимал, что только девушка, имеющая право, может так обращаться с ним.

— Я — Кошевой, идите сюда,— сказал Олег и вышел из сарайчика.

Девушка резко обернула голову в его сторону, одно мгновение смотрела на него прищуренными голубыми глазами и почти в то же мгновение, стуча своими кремовыми каблучками, сбежала с крыльца.

Олег поджидал ее, большой, с опущенными руками, глядя ей навстречу с наивно-вопросительным, добрым выражением, будто говорил: «Вот я и есть Олег Кошевой... Только объясните мне, зачем я вам нужен: если для доброго, то пожалуйста, а если для злого, то зачем же вы меня выбрали?..» Девушка подошла к нему и некоторое время смотрела на него так, будто сличала с фотографией. Другая девушка, на которую Олег все еще не обращал внимания, подошла вслед за подругой и остановилась в сторонке.

— Правильно: Олег...— точно для самой себя, с удовлетворением подтвердила первая девушка.— Нам бы поговорить наедине,— и она чуть подмигнула Олегу голубым глазом.

Олег, заволновавшись и смутившись, пропустил обеих девушек в сарай. Девушка в ярком платье внимательно посмотрела на дядю Колю прищуренными глазами и с удивленно-вопросительным выражением перевела их на Олега.

— Можете говорить при нем так же, как и при мне,— сказал Олег.

— Нет, у нас дело любовное,— правда, Ниночка? — обернувшись к подруге, с легкой усмешкой сказала она.

Олег и дядя Коля тоже посмотрели на другую девушку. Лицо у нее было крупных черт, сильно прокаленное на солнце; руки, обнаженные до локтя, смуглые до черноты, были крупные, красивые; темные волосы необыкновенной гущины, тяжелыми завитками, как бы вылитыми из бронзы, обрамляли ее лицо, спускались на круглые сильные плечи. И в широком лице ее было одновременно выражение необычайной простоты — где-то в полных губах, в мягком подбородке, в смягченных линиях носа, очень простоватого,— и выражение силы, вызова, страсти, полета,— где-то в надбровных буграх лба, в раскрылии бровей, в глазах, широких, карих, с прямым, отважным взглядом.

Глаза Олега невольно задержались на этой девушке,— в дальнейшем разговоре он все время чувствовал ее присутствие и стал заикаться.

Выждав, когда шаги дяди Коли отдалились по двору, девушка с голубыми глазами приблизила лицо свое к Олегу и сказала:

— Я — от дяди Андрея...

— Смело вы... К-как вы часового-то! — помолчав, сказал Олег с улыбкой.

— Ничего, холуй любит, когда его бьют!..— Она засмеялась.

— А к-кто вы будете?

— Любка,— сказала девушка в ярком душистом крепдешине.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Любовь Шевцова принадлежала к той группе комсомолок и комсомольцев, которые еще прошлой осенью были выдвинуты в распоряжение партизанского штаба для использования в тылу врага.

Она заканчивала военно-фельдшерские курсы и собиралась уже отправиться на фронт, но ее перебросили на курсы радистов там же, в Ворошиловграде.

По указанию штаба, она скрыла это от родных и от товарищей и всем говорила и писала домой, что продолжает учиться на курсах военных фельдшеров. То, что ее жизнь была теперь окружена тайной, очень нравилось Любке. Она была «Любка-артистка, хитрая, как лиска», она всю жизнь играла.

Когда она была совсем маленькой девочкой, она была доктором. Она выбрасывала за окно все игрушки, а всюду ходила с сумкой с красным крестом, наполненной бинтами, марлей, ватой,— беленькая, толстенькая девочка с голубыми глазами и ямочками на щечках. Она перевязывала своего отца и мать, и всех знакомых, взрослых и детей, и всех собак и кошек.

Мальчик, старше ее, босой, спрыгнул с забора и распорол ступню стеклом от винной бутылки. Мальчик был из дальнего двора, незнакомый, и никого из взрослых не было в доме, чтобы помочь ему, а шестилетняя Любка промыла ему ногу и залила йодом и забинтовала. Мальчика звали Сережей, фамилия его была Левашов. Но он не проявил к Любке ни интереса, ни благодарности. Он больше никогда не появлялся в их дворе, потому что он вообще презирал девчонок.

А когда она начала учиться в школе, она училась так легко, весело, будто она не на самом деле училась, а играла в ученицу. Но ей уже не хотелось быть доктором, или учителем, или инженером, а хотелось быть домашней хозяйкой, и за что бы она ни бралась по дому — мыла полы или делала клецки,— все получалось у нее как-то ловчее, веселее, чем у мамы. Впрочем, она хотела быть и Чапаевым, именно Чапаевым, а не Анкой-пулеметчицей, потому что, как выяснилось, она тоже презирала девчонок. Она наводила себе чапаевские усы жженой пробкой и дралась с мальчишками до победного конца. Но когда она немножко выросла, она полюбила танцы: бальные — русские и заграничные, и народные — украинские и кавказские. К тому же у нее обнаружился хороший голос, и теперь уже было ясно, что она будет артисткой. Она выступала в клубах и под открытым небом в парке, а когда началась война, она с особенным удовольствием выступала перед военными. Но она совсем не была артисткой, она только играла в артистки, она просто не могла найти себя. В душе ее все время точно переливалось что-то многоцветное, играло, пело, а то вдруг бушевало, как огонь. Какой-то живчик не давал ей покоя; ее терзали жажда славы и страшная сила самопожертвования. Безумная отвага и чувство детского, озорного, пронзительного счастья — все звало и звало ее вперед, все выше, чтобы всегда бы-

ло что-то новое и чтобы всегда нужно было к чему-то стремиться. Теперь она бредила подвигами на фронте: она будет летчиком или военным фельдшером на худой конец,— но выяснилось, что она будет разведчицей-радисткой в тылу врага, и это, конечно, было лучше всего.

Очень смешно и странно было, что из краснодонских комсомольцев вместе с ней попал на курсы радистов тот самый Сережа Левашов, которому она в детстве оказала медицинскую помощь и который отнесся к ней тогда так пренебрежительно. Теперь она имела возможность отплатить ему, потому что он сразу в нее влюбился, а она, конечно, нет, хотя у него были красивые губы и красивые уши и вообще он был парень дельный. Ухаживать он совсем не умел, он сидел перед ней со своими широкими плечами, молчал и смотрел на нее с покорным выражением, и она могла смеяться над ним и терзать его, как хотела.

Пока она училась на курсах, не раз бывало, что то один, то другой из курсантов больше не появлялся на занятиях. Все знали, что это значит: его выпустили досрочно и забросили в тыл к немцам.

Был душный майский вечер; городской сад поник от духоты, облитый светом месяца, цвели акации, голова кружилась от их запаха. Любка, которая любила, чтобы вокруг всегда было много людей, все тащила Сергея в кино или «прошвырнуться» по Ленинской. А он говорил:

— Посмотри, как хорошо кругом. Неужто тебе не хорошо? — И глаза его с непонятной силой светились в полутьме аллеи.

Они делали еще и еще круги по саду, и Сергей очень надоел Любке своей молчаливостью и тем, что не слушался ее.

А в это время в городской сад со смехом и визгом ворвалась компания ребят и дивчат. Среди них оказался один с курсов, ворошиловградец Борька Дубинский, который тоже был неравнодушен к Любке и всегда смешил ее своей трепотней «с точки зрения трамвайного движения».

Она закричала:

— Борька!

Он сразу узнал ее по голосу и подбежал к ней и к Сергею и сразу заговорил так, что его уже было трудно остановить.

— С кем это ты? — спросила Любка.

— Это наши дивчата и ребята с типографии. Познакомить?

— Конечно! — сказала Любка.

Они тут же познакомились, и Любка всех потащила на Ленинскую. А Сергей сказал, что он не может. Любка подумала, что он обиделся, и нарочно, чтобы он не заносился, подхватила под руку Борьку Дубинского, и они вместе, выделывая в четыре ноги невозможные вензеля, выбежали из парка, только платье ее мелькнуло среди деревьев.

Утром она не встретила Сергея за завтраком в общежитии, его не было и на занятиях, и за обедом, и за ужином, и бесполезно было бы спрашивать, куда он делся.

Конечно, она совсем не думала о том, что произошло вчера в городском саду,— «подумаешь, новости!» Но к вечеру она вдруг заскучала по дому, вспомнила отца и мать, и ей показалось, что она никогда их не увидит. Она тихо лежала на койке в комнате общежития, где вместе с ней жило еще пять подруг. Все уже спали, затемнение с окон было снято, свет месяца буйно врывался в ближнее распахнутое окно, и Любке было очень грустно.

А на другой день Сергей Левашов навсегда ушел из ее памяти, как если бы его и не было.

Шестого июля Любку вызвал начальник курсов и сказал, что дела на фронте идут неважно, курсы эвакуируются, а ее, Любку, оставляют в распоряжении областного партизанского штаба: пусть возвращается домой, в Краснодон, и ждет, пока ее не вызовут. Если придут немцы, она должна вести себя так, чтобы не возбудить подозрения. И ей дали адрес на Каменном Броде, куда она должна была зайти еще перед отъездом, чтобы познакомиться с хозяйкой.

Любка побывала на Каменном Броде и познакомилась с хозяйкой. Потом она уложила свой чемоданчик, «проголосовала» на ближайшем перекрестке, и первая же грузовая машина, рейсом через Краснодон, подобрала дерзкую белокурую девчонку.

Валько, расставшись со своими спутниками, весь день пролежал в степи и, только когда стемнело, вышел балкой на дальнюю окраину «Шанхая» и кривыми улочками и закоулками пробрался в район шахты № 1-бис. Он хорошо знал город, в котором вырос.

Он опасался немцев, которые могли стоять у Шевцовых, и, крадучись, с тыла, через заборчик проник во двор и притаился возле домашних пристроек в надежде, что кто-нибудь да выйдет во двор. Так простоял он довольно долго и начал уже терять терпение. Наконец хлопнула наружная дверь, и женщина с ведром тихо прошла мимо Валько. Он узнал жену Шевцова, Евфросинью Мироновну, и вышел ей навстречу.

— Кто такой, боже мой милостивый! — тихо сказала она.

Валько приблизил к ней черное, обросшее уже щетиной лицо, и она узнала его.

— То ж вы?.. А где ж...— начала было она. Если бы не ночная полутьма, в которой из-за серой дымки, затянувшей небо, едва сквозил рассеянный свет месяца, можно было бы видеть, как все лицо Евфросиньи Мироновны покрылось бледностью.

— Обожди трохи. И фамилию мою забудь. Зови меня дядько Андрий. У вас немцы стоят? Ни?.. Пройдем в хату,— хрипло сказал Валько, подавленный тем, что он должен был сказать ей.

Любка — не та нарядная Любка в ярком платье и в туфельках на высоких каблуках, которую Валько привык видеть на сцене клуба,— а простая, домашняя, в дешевой кофточке и короткой юбке, босая, встала ему навстречу с кровати, на которой она сидела и шила. Золотистые волосы свободно падали на шею и плечи. Прищуренные глаза ее, при свете шахтерской лампы, висевшей над столом, казавшиеся темными, без удивления уставились на Валько.

Валько не выдержал ее взгляда и рассеянно оглядел комнату, еще хранившую следы достатка хозяев. Глаза его задержались на открытке, висевшей на стене у изголовья кровати. Это была открытка с портретом Гитлера.

— Не подумайте чего плохого, товарищ Валько,— сказала мать Любки.

— Дядько Андрий,— поправил ее Валько.

— Чи-то — дядя Андрий,— без улыбки поправилась она.

Любка спокойно обернулась на открытку с Гитлером и презрительно повела плечом.

— То офицер немецкий повесил,— пояснила Евфросинья Мироновна.— У нас тут все дни два офицера немецких стояли, только вчера уехали на Новочеркасск. Как только вошли, так до нее — «русский девушка, красив, красив, блонд», смеются, все ей шоколад, печенье. Смотрю, берет, чертовка, а сама нос дерет, грубит, то засмеется, а потом опять грубит,— вот какую игру затеяла! — сказала мать с добрым осуждением по адресу дочери и с полным доверием к Валько, что он все поймет, как нужно.— Я ей говорю: «Не шути с огнем». А она мне: «Так нужно». Нужно ей так — вот какую игру затеяла! — повторила Евфросинья Мироновна.— И можете представить, товарищ Валько...

— Дядько Андрий,— снова поправил он.

— Дядя Андрей... Не велела мне им говорить, что я ее мать, выдала меня за свою экономку, а себя — за артистку. «А родители мои, говорит, промышленники, владели рудниками, и их советская власть в Сибирь сослала». Видали, чего придумала?

— Да, уж придумала,— спокойно сказал Валько, внимательно глядя на Любку, которая стояла против него с шитьем в руках и с неопределенной усмешкой смотрела на дядю Андрея.

— Офицер, что спал на этой кровати,— это ее кровать, а мы с ней спали вдвоем в той горнице,— стал разбираться в своем чемодане, белье ему нужно было, что ли,— продолжала Евфросинья Мироновна,— достал вот этот портретик и наколол на стенку. А она,— можете себе представить, товарищ Валько,— прямо к нему, и — раз! Портретик долой. «Это, говорит, моя кровать, а не ваша, не хочу, чтобы Гитлер над моей кроватью висел». Я думала, он тут ее убьет, а он схватил ее за руку, вывернул, портретик отнял и снова на стенку. И другой офицер тут. Хохочут, аж стекла звенят. «Ай, говорят, русский девушка шлехт!..» Смотрю, она в самом деле злая стала, красная вся, кулачки посжимала,— я со страху чуть не умерла. И правда, то ли она уж очень им нравилась, то ли они самые распоследние дураки, только они стоят, регочут. А она каблучками

топочет и кричит: «Ваш Гитлер уродина, кровопийца. его только в сортире утопить!» И еще такое говорила, что я, право слово, думала — вот вытащит он револьвер да застрелит... А когда уж они уехали, она не велела Гитлера сымать: «Пускай, говорит, повисит, так нужно...»

Мать Любки была еще не так стара, но как многие простые пожилые женщины, смолоду неудачно рожавшие, она расплылась в бедрах и в поясе, и ноги у нее опухли в щиколотках. Она тихим голосом рассказывала Валько всю эту историю и в то же время поглядывала на него вопросительным, робким, даже молящим взглядом, а он избегал встретиться с ней глазами. Она все говорила и говорила, будто старалась отсрочить момент, когда он скажет ей то, что она боялась услышать. Но теперь она рассказала все и с ожиданием, волнуясь и робея, посмотрела на Валько.

— Может, осталась у вас Евфросинья Мироновна, какая ни на есть мужняя одежда, попроще,— хрипло сказал Валько.— А то мне вроде в таком пиджаке и шароварах при тапочках не дюже удобно — сразу видать, что ответственный,— усмехнулся он.

Что-то такое было в его голосе, что Евфросинья Мироновна опять побледнела и Любка опустила руки с шитьем.

— Что же с ним? — спросила мать чуть слышно.

— Евфросинья Мироновна, и ты, Люба,— тихим, но твердым голосом сказал Валько.— Не думал я, что судьба приведет меня к вам с недоброй вестью, но обманывать я вас не хочу, а утешить вас мне нечем. Ваш муж и твой отец, Люба, и друг мой, лучше какого не было, Григорий Ильич, погиб, погиб от бомбы, что сбросили на мирных людей проклятые каты... Да будет ему вечная память и слава в сердцах наших людей!..

Мать, не вскрикнув, приложила к глазам угол платка, которым была повязана, и тихо заплакала. А у Любки лицо стало совсем белым, точно застыло. Она постояла так некоторое время и вдруг, вся изломившись, без чувств опустилась на пол.

Валько поднял ее на руки и положил на кровать.

По характеру Любки он ждал от нее взрыва горя, с плачем, слезами, и, может быть, ей было бы легче.

Но Любка лежала на кровати неподвижно, молча, с лицом застывшим и белым, и в опущенных уголках ее большого рта обозначилась горькая складка, как у матери.

А мать выражала свое горе так естественно, тихо, просто и сердечно, как свойственно бывает простым русским женщинам. Слезы сами лились из глаз ее, она утирала их уголком платка, или смахивала рукой, или обтирала ладонью, когда они затекали ей на губы, на подбородок. Но именно потому, что горе ее было так естественно, она, как обычно, выполняла все, что должна делать хозяйка, когда у нее гость. Она подала Валько умыться, засветила ему ночник и достала из сундука старую гимнастерку, пиджак и брюки мужа, какие он носил обычно дома.

Валько взял ночник, вышел в другую комнату и переоделся. Все это было немного тесновато ему, но он почувствовал себя свободнее, когда влез в эту одежду: теперь он выглядел мастеровым, одним из многих.

Он стал рассказывать подробности гибели Григория Ильича, зная, что, как ни тяжелы эти подробности, только они могут дать сейчас близким жестокое и томительное в горечи своей утешение. Как ни был он сам взволнован и озабочен, он долго и много ел и выпил графин водки. Он целый день провел без пищи и очень устал, но все-таки поднял Любку с постели, чтобы поговорить о деле.

Они вышли в соседнюю горницу.

— Ты здесь оставлена нашими для работы, то сразу видно,— сказал он, сделав вид, что не заметил, как Любка отпрянула от него и изменилась в лице.— Не трудись,— подняв тяжелую руку, сказал он, когда она попыталась возражать ему,— кто тебя оставил и для какой работы, про то я тебя на спрашиваю, и ты мне того ни подтверждать, ни опровергать не обязана. Прошу помочь мне... А я тебе тоже сгожусь.

И он попросил ее, чтобы она где-нибудь укрыла его на сутки и свела с Кондратовичем — тем самым, вместе с которым они взорвали шахту № 1-бис.

Любка с удивлением смотрела в смуглое лицо Валько. Она всегда знала, что это большой и умный человек. Несмотря на то, что он дружил с ее отцом, как с равным, у нее всегда было такое ощущение, что этот чело-

век высоко, а она, Любка, внизу. И теперь она была сражена его проницательностью.

Она устроила Валько на сеновале, на чердаке, в сарае соседей по дому: соседи держали коз, но соседи эвакуировались, а коз поели немцы,— и Валько крепко уснул.

А мать и дочь, оставшись одни, проплакали на материнской кровати почти до рассвета.

Мать плакала о том, что вся ее жизнь, жизнь женщины, с молодых лет связанной с одним Григорием Ильичом, уже была кончена. И она вспоминала всю эту жизнь с той самой поры, как она служила прислугой в Царицыне, а Григорий Ильич, молодой матрос, плавал по Волге на пароходе и они встречались на облитой солнцем пристани или в городском саду, пока пароход грузился, и как им тяжело было первое время, когда они поженились, а Григорий Ильич еще не нашел себе профессии. А потом они перебрались сюда, в Донбасс, и тоже поначалу было нелегко, а потом Григорий Ильич пошел, пошел в гору, и о нем стали писать в газетах, и дали им эту квартиру из трех комнат, и в дом пришел зажиток, и они радовались тому, что Любка их растет, как царевна.

И всему этому пришел конец. Григория Ильича больше не было, а они, две беспомощные женщины, старая и молодая, остались в руках у немцев. И слезы сами собой лились, лились из глаз Евфросиньи Мироновны.

А Любка все говорила ей таинственным, ласковым шепотом:

— Не плачь, мама, голубонька, теперь у меня есть квалификация. Немцев прогонят, война кончится, пойду работать на радиостанцию, стану знаменитой радисткой, и назначат меня начальником станции. Я знаю, ты у меня шуму не любишь, и я тебя устрою у себя на квартирке при станции,— там всегда тихо-тихо, кругом мягким обшито, ни один звук не проникает, да и народу немного. Квартирка будет чистенькая, уютная, и будем мы жить с тобой вдвоем. На дворике возле станции я высею газон, а когда немного разбогатеем, устрою вольерчик для курочек, будешь у меня разводить леггорнок да кохинхинок,— таинственно шептала она,

прижмурившись, обняв мать за шею и невидно поводя в темноте маленькой белой рукою с тонкими ноготками.

И в это время раздался тихий стук в окно пальцем. И мать и дочь одновременно услышали его и розняли руки, и, перестав плакать, обе прислушались.

— Не немцы? — шепотом, покорно спросила мать.

Но Любка знала, что не так бы стучали немцы. Босая, она подбежала к окну и чуть приподняла край одеяла, которым окно было завешено. Месяц уже зашел, но из темной комнаты она могла различить три фигуры в палисаднике: мужскую, у самого окна, и две женские, поодаль.

— Чего надо? — громко спросила она в окно.

Мужчина прильнул лицом к стеклу. И Любка узнала это лицо. И точно горячая волна хлынула ей к горлу. Надо же было, чтобы он появился именно сейчас, здесь, в такую пору, в самую тяжелую минуту жизни!..

Она не помнила, как пробежала через комнаты, ее снесло с крыльца, точно ветром, и от всего благодарного, несчастного сердца она обхватила шею юноши своими ловкими сильными руками и, заплаканная, полуголая, горячая после материнских объятий, прижалась к нему всем телом.

— Скорей... Скорей...— оторвавшись от него и взяв его за руку, сказала Любка, увлекая его на крыльцо. И вспомнила о его спутницах.— Это кто с тобой? — спросила она, всматриваясь в девушек.— Оля! Нина!.. Голубоньки вы мои!..— И она, обняв обеих своими сильными руками и притянув их головы к своей, осыпала страстными поцелуями лицо одной и другой.— Сюда, сюда... скорей...— лихорадочным шепотом говорила Любка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Они стояли у порога, не решаясь войти в комнату, такие они были грязные и запыленные,— Сергей Левашов, небритый, в одежде не то шофера, не то монтера, и девушки, Оля и Нина, обе крепкого сложения, только Нина покрупнее, обе с бронзовыми лицами и темными волосами, точно припудренными серой пылью, обе в одинаковых темных платьях и с вещевыми мешками за плечами.

Это были двоюродные сестры Иванцовы, которых по сходству фамилий путали с сестрами Иванихиными, Лилей и Тоней,— с «Первомайки». Была даже такая поговорка: «Если среди сестер Иванцовых ты видишь одну беленькую, то знай, что это сестры Иванихины» (Лиля Иванихина, та самая, что с начала войны ушла на фронт военным фельдшером и пропала без вести, была беленькая).

Оля и Нина Иванцовы жили в стандартном доме, неподалеку от Шевцовых, и их отцы работали на одной шахте с Григорием Ильичом.

— Родненькие вы мои! Откуда же вы? — спрашивала Любка, всплескивая своими беленькими руками: она предполагала, что Иванцовы возвращаются из Новочеркасска, где старшая, Оля, училась в индустриальном институте. Но странно было, как Сергей Левашов попал в Новочеркасск.

— Где были, там нас нет,— сдержанно сказала Оля, чуть искривив в усмешке запекшиеся губы, и все ее лицо, с запыленными бровями и ресницами, как-то асимметрично сдвинулось.— Не знаешь, у нас дома немцы стоят? — спросила она, по привычке, которая у нее выработалась за дни скитаний, быстро, одними глазами оглядывая комнату.

— Стояли, как и у нас,— сегодня утром уехали,— сказала Любка.

Черты лица Оли еще больше сместились в гримасе не то насмешки, не то презрения: она увидела на стене открытку с портретом Гитлера.

— Для перестраховки?

— Пускай повисит,— сказала Любка.— Вы, поди, есть хотите?

— Нет, если квартира свободна, домой пойдем.

— А если и не свободна, вам чего бояться? Сейчас многие, кого немцы завернули на Дону или на Донце, возвращаются по домам... А не то говорите прямо — гостили в Новочеркасске, вернулись домой,— быстро говорила Любка.

— Мы и не боимся. Так и скажем,— сдержанно отвечала Оля.

Пока они переговаривались, Нина, младшая, молча, с выражением вызова, переводила широкие свои глаза то на Любку, то на Олю. А Сергей, сбросивший на пол

выгоревший на солнце рюкзак, стоял, прислонившись к печке, заложив руки за спину, и с чуть заметной улыбкой в глазах наблюдал за Любкой.

«Нет, они были не в Новочеркасске»,— подумала Любка.

Сестры Иванцовы ушли. Любка сняла затемнение с окон и потушила шахтерскую лампу над столом. В комнате все стало серым: и окна, и мебель, и лица.

— Умыться хочешь?

— А у наших немцы стоят, не знаешь? — спрашивал Сергей, пока она, быстро снуя из комнаты в сени и обратно, принесла ведро воды, таз, кружку, мыло.

— Не знаю. Одни уходят, другие приходят. Да ты скидай свою форму, не стесняйся.

Он был так грязен, что вода с его рук и лица стекала в таз совсем черная. Но Любке было приятно смотреть на его широкие сильные руки и на то, как он энергичными мужскими движениями намыливал их и смывал, подставляя горсть. У него была загорелая шея, уши большие и красивые, и складка губ мужественная и красивая, и брови у него были не сплошные, они гуще сбирались у переносицы, даже на самом переносье росли волосы, а крылья бровей были тоньше и менее густые и чуть приподымались дугами, и здесь, на концах крыльев, образовались сильные морщины на лбу. И Любке было приятно смотреть, как он обмывал свое лицо большими широкими руками, изредка вскидывая глаза на Любку и улыбаясь ей.

— Где же ты Иванцовых подцепил? — спрашивала она.

Он фыркал, плескал на лицо себе и ничего не говорил ей.

— Ты же пришел ко мне,— значит, поверил. Чего ж теперь мнешься? Мы с тобой с одного дерева листочки,— говорила она тихо и вкрадчиво.

— Дай полотенце, спасибо тебе,— сказал он.

Любка замолчала и больше ни о чем не спрашивала его. Голубые глаза ее приняли холодное выражение. Но она по-прежнему ухаживала за Сергеем, зажгла керосинку, поставила чайник, накрыла гостю поесть и налила водки в графинчик.

— Вот этого уже несколько месяцев не пробовал,— сказал он, улыбнувшись ей.

Он выпил и принялся жадно есть.

Уже развиднело. За слабой серой дымкой на востоке все ярче розовело и уже чуть золотилось.

— Не думал застать тебя здесь. Зашел наугад, а оно — вон оно как...— медленно размышлял он вслух.

В словах его был как бы заключен вопрос, каким образом Любка, учившаяся вместе с ним на курсах радистов, оказалась у себя дома. Но Любка не ответила ему на этот вопрос. Ей было обидно, что Сергей, зная ее прежней, мог думать, что она, взбалмошная девчонка, капризничает, а она страдала, ей было больно.

— Ты ж не одна здесь? Отец, мать где? — расспрашивал он.

— Тебе разве не все равно? — холодно ответила она.

— Случилось что?

— Кушай, кушай,— сказала она.

Некоторое время он смотрел на нее, потом снова налил себе стаканчик, выпил и продолжал есть уже молча.

— Спасибо тебе,— сказал он, окончив есть и утершись рукавом. Она видела, как он огрубел за время своих скитаний, но не эта грубость оскорбляла ее, а его недоверие к ней.

— Закурить у вас, конечно, не найдется? — спросил он.

— Найдется...— Она прошла на кухню и принесла ему листья прошлогоднего табака-самосада. Отец каждый год высаживал его на гряды, снимал несколько урожаев в году, сушил и, по мере надобности, мелко крошил бритвой на трубку.

Они молча сидели за столом, Сергей, весь окутанный дымом, и Любка. В комнате, где Любка оставила мать, по-прежнему было тихо, но Любка знала, что мать не спит, плачет.

— Я вижу, у вас горе в доме. По лицу вижу. Никогда ты такой не была,— медленно сказал Сергей. Взгляд его был полон теплоты и нежности, неожиданной в его грубоватом красивом лице.

— У всех сейчас горе,— сказала Любка.

— Коли б ты знала, сколько я насмотрелся за это время крови! — сказал Сергей с великой тоскою и весь окутался клубами дыма.— Сбросили нас в Сталинской области на парашютах... Народу к тому времени столь-

ко арестовали, что мы даже удивились, как наши явки не завалены. Арестовали людей не потому, что кто-нибудь предал, а потому, что он, немец, таким частым бреднем загребал — тысячами, и правых и виноватых,— ясно, кто мало-мальски на подозрении, в тот бредень попадался... В шахтах трупами стволы забиты! — с волнением говорил Сергей.— Работали мы порознь, но связь держали, а потом уж и концов нельзя было найти. Напарнику моему перебили руки и отрезали язык, и была б и мне труба, коли б не получил я приказа уходить и когда б на улице в Сталино случайно Нинку не встретил. Ее и Ольгу, еще когда Сталинский обком был у нас в Краснодоне, взяли связными,— они это уже во второй раз в Сталино пришли. Тут как раз стало известно, что немцы уже на Дону. Им, дивчатам, ясно было, что тех, кто их послал, уже в Краснодоне нет... Передатчик я сдал, согласно приказу, в подпольный обком, ихнему радисту, и решили мы вместе уходить домой, и вот шли... Как я за тебя-то волновался! — вдруг вырвалось у него из самого сердца.— А что, думаю, если забросили тебя, вот так же, как нас, в тыл к врагу, и осталась ты одна? А не то завалилась и где-нибудь в застенке немцы твою душу и тело терзают,— говорил он тихо, сдерживая себя, и его взгляд уже не с выражением теплоты и нежности, а со страстью так и пронзал ее.

— Сережа! — сказала она.— Сережа! — И опустила золотистую голову на руки.

Большой, с набухшими жилами рукой он осторожно провел один раз по ее голове и руке.

— Оставили меня здесь,— сам понимаешь, зачем... Велели ждать приказа, и вот скоро месяц, а никого и ничего,— тихо говорила Любка, не подымая головы.— Немецкие офицеры лезут, как мухи на мед, первый раз в жизни выдавала себя не за того, кто есть, черт знает что вытворяла, изворачивалась, противно, и сердце болит за самое себя. А вчера люди, что с эвакуации вернулись, сказали: отца убили немцы на Донце во время бомбежки,— говорила Любка, покусывая свои ярко-красные губы.

Солнце всходило над степью, и слепящие лучи его отразились в этернитовых крышах, тронутых росою. Любка вскинула голову, тряхнула кудрями.

— Надо уходить тебе. Как думаешь жить?

— Как и ты. Сама же сказала: мы с одного дерева листочки,— сказал Сергей с улыбкой.

Проводив Сергея через двор, задами, Любка быстро привела себя в порядок, одевшись, впрочем, как можно проще: ее путь был на «Голубятники», к старому Ивану Гнатенко.

Она ушла вовремя. В дверь их дома страшно застучали. Дом стоял поблизости от ворошиловградского шоссе, это стучались на постой немцы.

Весь день Валько просидел на сеновале не евши, потому что нельзя было проникнуть к нему. А ночью Любка вылезла из окна в комнате матери и провела дядю Андрея на «Сеняки», где на квартире знакомой вдовы, верного человека, назначил ему свидание Иван Кондратович.

Здесь-то Валько и узнал всю историю встречи Кондратовича с Шульгой. Валько знал Шульгу и в юности, как земляка-краснодонца, и на протяжении последних лет, по работе в области. И у Валько не было теперь сомнений, что Шульга был одним из тех людей, кто оставлен в краснодонском подполье. Но как было найти его?

— Не поверил он, значит, тебе? — с грубоватой усмешкой спрашивал Валько Кондратович.— Ото дурний! — Он не понимал поступка Шульги.— А кого-нибудь другого из подпольщиков ты не знаешь?

— Не знаю...

— А как сын? — Валько хмуро подмигнул.

— Кто его знает,— потупился Кондратович.— Я его спросил напрямик: «Пойдешь к немцам служить? Говори мне, отцу, честно, чтобы я знал, чего я от тебя могу ждать». А он: «Что я, говорит, дурак — служить им? Я и так проживу при них не хуже!..»

— Сразу видать, человек сообразительный, не в отца,— усмехнулся Валько.— А ты это используй. Раструби по всем перекресткам, что он при советской власти судился. И ему хорошо, и тебе при нем будет спокойнее от немцев.

— Эх, дядя Андрей, не думал я, что ты меня будешь таким шуткам учить! — с досадой сказал Кондратович своим низким голосом.

— Эге, брат, а ты — старый человек, а хочешь немцев одолеть в беленькой рубашке!.. Ты на работу встал, нет?

— Какая ж работа? Шахта-то взорвана!

— Ну, як кажуть, по месту службы явился?

— Что-то я тебя не понимаю, товарищ директор...— Кондратович даже растерялся, настолько то, что говорил Валько, шло вразрез с тем, как он, Кондратович, наметил жить при немцах.

— Значит, не явился. А ты явись,— спокойно сказал Валько.— Работать ведь можно по-разному. А нам важно своих людей сохранить.

Валько так и остался у этой вдовы, но на другую ночь сменил квартиру. Новое его местопребывание знал только один Кондратович, которому Валько безгранично верил.

В течение нескольких дней Валько с помощью Кондратовича и Любки, а также Сергея Левашова и сестер Иванцовых, которых ему рекомендовала та же Любка, разнюхивал, что предпринимают в городе немцы, и завязывал связи с некоторыми оставшимися в городе членами партии и известными ему беспартийными людьми. Но так и не мог обнаружить Шульги или кого-нибудь из других людей, оставленных в подполье. Единственной ниточкой, которая, как ему казалось, могла связать его с областным подпольем, была Любка. Но по характеру Любки и ее поведению Валько догадывался, что она разведчица и до поры до времени ничего не откроет ему. Он решил действовать самостоятельно, в надежде, что все пути, ведущие в одну точку, рано или поздно сойдутся. И направил Любку к Олегу Кошевому, который мог ему теперь пригодиться.

— Я м-могу лично повидать дядю Андрея? — спрашивал Олег, стараясь не показать своего волнения.

— Нет, лично повидать его не можно,— говорила Любка с загадочной улыбкой.— У нас ведь, правда, дело любовное... Ниночка, подойди, познакомься с молодым человеком.

Олег и Нина неловко подали друг другу руки, и тот и другая смутились.

— Ничего, вы скоро привыкнете,— говорила Любка.— Я вас сейчас покину, а вы пройдитесь куда-нибудь под ручку и поговорите по душам, как жить будете...

Желаю вам счастливо провести время! — сказала она и, блеснув глазами, полными лукавства, и мелькнув ярким своим платьем, выпорхнула из сарая.

Они стояли друг против друга: Олег — растерянный и смущенный, Нина — с выражением вызова на лице.

— Здесь нам оставаться нельзя,— сказала она с некоторым усилием, но спокойно,— лучше куда-нибудь пойдем... И будет, правда, лучше, если ты возьмешь меня под руку...

На невозмутимом лице дяди Коли, прогуливавшегося по двору, выразилось крайнее изумление, когда он увидел выходящего со двора племянника об руку с этой незнакомой девушкой.

Они, и Олег и Нина, были еще настолько неопытны и юны, что долго не могли избавиться от чувства взаимной неловкости. Каждое прикосновение друг к другу лишало их дара слова. Руки, продетые одна в другую, казались им раскаленным железом.

По вчерашнему уговору с ребятами, Олег должен был разведать ту сторону парка, в которую упиралась Садовая улица, и он повел Нину по этому маршруту. Почти во всех домах по Садовой и вдоль парка стояли немцы, но, едва вышли за калитку, Нина сразу заговорила о деле — тихим голосом, как если бы она говорила о чем-нибудь интимном:

— Дядю Андрея тебе видеть нельзя, ты будешь держать связь со мной... На это не обижайся, я тоже его ни разу не видела... Дядя Андрей велел узнать: нет ли у тебя таких ребят, кто мог бы разнюхать, кто из наших сидит у немцев арестованный...

— Один парень, очень боевой, за это взялся,— быстро сказал Олег.

— Дядя Андрей велел, чтобы ты рассказывал мне все, что тебе известно... И про своих и про немцев.

Олег передал ей то, что рассказал ему Тюленин о подпольщике, выданном немцам Игнатом Фоминым, и то, что сообщил ему ночью Володя Осьмухин, и то, что сказал Земнухов: что подпольщики ищут Валько. И тут же дал Нине адрес Жоры Арутюнянца.

— Дядя Андрей вполне может доверить ему свое местопребывание. Да он и знает Жору Арутюнянца! А Жора через Володю Осьмухина все передаст, куда нужно... П-пока мы с тобой разговариваем,— с улыбкой

сказал Олег,— я насчитал т-три зенитки, правее школы, туда, вглубь, а рядом б-блиндаж, а автомашин не видно...

— А счетверенный пулемет и двое немцев — на крыше школы? — вдруг спросила она.

— Я не заметил,— с удивлением сказал Олег.

— А оттуда с крыши весь парк просматривается,— сказала она немного даже с укоризной.

— Значит, ты тоже все высматривала? Разве тебе тоже поручили? — с заблестевшими глазами допытывался Олег.

— Нет, я сама. По привычке,— сказала она и, спохватившись, быстро с вызовом взглянула на Олега из-под могучего раскрылия своих бровей — не слишком ли она раскрыла себя.

Но он был еще достаточно наивен, чтобы заподозрить ее в чем-либо.

— Ага... вон машины,— целый ряд! Носами в землю зарылись, только края кузовов торчат, и там у них кухня походная дымит! Видишь? Только ты не смотри туда,— с увлечением говорил Олег.

— И нет никакой надобности смотреть: пока со школы не снят наблюдательный пост, шрифтов все равно не выкопать,— спокойно сказала она.

— В-верно...— Он с удовольствием посмотрел на нее и засмеялся.

Они уже привыкли друг к другу, шли не торопясь, и полная, большая, женственная рука Нины доверчиво покоилась на руке Олега. Они уже миновали парк. Справа от них вдоль улицы, возле стандартных домиков, стояли немецкие машины, то грузовые, то легковые разных марок, то походная радиостанция, то санитарный автобус, и всюду виднелись немецкие солдаты. А слева тянулся пустырь, в глубине которого, возле каменного здания казарменного типа, немецкий сержант в голубоватых погонах с белым кантом проводил ученье с небольшой группой русских в гражданской одежде, вооруженных немецкими ружьями. Они то строились, то рассыпались, ползли, схватывались врукопашную. Все они были уже пожилые. На рукавах у них были повязки со свастикой.

— Жандарм фрицевский... Учит полицаев, как нашего брата ловить,— сказала Нина, сверкнув глазами.

— Откуда ты знаешь? — спросил он, вспомнив то, что рассказывал ему Тюленин.

— Я уже их видела.

— Сволочь какая! — сказал Олег с брезгливой ненавистью.— Таких давить и давить...

— Стоило б,— сказала Нина.

— Ты хотела бы быть партизаном? — неожиданно спросил он.

— Хотела бы.

— Нет, ты представляешь, что такое партизан? Работа партизана совсем не показная, но какая благородная! Он убьет одного фашиста, убьет другого, убьет сотню, а сто первый может убить его. Он выполнит одно, второе, десятое задание, а на одиннадцатом может сорваться. Это дело требует, знаешь, какой самоотверженности!.. Партизан никогда не дорожит своей личной жизнью. Он никогда не ставит свою жизнь выше счастья родины. И если надо выполнить долг перед родиной, он никогда не пожалеет своей жизни. И он никогда не продаст и не выдаст товарища. Я хотел бы быть партизаном! — говорил Олег с такой глубокой, искренней, наивной увлеченностью, что Нина подняла на него глаза, и в них выразилось что-то очень простоватое и доверчивое.

— Слушай, неужели мы будем с тобой встречаться только по делу? — вдруг сказал Олег.

— Нет, почему же, мы можем встречаться... когда свободны,— сказала Нина, немного смутившись.

— Где ты живешь?

— Ты не занят сейчас?.. Может быть, ты проводишь меня? Я хотела бы познакомить тебя со своей старшей сестрой Олей,— сказала она, не совсем уверенная, что она хочет именно этого.

Сестры Оля и Нина жили в районе, называвшемся запросто «Восьмидомики». В одной половине стандартного дома жили родители Нины, в другом — Оли. Нина провела Олега к себе и оставила на попечение мамаши.

Олег, развитой не по летам, воспитанный к тому же в своей украинской семье в духе уважения к старшим, легко разговорил и без того словоохотливую и моложавую Варвару Дмитриевну. К тому же ему очень хотелось понравиться матери Нины.

К возвращению Нины он знал уже все о семьях Иванцовых. Отцы Оли и Нины, родные братья, шахтеры, находились теперь на фронте. Выходцы из Орловской губернии, они служили когда-то батраками у богатых крестьян, а потом подались в Донбасс и здесь женились оба на украинках. Только мать Оли была издалека, из Черниговской губернии, а Варвара Дмитриевна здешняя, донецкая, из села Рассыпного. В молодые годы Варвара Дмитриевна тоже работала на шахтах, и это по-своему отразилось на ней. Она мало походила на простую домашнюю хозяйку. Женщина смелая, самостоятельная, она хорошо разбиралась в людях. Сразу поняв, что паренек пришел не зря, прощупывая его глазами, полными умного лукавства, она незаметно для Олега вывернула его всего наизнанку.

Впрочем, они стоили друг друга. Когда Нина вернулась, она застала их обоих сидящими рядом на лавке, на кухне, очень оживленными. Олег весело болтал ногами и, закидывая голову и потирая кончики пальцев, хохотал так заразительно, что Варвара Дмитриевна не могла не смеяться вместе с ним. Нина, взглянув на них, всплеснула руками и тоже рассмеялась,— всем троим стало так хорошо и легко, точно они были дружны много лет.

Нина сказала, что Оля пока что занята, но очень просила, чтобы Олег дождался ее. Два часа, пока не было Оли, прошли для Олега незаметно в беспечной болтовне. А между тем это были поистине решающие часы, когда сомкнулись наконец все звенья краснодонского подполья. За это время Оля успела сходить к Валько, жившему далеко от «Восьмидомиков», в одном из малых «шанхайчиков», и передать ему все, что Нина узнала от Олега.

С приходом Оли веселье, царившее в квартире ее сестры, несколько упало. Правда, Оля отнеслась к Олегу с редкостным по ее характеру радушием,— широкая добрая улыбка оживила ее всегда немного замкнутое лицо с неправильными броскими чертами,— она даже села рядом с ним на лавку, заняв место Нины. Но Оле трудно было попасть в сбивчивое и бурное течение их разговора, лишенного для любого человека со стороны всякого смысла. Душа Оли, только что вернувшейся от Валько, была переполнена совсем другими чувствами.

Оля была серьезней Нины — не в смысле глубины переживаний, а в смысле умения сразу претворять мысли и чувства в практическое, жизненное дело. Кроме того, будучи постарше, Оля еще с тех времен, когда обе они работали связными Сталинского обкома, больше, чем сестра, была посвящена в самое существо дела, которым они занимались.

Она села рядом с Олегом, сняла платок, открыв темные, свернутые в тяжелый узел на затылке волосы, и примолкла. Как ни старалась она быть веселой и улыбаться, глаза ее были безучастны. Похоже было, что она здесь самая старшая, старше даже матери Нины.

Но Варвара Дмитриевна оказалась женщиной чуткой и дипломатичной.

— А чего ж мы сидим здесь, на кухне? — сказала она.— Пидем у хату да сыграем у подкидного!..

Они перешли в столовую. Варвара Дмитриевна быстро прошла в соседнюю комнату, где она спала с Ниной, и вернулась с колодой карт, темных, набрякших тяжестью многих рук, державших их.

— Ниночка, конечно, на пару с Олегом? — сказала Оля как бы невзначай.

— Нет, я с мамой!— Нина вспыхнула и с вызовом повела глазами на Олю. Ей очень хотелось бы играть в паре с Олегом, но не могла же она так сразу и раскрыть себя.

Ничего не понявший Олег смекнул, однако, что мама Нины, как старая шахтерка, должна быть опытной картежницей, и закричал:

— Н-нет, я с м-мамой!

Оттого, что он заикался, он не прокричал, а промычал это низко, как теленок, и это вышло так смешно, что все прыснули, не исключая и Оли.

— Старый да малый,— бережись, дивчата! — сказала Варвара Дмитриевна.

Настроение опять поднялось.

Старая шахтерка действительно оказалась мастером в «подкидного», но Олегом, как всегда в игре, овладел такой азарт, что он начал горячиться, и они первое время проигрывали. Оля, хорошо владевшая собой, исподтишка подзуживала Олега. Варвара Дмитриевна, невзирая на проигрыш, лукаво поглядывала на него: мальчишка очень ей нравился.

Наконец они с трудом выиграли в четвертом кругу. Оля сдала карты. Олег взглянул на свои карты и увидел, что они очень плохи. Вдруг в глазах его тоже мелькнуло лукавое выражение, и он поднял их на Варвару Дмитриевну, стараясь поймать ее взгляд. И только глаза их встретились, он мгновенно выпятил свои полные губы как бы для поцелуя и тут же придал им прежнее выражение. В окруженных морщинками и все же таких молодых глазах Варвары Дмитриевны словно искры мелькнули. Однако она и бровью не повела и тотчас же пошла с бубен: как и предполагал Олег, старая шахтерка отлично понимала эту сигнализацию.

Олегом овладело неудержимое веселье. Теперь выигрыш им был на все время обеспечен. «Старый и малый» весело сигнализировали друг другу, то подымая глаза к небу, что означало «трефи», или, по-здешнему, «кресты», то скашивая их вбок, что означало «пики», то потрагивая указательным пальцем подбородок, что означало «черви». Наивные девушки, игравшие все более старательно, бесперечь проигрывали и никак не могли примириться с тем, что выигрыш навсегда ушел от них. Нина сидела вся красная и взволнованная. Олег после каждого их проигрыша так и заливался хохотом, потирая кончики пальцев. Наконец более опытная Оля поняла, что здесь что-то неладно, и, со свойственной ей выдержкой и умением не выдать себя, начала исподволь наблюдать за противником. Вскоре ей все стало ясно, и, улучив момент, когда Олег выпятил свои полные губы, она изо всей силы шлепнула веером карт по его губам и хлопнула картами об стол так, что они разлетелись.

— У, мошенники! — сказала она своим ровным, спокойным голосом.

Варвара Дмитриевна рассмеялась, не обиженная. Нина, негодуя, вскочила из-за стола, но Олег, поднявшись вслед за ней, взял в обе руки ее смуглую ласковую руку и уперся ей лбом в плечо, прося прощения. В конце концов они рассмеялись все четверо.

Олегу так не хотелось возвращаться домой, а уже близился вечер, а после шести часов свободное хождение по городу было запрещено. Оля сказала, что ему всетаки лучше пойти сейчас и, чтобы не было уже никакой

возможности отступления, простилась со всеми и ушла на свою половину.

Нина вышла на освещенное вечерним солнцем крылечко проводить Олега.

— К-как не хочется уходить! — откровенно сознался он.

Они постояли на крылечке.

— У вас там что — садик? — мрачно спросил Олег.

Нина молча взяла его за руку и повела вокруг дома. Они очутились в тени дома, среди кустов жасмина, так сильно разросшихся, что кусты превратились уже в деревца.

— Х-хорошо здесь у вас. А у нас все немцы вырубили.

Нина молчала.

— Нина,— сказал он детским, просящим голосом,— Нина, можно мне п-поцеловать тебя?.. Н-нет, только в щеку, п-понимаешь, п-просто в щеку...

Он не сделал никакого движения к ней, он только просил, но она даже отпрянула от него и так смутилась, что слов не могла найти.

Но он не видел ее смущения и все смотрел на нее с естественным детским выражением.

— Нет, ты знаешь, ты можешь опоздать,— сказала Нина.

То, что он может опоздать именно из-за этого поцелуя в щеку, тоже не показалось странным Олегу,— нет, конечно, Нина была права во всем. Он вздохнул, улыбнулся и подал ей руку.

— Нет, ты обязательно приходи к нам,— виновато говорила Нина, задержав его большую руку в своих ласковых руках.

Счастливый своим новым знакомством и тем, как складывались дела его, очень голодный, Олег возвращался домой. Но, видно, ему не суждено было поесть сегодня. Дядя Коля шел навстречу от калитки их дома.

— Я тебя уже давно караулю: Конопатый (так они называли денщика) все время ищет тебя.

— К ч-черту! — беспечно сказал Олег.

— Все-таки лучше от него подальше. Ты знаешь, Виктор Быстринов здесь, вчера объявился. Его немцы у Дона повернули. Давай зайдем к нему, благо у его хозяйки немцев нет,— сказал дядя Коля.

Виктор Быстринов, молодой инженер, сослуживец Николая Николаевича и его приятель, встретил их необычайной новостью:

— Слыхали? Стаценко назначен бургомистром! — воскликнул он, злобно оскалившись одной стороной рта.

— Какой Стаценко? Начальник планового отдела? — Даже дядя Коля удивился.

— Он самый.

— Брось смеяться!

— Не до смеху.

— Да не может того быть! Такой тихий, исполнительный, в жизни никого не задел...

— Так вот тот самый Стаценко, тихий, никого в жизни не задел, тот, без кого нельзя было представить себе ни одной выпивки, ни одного преферанса, про кого все говорили — вот свой человек, вот душа-человек, вот милый человек, вот симпатичный человек, вот тактичный человек,— тот самый Стаценко — наш бургомистр,— говорил Виктор Быстринов, тощий, колючий, ребристый, как штык, весь клокоча и даже булькая слюной от злости.

— Честное слово, дай опомниться,— говорил Николай Николаевич, все еще не веря,— ведь не было же среди инженеров ни одной компании, в какую бы его ни приглашали! Я сам с ним столько водки выпил! Я от него не то чтобы какого-нибудь нелояльного, я вообще от него ни одного громкого слова не слыхал... И было бы у него какое-нибудь прошлое,— так ведь все ж его знают как облупленного: отец его из мелких чиновников, и сам он никогда ни в чем не был замешан...

— Я сам с ним водку пил! А теперь он нас по старому знакомству первых — за галстук, и — либо служи, либо...— и Быстринов рукою с тонкими пальцами сделал петлеобразный жест под потолок.— Вот тебе и симпатичный человек!

Не обращая внимания на примолкшего Олега, они еще долго переживали, как это могло получиться, что человек, которого они знали несколько лет и который всем так нравился, мог стать бургомистром при немцах. Наиболее простое объяснение напрашивалось такое: немцы заставили Стаценко стать бургомистром под страхом смерти. Но почему же выбор врага пал именно на Стаценко? И потом внутренний голос, тот сокровен-

ный, чистый голос совести, который определяет поступки людей в самую ответственную и страшную минуту жизни, подсказывал им, что если бы им, обыкновенным, рядовым советским инженерам, выпал этот выбор, они предпочли бы смерть такому падению.

Нет, очевидно, дело было не так просто, что Стаценко согласился стать бургомистром под страхом смерти. И, стоя перед лицом этого непонятного явления, они в который уже раз говорили:

— Стаценко! Скажи, пожалуйста!.. Нет, подумай только! Спрашивается, кому же тогда можно верить?

И пожимали плечами и разводили руками.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Стаценко, начальник планового отдела треста «Краснодонуголь», был еще не старым человеком, где-то между сорока пятью и пятьюдесятью. Он действительно был сыном мелкого чиновника, до революции служившего в акцизе, и действительно никогда ни в чем «не был замешан». По образованию он был инженер-экономист и всю жизнь работал как экономист-плановик в различных хозяйственных организациях.

Нельзя сказать, чтобы он быстро продвигался по служебной лестнице. Но он и не стоял на одном месте: можно сказать, что он восходил не с этажа на этаж, а со ступеньки на ступеньку. Но он всегда был недоволен тем местом, какое занимал в жизни.

Он был недоволен не тем, что его трудолюбие, энергия, знания, скажем, недостаточно используются и в силу этого он не имеет от жизни того, чего бы он заслуживал. Он был недоволен тем, что не получает от жизни всех ее благ без всякой затраты труда, энергии и знаний. А то, что такая жизнь возможна и что она приятна, он это наблюдал сам в старое время, когда был молодым, а теперь он любил читать об этом в книгах — о старом времени или о заграничной жизни.

Нельзя сказать, чтобы он хотел стать баснословно богатым человеком, крупным промышленником, или купцом, или банкиром,— это тоже потребовало бы от него энергии, волнений: вечная борьба, соперники, стачки, какие-то там, черт бы их побрал, кризисы! Но ведь су-

ществуют же на свете тихие доходы, какая-нибудь там рента или просто хороший оклад на спокойной и почтенной должности,— существуют везде, но только «не у нас». И все развитие жизни «у нас» показывало Стаценко, что годы его идут, а он все больше отдаляется от идеала своей жизни. И поэтому он ненавидел общество, в котором жил.

Но, будучи недоволен общественным устройством и своей судьбой, Стаценко никогда ничего не предпринимал для изменения общества и своей судьбы, потому что он всего боялся. Он боялся даже крупно сплетничать и был самым обыкновенным, рядовым сплетником, не выходившим за пределы разговоров о том, кто сколько пьет и кто с кем живет. Он никогда не критиковал конкретных лиц, ни ближних, ни дальних, но любил поговорить вообще о бюрократизме в учреждениях, об отсутствии личной инициативы в торговых организациях, о недостатках образования молодых инженеров по сравнению «с его временем» и о некультурном обслуживании в ресторанах и в банях. Он никогда ничему не удивлялся и склонен был от всех людей ждать решительно всего. Если кто-нибудь рассказывал о крупной растрате, о загадочном убийстве или просто о семейной неприятности, Стаценко так и говорил:

— Я лично не удивляюсь. Всего можно ждать. Я, знаете ли, жил с одной дамочкой,— очень культурная, между прочим, замужняя,— и она меня обокрала...

Как у большинства людей, все, что он носил, чем обставлял квартиру, чем мылся и чистил зубы, было отечественного производства и из отечественных материалов. И в компании инженеров, побывавших в заграничной командировке, Стаценко любил за рюмкой водки простовато и хитровато подчеркнуть это.

— Наше, советское! — говорил он, теребя полной и необыкновенно маленькой по его грузной комплекции рукою кончик рукава своего пиджака в полоску. И нельзя было понять, говорит ли он это с гордостью, или в осуждение.

Но втайне он завидовал заграничным галстукам и зубным щеткам своих товарищей до того, что его малиновая лысина вся покрывалась потом.

— Премиленькая вещичка! — говорил он.— Подумайте только — зажигалка, она же перочинный ножик,

она же пульверизатор! Нет, все-таки у нас так не умеют,— говорил этот гражданин страны, в которой сотни и тысячи рядовых крестьянских женщин работали на тракторах и комбайнах на колхозных полях.

Он хвалил заграничные кинокартины, хотя их не видел, и мог часами, по нескольку раз в день перелистывать заграничные журналы — не те журналы по экономике горного дела, которые иногда попадали в трест, эти журналы его не могли интересовать, поскольку он не знал языков и не стремился их изучить, а те, что завозили иногда сослуживцы,— журналы мод и вообще такие журналы, в которых было много элегантно одетых женщин и просто женщин возможно более голых.

Но во всех этих высказываниях, вкусах, привычках и склонностях не было ничего подчеркнутого, что резко выделяло бы его среди других людей. Потому что многие, очень многие люди, у которых были совсем другие интересы, иная деятельность, иные мысли и страсти, в общении со Стаценко в том или ином случае проявляли сходные с ним вкусы или взгляды, не задумываясь над тем, что в их жизни они занимают десятое, или последнее, или просто случайное место, а в жизни Стаценко они являются выражением всей его натуры.

И так бы он и прожил, этот грузный, с малиновыми лицом и лысиной, медлительный, не вызывающе, но достойно-солидный человек-невидимка, с тихим низким грудным голосом и маленькими красными глазками застарелого любителя выпить, прожил бы до конца дней, ни с кем не дружа, принимаемый решительно всеми, среди ненавистных ему дневных и ночных служебных часов, заседаний месткома, непременным членом которого он состоял, среди выпивок и преферансов, поднимаясь, независимо от собственной воли, со ступеньки на ступеньку по медленной служебной лестнице,— так бы он и прожил, если бы...

То, что страна, в которой жил этот человек-невидимка, не может выстоять против Германии, было ясно Стаценко с самого начала: не потому, что он был осведомлен о ресурсах обеих стран и хорошо разбирался в международных отношениях,— он решительно не знал и не хотел знать ни того, ни другого,— а потому, что не могла же страна, которая не соответствовала идеалу его жизни, выстоять против страны, которая, как он пола-

гал, вполне отвечала идеалу его жизни. И уже в тот воскресный час июня, когда он услышал по радио речь Молотова, Стаценко ощутил во всех внутренностях некоторое беспокойство, род волнения, возникающего перед необходимостью перемены обжитой квартиры.

При каждом известии об оставлении Красной Армией городов, все более отдаленных от границы, он все более понимал, что квартиру переменить необходимо. А в момент взятия Киева Стаценко уже был как бы в пути на новое местожительство с грандиозными планами его устройства и освоения.

Так к моменту вступления немцев в Краснодон Стаценко проделал духовно примерно тот же путь, что Наполеон проделал физически с момента бегства с острова Эльбы до вступления в Париж.

К генералу фон Венцелю его, Стаценко, долго и грубо не впускали сначала часовой, потом денщик. На беду его, из дома вышла бабушка Вера, которой Стаценко очень боялся, и он, сам не зная, как это получилось, торопливо снял шляпу, поклонился бабушке в пояс и сделал вид, что воспользовался двором, чтобы пройти с улицы на улицу. И бабушка не нашла в этом ничего удивительного. Все-таки он дождался у калитки выхода молоденького адъютанта.

Толстый Стаценко, сняв шляпу, вприпрыжку бежал сбоку и немножко сзади немецкого офицера. Адъютант, не глядя на него и не вникая в то, что говорил Стаценко, указал ему пальцем на немецкую комендатуру.

Комендант города Штоббе, штурмфюрер службы СС, был из тех отлитых по единой модели пожилых прусских жандармов, каких Стаценко в юности своей немало насмотрелся в «Ниве» на фотографиях, изображавших встречи венценосцев. Штурмфюрер Штоббе был апоплексичен, каждый ус его с проседью был туго закручен, как хвост морского конька, одутловатое лицо его, покрытое мельчайшей сетью желто-сизых прожилок, было налито пивом, а выпученные глаза были того мутного бутылочного цвета, в котором нельзя отличить белка от роговицы.

— Вы хотите служить в полиции? — отбросив все несущественное, прохрипел штурмфюрер Штоббе.

Стаценко, застенчиво склонив набок голову и плотно приложив к ляжкам полные маленькие руки с паль-

чиками, похожими цветом и формой на заграничные консервированные сосиски, сказал:

— Я инженер-экономист, я бы полагал...

— К майстеру Брюкнер! — не дослушав, прохрипел Штоббе и так выпучил водяные глаза со слившимися белком и роговицей, что Стаценко, зигзагообразно отступая от коменданта, вышел в дверь задом.

Жандармерия помещалась в длинном, давно беленном и облупившемся одноэтажном бараке, прижавшемся к горушке, ниже райисполкома, и отделенном пустырем от района города, называвшегося в просторечии «Восьмидомики». Раньше там помещалась городская и районная милиция, и Стаценко запросто бывал в этом помещении как-то перед войной в связи со случившейся у него на дому покражей.

Сопровождаемый немецким солдатом с ружьем, Стаценко вошел в полутемный коридор, так знакомый ему,— и вдруг отпрянул в испуге: он чуть не столкнулся с длинным, на полтуловища выше Стаценко, человеком и, вскинув глаза, узнал в этом человеке в старомодном картузе известного в Краснодоне шахтера — Игната Фомина. Игната Фомина никто не сопровождал. Он был в начищенных сапогах и в костюме, таком же приличном, как и у Стаценко. И оба этих прилично одетых господина, шмыгнув глазами, разошлись, будто не узнали друг друга.

В приемной того самого кабинета, где помещался когда-то начальник краснодонской милиции, Стаценко увидел перед собой Шурку Рейбанда, экспедитора хлебозавода, в хорошо знакомой Стаценко черной, с малиновым верхом, кубанке на маленькой смуглой костяной головке. Шурку Рейбанда, выходца из немецких колонистов, знал весь город, потому что он отпускал хлеб столовым всех учреждений, хлебным киоскам и магазинам горпо. Никто его и не звал иначе, как Шуркой Рейбандом.

— Василий Илларионович!..— в тихом изумлении сказал Шурка Рейбанд, но, увидев за спиной Стаценко солдата, запнулся.

Стаценко склонил лысину немного набок и вперед и сказал:

— Что вы, господин Рейбанд! Я хочу...— он сказал — не «служить», а «услужить».

Господин Рейбанд приподнялся на носках, помедлил и, не постучавшись, нырнул в кабинет начальника. И стало ясно, что Шурка Рейбанд является теперь неотъемлемой составной частью «нового порядка» — Ordnung'a.

Он пробыл там довольно долго. Потом в приемной прозвучал начальственный звонок, и немецкий солдат-писарь, одернув мышиный мундирчик, проводил Стаценко в кабинет.

Майстер Брюкнер был собственно не майстер, а вахтмайстер, то есть жандармский вахмистр. И это была собственно не жандармерия, а Краснодонский жандармский пункт. Окружная жандармерия помещалась в городе Ровеньки. Впрочем, майстер Брюкнер был не просто вахтмайстер, а гауптвахтмайстер, то есть старший жандармский вахмистр.

Когда Стаценко вошел в его кабинет, майстер Брюкнер не сидел, а стоял, заложив руки за спину. Он был высокий и не очень тучный, с опущенным и сильно выдавшимся круглым животом. Под глазами у него были мягкие морщинистые темные мешки того происхождения, которое, если вникнуть в него, могло бы пояснить, почему гауптвахтмайстер Брюкнер проводил большую часть своей сознательной жизни стоя, а не сидя.

— По образованию и опыту я инженер-экономист, я полагал бы...— сказал Стаценко, застенчиво склонив голову и приложив к брюкам в полоску плотно сдвинутые пальчики-сосиски.

Майстер Брюкнер повернул голову к Рейбанду и брезгливо сказал по-немецки:

— Скажи ему, что, по полномочию фюрера, я назначаю его бургомистром.

В ту же самую секунду Стаценко представил себе, какие люди из тех, кого он знал, кто раньше проходил мимо него или относился к нему панибратски, теперь попадут в зависимость от него. И он низко склонил лысину, сразу покрывшуюся потом. Ему казалось, что он много и сердечно благодарит майстера Брюкнера, на самом деле он молча шевелил губами и кланялся.

Майстер Брюкнер отогнул полу мундира, открыв плотно обтянутый брюками опущенный живот, круглый, как кавун, вынул из кармана золотой портсигар, достал сигаретку и прямым точным движением большой, в ром-

биках желтой кожи, руки вставил сигаретку между губ. Подумав, он взял из портсигара еще одну сигаретку и протянул ее Стаценко.

Стаценко не посмел отказаться.

Потом майстер Брюкнер, не глядя, нащупал на столе распечатанную узкую плитку шоколада, не глядя, отломил от нее несколько слитных квадратиков и молча протянул Стаценко.

— Это не человек, а идеал,— рассказывал впоследствии Стаценко своей жене.

Рейбанд препроводил Стаценко к заместителю старшего вахмистра господину Балдеру, который был уже просто вахмистром и всей своей комплекцией, манерами, даже тихим низким грудным голосом так походил на Стаценко, что, будь Стаценко в немецком мундире, его уже трудно было бы отличить от вахмистра. Стаценко получил от него инструкцию о сформировании городской управы и ознакомился со всей структурой власти при «новом порядке» — Ordnung'e.

Согласно этой структуре краснодонская городская управа во главе с бургомистром была просто одним из отделов канцелярии немецкого жандармского пункта.

Так Стаценко стал бургомистром.

А Виктор Быстринов и дядя Коля стояли теперь друг против друга, разводили руками и говорили:

— Кому же тогда можно верить?

В тот вечер, когда Матвей Шульга распростился с Кондратовичем, ему уже ничего не оставалось, как направить свой путь к Игнату Фомину, на «Шанхай».

По внешним признакам,— а только по внешним признакам и мог теперь Матвей Костиевич составить первое впечатление,— Фомин произвел на него благоприятное впечатление. Костиевичу понравилось, что, когда он сказал пароль, Игнат Фомин не выразил волнения и излишней торопливости, а внимательно осмотрел Костиевича, кинул взгляд вокруг, потом пропустил Костиевича в горницу и только здесь сказал ему отзыв. Фомин был очень немногословен и ни о чем не расспрашивал, а только внимательно слушал и на все распоряжения отвечал: «Будет сделано». Понравилось Костиевичу и то, что Игнат Фомин у себя дома был в жилете

под пиджаком и при гастуке, и с часами с цепочкой,— в этом он видел признак культурного, интеллигентного рабочего, воспитанного в советское время.

Правда, некоторые мелочи не то чтобы не понравились Костиевичу — они были так незначительны, что не могли вызвать с его стороны столь определенного отношения,— но были отмечены им как неприятные. Ему показалось, что жена Фомина, мясистая, сильная женщина с широко поставленными узкими косящими глазами и неприятной улыбкой, обнажавшей крупные редкие желтые зубы, с первого же момента их знакомства стала относиться к нему, к Шульге, как-то уж очень льстиво и угодливо. И еще невольно отметилось ему в первый же вечер, что Фомин — Игнат Семенович, так сразу же стал называть его Шульга,— немного скуповат: на откровенное заявление Костиевича о том, что он сильно проголодался, Фомин сказал, что с продовольствием им, должно быть, будет туговато. И они действительно нельзя сказать, чтобы уж так хорошо покормили его при их достатке. Но Костиевич видел, что они едят то же, что и он, и подумал, что он не может знать всех личных обстоятельств их жизни.

И эти мелочи не могли разрушить того общего благоприятного впечатления, какое Фомин произвел на Матвея Костиевича. А между тем самый худший и последний из людей, к которому Матвей Костиевич мог бы зайти без всякого выбора, по чистой случайности, был бы лучше Игната Фомина. Потому что из всех людей, населявших город Краснодон, Игнат Фомин был самым страшным человеком, страшным особенно потому, что он уже давно не был человеком.

До 1930 года у себя на родине, в Острогожском округе Воронежской области, Игнат Фомин, который вовсе не был тогда Игнатом Фоминым, слыл самым богатым и сильным человеком. Он владел непосредственно и через подставных лиц двумя мельницами, двумя конными машинами-лобогрейками, многими плугами, двумя веялками, молотилкой, имел три усадьбы, до десятка лошадей, шесть коров, несколько десятин плодового сада, пасеку до ста ульев, и, кроме постоянно работавших у него четырех батраков, он мог исподволь пользоваться трудом крестьян из нескольких волостей, по-

тому что во всех этих волостях было много людей, материально зависевших от него.

Он был богат и до революции, но еще богаче были два его старших брата, особенно тот старший брат, который унаследовал хозяйство отца. А Игнат Фомин, как самый младший, женившийся перед войной четырнадцатого года и выделенный отцом на самостоятельное хозяйство, был обижен им. Но после революции, вернувшись с германского фронта, Игнат Фомин очень ловко использовал свою якобы бедность, прикинулся обиженным старой властью человеком и проник во все органы советской власти и общественные органы села, начиная с комитета бедноты, как человек не только неимущий и революционный, но и беспощадный к врагам революции. Используя эти органы власти и то, что братья его были, как и он, действительно богатые и ненавидевшие советскую власть люди, Игнат Фомин подвел под суд и высылку сначала самого старшего, а потом и второго брата, завладел их имуществом и пустил по миру их семьи с малыми детьми, которых ему было не жаль, особенно потому, что своих детей у него не было и он не мог их иметь. Так он стал в округе тем, кем он был. И до самого 1930 года, несмотря на эти богатства, многие представители власти считали его своеобразным явлением на советской почве — богатым, но вполне своим человеком, так называемым культурным хозяином.

Но крестьяне ряда волостей, куда простиралось его влияние, знали, что это беспощадный кулак-кровопийца и страшный человек. И когда в тридцатом году стали создаваться колхозы и народ при поддержке власти начал раздевать богатеев, на Игната Фомина, жившего тогда под старой, собственной фамилией, обрушилась волна народной мести. Игнат Фомин лишился всего и подлежал высылке на север, но, как человека известного и, казалось, смирного, местные власти не взяли его до высылки под стражу. А Игнат Фомин с помощью жены ночью убил председателя сельского совета и секретаря сельской ячейки,— в эти дни председатель и секретарь жили не при своих семьях, а в помещении сельского совета и в ночь, когда подстерег их Фомин, вернулись из гостей сильно выпившие. Фомин убил их и бежал вместе с женой сначала в Лиски, а потом в Ростов-на-Дону, где у него были свои верные люди.

В Ростове он купил документы на имя рабочего железнодорожных мастерских Игната Семеновича Фомина, документы, по которым он выглядел заслуженным рабочим человеком, выправил соответствующие документы и на жену свою. И так он появился в Донбассе, зная, что там очень нужны рабочие руки и не будут допытываться, кто он и откуда.

Он твердо верил в то, что рано или поздно дождется своего часа, а пока что наметил для себя определенную и ясную линию поведения. Прежде всего он знал, что должен трудиться на совесть: во-первых, потому, что так ему легче будет спрятаться, во-вторых, потому, что добросовестный труд при его сноровке и уменье даст ему возможность жить в достатке, и, в-третьих, потому, что, как он ни был богат в прошлом, труд всегда был ему в привычку. А кроме того, он решил особенно не высовываться, не лезть в общественные дела, а к начальству относиться с покорностью и, избави бог, никого не критиковать.

Так с течением времени этот человек-невидимка стал уважаем властями не только как прилежный честный рабочий, но и как человек большой скромности и дисциплины. У него хватило выдержки ничем не изменить этой своей линии поведения, даже когда немцы подошли близко к Ворошиловграду. Он не сомневался в том, что немцы будут здесь. И только когда его спросили, не согласится ли он предоставить свою квартиру подпольной организации на случай прихода немцев, он чуть не выдал себя, такое им овладело чувство злорадства и наслаждения местью.

И даже то, что так понравилось Шульге,— что Фомин ходил у себя дома в пиджаке и в галстуке, и при часах,— объяснялось не его любовью к опрятности,— в обычное время он, как и все рабочие, одевался чисто, но в простую повседневную одежду,— а объяснялось тем, что он с часу на час ждал немцев и, желая понравиться им, вытащил из сундука все лучшее из того, что имел.

В то время, когда Стаценко находился сначала у старшего жандармского вахмистра Брюкнера, а потом у вахмистра Балдера, Матвей Костиевич лежал в том же бараке, на второй половине, в маленькой темной каморке, избитый и окровавленный.

В прошлом вся эта половина барака, состоявшая из нескольких камер и разделенная вдоль узким коридором, продолжением коридора, разделявшего служебные помещения милиции, представляла собой единственное в Краснодоне место заключения.

«Новый порядок», Ordnung, состоял в том, что теперь те несколько общих камер и несколько одиночек, которые составляли помещение дома заключения, были битком набиты мужчинами, женщинами, подростками и стариками. Здесь были люди из города и из станиц и хуторов, задержанные по подозрению в том, что они советские работники, партизаны, коммунисты, комсомольцы; люди, поступком или словом оскорбившие немецкий мундир; люди, скрывшие свое еврейское происхождение; люди, задержанные за то, что они без документов, и просто за то, что они люди.

Людей этих почти не кормили и не выпускали не только на прогулку, но и по естественным надобностям. В камерах стояло невыносимое зловоние, и старые полы барака, давно тронутые грибком, были загажены, пропитаны мочой и кровью.

Но как ни забиты были все камеры, Матвея Шульгу, или Евдокима Остапчука, под чьим именем он был арестован, поместили отдельно.

Он был избит, еще когда его брали,— он оказал сопротивление и обнаружил такую физическую силу, что с ним долго не могли справиться. Потом его били здесь, в тюрьме, гауптвахтмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер и арестовавшие его ротенфюрер СС Фенбонг, начальник полиции Соликовский и немецкий полицейский Игнат Фомин, надеясь сразу же, пока он не пришел в себя, сломить его волю. Но если от Матвея Костиевича нельзя было ничего выведать в обычном состоянии, тем более нельзя было ничего выведать, когда он был в ожесточении борьбы.

Он был так силен, что и теперь, избитый и окровавленный он лежал не от изнеможения, а заставлял себя лежать, чтобы отдохнуть. Но если бы его снова взяли, он мог бы еще сражаться столько, сколько бы потребовалось. У него саднило лицо, один глаз затек кровью. У него страшно ломило руку, по которой, выше кисти, его ударил железным прутом унтер Фенбонг. Душу Матвея Костиевича терзали представления того,

как немцы где-то так же мучают его жинку, его детей, мучают из-за него, из-за Шульги, и нет уже никакой надежды, чтобы он когда-нибудь мог их спасти.

Но страшнее физической боли и этой душевной муки палило Костиевича сознание того, что он попал в руки врага, не выполнив своего долга, и что он сам в этом виновен.

То, казалось бы, естественное в его положении оправдание, что не он, а другие люди, давшие ему ненадежную явку, виноваты в его провале, только в самое первое время пришло ему в голову, но он тотчас же отбросил его, как ложное утешение слабых.

По опыту своей жизни он знал, что успех всякого общественного дела не может не зависеть от многих людей, среди которых найдутся и такие, кто плохо выполнит свою часть дела или просто ошибется. Но только слабый духом и жалкий человек, будучи поставлен на чрезвычайное дело в чрезвычайных обстоятельствах и не выполнив его, способен жаловаться на то, что другие люди виноваты в этом. Внутренний чистый голос совести говорил ему, что он, особенный человек, с опытом прошлого подполья, потому и был выдвинут на это чрезвычайное дело в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы своей волей, опытом, организационным навыком преодолеть все и всякие опасности, трудности, лишения, препятствия, ошибки других людей, от которых зависело это дело. Вот почему Матвей Костиевич не мог винить и не винил никого в своем провале. И сознание того, что он не только провалился сам, а не выполнил своего долга, страшнее и горше всякой иной муки терзало душу Костиевича.

Неумолкающий правдивый голос совести подсказывал ему, что где-то, в чем-то он поступил неправильно. И он снова и снова мучительно перебирал в памяти своей мельчайшие подробности своих поступков и слов с того момента, как расстался с Иваном Федоровичем Проценко и Лютиковым, и не мог найти, где, в чем и когда он поступил неправильно.

Матвей Костиевич раньше совсем не знал Лютикова, а сейчас он бесконечно волновался за него,— в особенности потому, что теперь только от Лютикова зависело, будет ли выполнено дело, порученное им обоим. Но еще чаще, в страшных мучениях, в тоске невыносимой, душа

его обращалась к Проценко, их общему руководителю и личному его другу, и вопрошала:

«Где ж ты, Иван Федорович? Як ты? Чи жив ты? Бьешь ли ты проклятых ворогов, пересилил ли ты их, перехитрил ли ты их? А вдруг, так же как и меня, терзают душу твою? И вóроны уже клюют серед степу твои веселые очи?..»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Простившись с Лютиковым и Шульгой, Иван Федорович и жена его выехали к отряду, базировавшемуся в Митякинских лесах по ту сторону Северного Донца. Пришлось сделать изрядный крюк, чтобы обогнуть территорию, уже занятую немцами. Все-таки Иван Федорович успел переправить свой «газик» через Донец и ночью проскочить на базу, когда немецкие танки уже входили в станицу, по имени которой и леса получили свое название.

Леса, леса... Разве это были леса? Разве можно было эти кустарниковые заросли, разбросанные по небольшой территории, сравнить с лесами белорусскими или брянскими — родиной партизанской славы! В районе Митякинских лесов не то что открывать военные действия, даже спрятаться негде было большому отряду.

К счастью, когда Иван Федорович и жена его прибыли на базу, партизаны уже покинули ее и вели бои с немцами на дорогах западного направления.

Как жалел потом Иван Федорович, что в этот первый же день своего приезда не сделал, не сумел сделать всех выводов из такой простой и ясной мысли, пришедшей ему в голову: отряд, едва ли не самый крупный в области, не имеет базы укрытия!

Ворошиловградская область разделялась на несколько территориальных округов, во главе которых поставлены были секретари подпольного обкома партии. Иван Федорович был одним из этих секретарей. Ведению Ивана Федоровича подлежало несколько райкомов с множеством подчиненных им подпольных групп. В районах были еще особые диверсионные группы, из которых одни подчинялись местному подпольному райкому, дру-

гие — непосредственно обкому, третьи — Украинскому или даже Центральному штабу.

Эта разветвленная подпольная сеть обслуживалась еще более сложной по характеру конспирации системой явочных квартир, мест укрытия, баз продовольствия и вооружения, средств связи — технических и через специальных связных. Кроме обычных явочных квартир в районах, в распоряжении Ивана Федоровича, как и других руководителей областного подполья, были квартиры, известные только им: одни — для связи с Украинским штабом, другие — для связи руководителей области между собой, третьи — для связи с руководителями районов или командирами отрядов.

На территории каждого округа действовало несколько мелких партизанских отрядов. А кроме того, в каждом округе был создан один более или менее крупный отряд, где, по первоначальному замыслу, и должен был находиться секретарь обкома — руководитель подполья в округе: предполагали, что пребывание в крупном партизанском отряде обеспечит секретарю обкома относительную безопасность, а значит, и бо́льшую свободу действий.

Главной явочной квартирой для связи руководителей ворошиловградского подполья был медицинский пункт в большом селе Орехово Успенского района. Хозяйкой квартиры Иван Федорович назначил местного врача Валентину Кротову, сестру Ксении Кротовой, связной Ивана Федоровича. В то время, когда Иван Федорович еще находился в Краснодоне, Ксения Кротова уже жила у своей сестры — врача, и от нее, от Ксении Кротовой, Иван Федорович должен был получить первые сведения о том, как обстоят дела в других округах после оккупации их немцами.

Возложив на своего помощника обязанности главного хранителя партизанского продовольствия и оружия в Митякинских лесах и одновременно — начальника всей связи с округами, Иван Федорович выехал к своему отряду. Собственно, он не выехал, а пошел. Вся местность вокруг кишела немецкими войсками. Как ни тешил себя Иван Федорович мыслью, что будет всюду разъезжать на своем «газике»,— он даже бензина припас, по крайней мере, на год,— пришлось загнать многострадальный «газик» в пещерку в одном из глиняных

карьеров в лесу и завалить вход. Екатерина Павловна, исполнявшая при Иване Федоровиче должность связной и разведчицы, посмеялась над мужем, и они вместе пошли в отряд пешком.

Всего лишь несколько суток прошло с того времени, как в помещении Краснодонского райкома партии Иван Федорович уговаривался с генералом, командиром дивизии, о связи, а как все изменилось вокруг! Конечно, ни о каком взаимодействии с дивизией уже не могло быть и речи. Дивизия эта выстояла на Донце под Каменском ровно столько, сколько ей было приказано, потеряла более чем три четверти своего уже далеко не полного состава, а потом снялась и ушла. Она потеряла так много, что казалось, уже и нет никакой дивизии, но никто не говорил о ней в народе — «разгромлена», никто не говорил о ней — «попала в окружение» или «отступила», все говорили о ней — «ушла». И она действительно ушла — ушла, когда на огромных пространствах между Северным Донцом и Доном уже действовали крупные немецкие соединения.

Дивизия шла по территории, занятой врагом, она шла через реки и степи, шла с боями, используя для обороны крутые берега степных речек, она то исчезала, то вновь возникала в другом месте. В первые дни, когда она была еще не так далеко, народная молва о боевых делах дивизии еще докатывалась до здешних мест. Но дивизия все уходила и уходила на восток, стремясь к какому-то дальнему, назначенному ей пределу, и, должно быть, так далек он был, этот предел, что уже и следа молвы не оставалось от дивизии, жила только память в сердце народа — слава, легенда.

Партизанский отряд Ивана Федоровича действовал сам по себе, действовал неплохо. В первые же дни отряд разгромил в открытом бою несколько мелких подразделений войск противника. Партизаны истребляли оставшихся солдат и офицеров, жгли цистерны с бензином, захватывали обозы, ловили в селах немецких администраторов и казнили их. Сведений о действиях других отрядов все еще не поступало, но Иван Федорович догадывался, что и другие отряды начали неплохо — по изустной молве. Народная молва преувеличивала подвиги партизан, но это означало только, что их борьба пользуется поддержкой народа.

Когда противник бросил против отряда крупные силы, Иван Федорович отверг предложение командования вернуться на базу и ночью тайно переправил отряд на правый берег Донца. Здесь никто не ждал партизан, и они произвели неслыханный переполох в немецких тылах.

Но с каждым днем все труднее было крутиться в неширокой пространстве степи, так густо населенном, что рудники, хутора, станицы почти примыкали одни к другим. Отряд находился в беспрерывном движении. Только хитрость Ивана Федоровича, да отличное знание местности, да хорошее вооружение давали возможность отряду уходить пока что без больших потерь. Но доколе же возможно было это безостановочное верчение на месте, когда враг висел на хвосте?

Большие партизанские отряды, созданные в подражание отрядам лесных местностей или таких, где были широкие незаселенные степные пространства,— отряды этого типа были непригодны в густонаселенном промышленном Донбассе. Иван Федорович пришел к этому выводу, когда беда уже стучалась в дверь.

Известия, поступившие от Ксении Кротовой, поразили его в самое сердце. Крупный отряд, действовавший в непосредственной близости от Ворошиловграда, окруженный противником, распался на части, а секретарь обкома Яковенко, находившийся в этом отряде, был убит. Из Кадиевского отряда, созданного по такому же типу, что и отряд Яковенко и отряд Ивана Федоровича, спаслось всего девять бойцов во главе с командиром отряда. Противник, разбивший отряд, понес жертвы втройне, но какие же потери врага можно было считать расплатой за павшую в бою шахтерскую гвардию знаменитой Кадиевки! Командир отряда извещал Ивана Федоровича, что набирает новых бойцов, но будет действовать теперь только мелкими группами. Боково-Антрацитовский отряд сумел вырваться из окружения без больших потерь и тут же разделился на несколько мелких отрядов, действующих под общим командованием. Небольшие отряды — Рубежанского, Кременского, Ивановского и других районов — действовали успешно и почти без потерь. Отряд Попаснянского района, один из самых крупных в области, с самого начала действовал небольшими группами под общим

командованием, и сам народ оценил успех его борьбы, дав отряду прозвище «Грозный». А новые отряды, которые рождались в районах, как грибы,— из местного населения, из отставших бойцов и офицеров Красной Армии,— все они возникали уже только в виде небольших партизанских групп.

Это было веление самой жизни.

Иван Федорович получил эти сведения, и ему нужно было всего лишь несколько часов, чтобы разделить и свой отряд на несколько небольших групп, но этих часов судьба уже не отпустила Ивану Федоровичу.

Немцы окружили их на рассвете, а теперь уже солнце склонялось к вечеру.

Когда-то здесь был ручей, впадавший в Северный Донец. Ручей так давно пересох, что жители ближнего хутора Макаров Яр уже не помнили, когда здесь была вода. На месте ручья осталась лесистая балка. Узкая в вершине и все более широкая к устью, она имела форму треугольника,— лес широкой полосой выходил на самый берег реки.

Иван Федорович с отросшей мягкой темно-русой мужицкой бородой лежал в низкорослых кустах, на самом трудном участке обороны, в вершине балки. Немецкая пуля скубанула его повыше правой залысины, сняв кусочек кожи с волосами, кровь натекла на висок и запеклась, но Иван Федорович не чувствовал этого. Он лежал в кустах и стрелял из автомата, а рядом остывал другой автомат.

Екатерина Павловна лежала неподалеку от мужа, с лицом строгим и бледным, и тоже стреляла. Все движения ее были экономные, точные, полные скрытой энергии и не замечаемого ею самой природного изящества,— со стороны казалось, она управляет своим автоматом одними пальцами. Правее ее лежал старик Нарежный, колхозник из Макарова Яра, пулеметчик «старого германского бою», как определил он себя.

Тринадцатилетний мальчик, внук Нарежного, обложенный ящиками с патронами, заряжал диски. А позади ящиков, в ложбинке, не отпуская нагретой трубки телефона, адъютант командира, находившегося не вместе с Иваном Федоровичем, а на берегу реки, все время бубнил на своем условном языке:

— Мама слушает... мама слушает... Кто? Здоро́во, тетя!.. Мало слив? Возьми у племянника... Мама слушает, мама слушает... У нас все в порядке. А у вас?.. Дайте им жару!.. Сестричка! Сестричка! Сестричка! Ты что, заснула? Братец просит подсобить огоньком налево...

Нет, не мысль о возможности собственной гибели и гибели жены, даже не чувство ответственности за жизни людей, а сознание того, что все это можно было предусмотреть и тогда не было бы того тяжкого положения, в котором они очутились, терзало душу Ивана Федоровича.

Он все-таки разбил отряд на несколько групп и в каждую назначил командира и заместителя по политической части и каждому назначил свое место, где можно будет потом базироваться. Одним из этих новых мелких отрядов должен был командовать прежний командир вместе со своим заместителем и начальником штаба. Они должны были представлять общее командование для всех отрядов и, так как их будет теперь немного, по-прежнему базироваться в Митякинских лесах.

Иван Федорович подготовил командиров и бойцов к тому, чтобы они продержались здесь, в балке, до наступления ночи, а потом во главе с ним, с Иваном Федоровичем, прорвались через кольцо противника в степь. А чтобы людям легче было уйти после прорыва, Иван Федорович произвел внутри отрядов разбивку на еще более мелкие группки в три — пять человек, которые должны были уже спасаться каждая своим путем. Его самого с женой обещал на время укрыть в надежном месте старик Нарежный.

Иван Федорович знал, что часть людей погибнет во время прорыва, что часть будет переловлена, что найдутся и такие, кто не погибнет, но смалодушествует и уже не придет в назначенное место, на базу. И все это тяжким моральным грузом ложилось Ивану Федоровичу на душу. Но он не только не делился ни с кем своими переживаниями, а его лицо и жесты, и все его поведение были обратны тому, что он переживал. Лежа в кустах, маленький, складный, румяный, обросший темной мужицкой бородой, Иван Федорович исправно бил по противнику и перекидывался шутками со стариком Нарежным.

В лице у Нарежного было что-то молдаванское, даже турковатое: борода с курчавинкой, черная, смолистая, глаза черные, быстрые, с огоньком. Весь он, подсушенный, как стебель на солнце, с широкими сильными сухими плечами и руками, при кажущейся медлительности движений, был полон скрытого огня.

Как ни тяжело было их положение, оба они казались довольными и взаимным соседством, и, нельзя сказать, чтобы уж очень сложным, разговором, который вели между собой.

Примерно через каждые полчаса Иван Федорович с посверкивающей в глазах его лукавой искрой говорил:

— Ну, як, Корний Тихонович, трошки жарко?

На что Корней Тихонович не оставался в долгу и отвечал:

— Та не можу сказать, щоб прохладно, но ще и не жарко, Иван Федорович.

А если немец особенно наседал, Иван Федорович говорил:

— Коли б вин мав миномети да пидкинув бы нам огурков, вот тоди б нам дюже жарко було! А, Корний Тихонович?

На что Корней Тихонович опять-таки не оставался в долгу и спокойно отвечал:

— Щоб такий лис закидать, треба богато огурков, Иван Федорович...

И вдруг оба они сквозь вихрь автоматного огня услышали нарастающий издали, со стороны Макарова Яра, стрекот моторов. На секунду они даже перестали стрелять.

— Чуешь, Корний Тихонович?

— Чую.

Иван Федорович предостерегающе повел глазами в сторону жены и вытянул губы в знак молчания.

По дороге, не видной отсюда, двигался на подмогу немцам отряд мотоциклистов. Должно быть, его услышали в разных местах балки. Телефон лихорадочно заработал.

Солнце уже закатилось, но луна еще не взошла, и сумерки не надвинулись, и тени ушли. В небе еще тлели множественные тихие светлые краски, переходящие одна в другую, и на земле, на кустах и деревьях, на лицах людей, на ружьях и разбросанных по траве стреляных

гильзах,— на всем лежал этот странный меркнущий свет, готовый вот-вот быть поглощенным тьмою. Всего несколько мгновений постояла эта неопределенность — ни день, ни вечер,— и вдруг точно какая-то сумеречная изморось или роса начала рассеиваться в воздухе, оседать на кустах и на земле и густеть.

Стрекот мотоциклов, нарастающий со стороны Макарова Яра, распространился по всей местности. Перестрелка развивалась то там, то здесь, все сильнее разгораясь у самой реки.

Иван Федорович взглянул на часы.

— Треба тикать... Терехин! В двадцать один ноль-ноль...— не оборачиваясь, сказал он адъютанту у телефона.

У Ивана Федоровича было условлено с командирами групп партизан, рассеянных по роще, что по его сигналу все группы сходятся в ложбине, выходящей в степь, у старого граба. Отсюда они должны были пойти на прорыв. Этот момент уже наспевал.

Чтобы обмануть бдительность немцев, две группы партизан, оборонявшие рощу у самого Донца, должны были задержаться долее других и демонстрировать как бы последнюю отчаянную попытку переправиться через реку. Иван Федорович быстро огляделся, ища, кого бы к ним послать.

Среди партизан, оборонявших вершину балки, находился один краснодонский парень — комсомолец Евгений Стахович. До прихода немцев он учился в Ворошиловграде на курсах командиров ПВХО. Он выделялся среди партизан своим развитием, сдержанными манерами и очень рано сказывающимися навыками общественного работника. Иван Федорович испытывал Стаховича на разных делах, предполагая использовать его для связи с краснодонским подпольем. И вот слева от себя Иван Федорович увидел его бледное лицо и мокрые, растрепавшиеся светлые волосы, которые в другое время небрежными пышными волнами покоились на его горделиво вскинутой голове. Парень сильно нервничал, но из самолюбия не отползал в глубь балки. И это понравилось Ивану Федоровичу. Он послал Стаховича.

Евгений Стахович, насильственно улыбнувшись, пригибаясь худым телом к земле, побежал к берегу реки.

— Гляди ж, Корний Тихонович, не задержись и ты! — сказал Проценко отважному старику, оставшемуся с группой партизан прикрыть отход.

С того момента, как партизаны, спрятавшиеся у самой реки, начали демонстрировать переправу через Донец, здесь, на берегу Донца, сосредоточились главные силы немцев, и весь неприятельский огонь был направлен на эту часть леса и на реку. Визг пуль и их щелканье в кустах сливались в один сплошной режущий звук. Казалось, пули дробятся в воздухе и люди дышат раскаленной свинцовой пылью.

Получив через Стаховича приказ Проценко, командир отряда отправил бо́льшую часть партизан на сборный пункт, в ложбину, а сам во главе двенадцати человек остался прикрывать отход. Стаховичу было страшно здесь и очень хотелось уйти вместе с другими, но уйти неловко было, и он, пользуясь тем, что никто не следит за ним, залег в кусты, уткнувшись лицом в землю и подняв воротник пиджака, чтобы хоть немного закрыть уши.

В какие-то мгновения не столь оглушающего сосредоточения огня можно было слышать резкие выкрики немецкой команды. Отдельные группы немцев уже вклинились в лес где-то со стороны Макарова Яра.

— Пора, хлопцы,— вдруг сказал командир отряда.— Айда бегом!..

Партизаны разом прекратили огонь и бросились за командиром. Несмотря на то, что неприятель не только не убавил огня, а все усиливал его, партизанам, бежавшим по лесу, казалось, что наступила абсолютная тишина. Они бежали что было силы и слышали дыхание друг друга. Но вот в ложбине они увидели скрытно залегшие одна возле другой темные фигуры своих товарищей. И, пав на землю, уже ползком примкнули к ним.

— А, дай вам боже! — одобрительно сказал Иван Федорович, стоявший у старого граба.— Стахович тут?

— Тут,— не подумав, ответил командир.

Партизаны переглянулись и не обнаружили Стаховича.

— Стахович! — тихо позвал командир, вглядываясь в лица партизан в ложбине. Но Стаховича не было.

— Та вы, хлопцы, може, до того очумели, шо не бачили, як его вбило! А може, кинули его десь раненого! — сердился Проценко.

— Что я, мальчик, что ли, Иван Федорович! — обиделся командир.— Как мы с позиции уходили, он был с нами, целехонек. А бежали мы по самой гущине и не теряли друг друга...

В это время Иван Федорович увидел скрытно подползавшую к нему сквозь кусты гибкую, несмотря на преклонный возраст, фигуру Нарежного, за ним тринадцатилетнего внука его и еще нескольких бойцов.

— Ах ты, сердяга! Друг! — обрадованно воскликнул Иван Федорович, не в силах скрыть своих чувств.

Вдруг он обернулся и тоненько, слышно для всех протянул:

— Гото-овсь!..

В позах партизан, припавших к земле, появилось что-то рысье.

— Катя! — тихо сказал Иван Федорович.— Ты ж не отставай от меня... Если я когда... Если было что...— Он махнул рукой.— Прости меня.

— Прости и ты...— Она чуть наклонила голову.— Если останешься жив, а со мной...

Он не дал ей договорить и сам сказал:

— Так и со мной... Детям расскажешь.

Это было все, что они успели сказать друг другу. Проценко тоненько крикнул:

— Огонь! Вперед!

И первый выбежал из ложбины.

Они не могли дать себе отчета в том, сколько их осталось и сколько времени они бежали. Казалось, не было уже ни дыхания, ни сердца; бежали молча, иные еще стреляя на бегу. Иван Федорович, оглядываясь, видел Катю, Нарежного, его внука, и это придавало ему силы.

Вдруг где-то позади и справа по степи раздался рев мотоциклов, он далеко разнесся в ночном воздухе. Звуки моторов возникли уж и где-то впереди; казалось, они обступали бегущих со всех сторон.

Иван Федорович дал сигнал, и люди рассыпались, ушли в землю, поползли неслышно, как змеи, пользуясь зыбким светом луны и изрезанным рельефом местности.

В одно мгновение люди исчезли из глаз — один за другим.

Не прошло и нескольких минут, как Иван Федорович, Катя, Нарежный и внук его остались одни в степи, залитой светом луны. Они оказались среди колхозных бахчей, простиравшихся на несколько гектаров вперед и вверх и, должно быть, по ту сторону длинного холма, вырисовывавшегося своим гребнем на фоне неба.

— Обожди трохи, Корний Тихонович, бо вже нечем дыхать! — И Иван Федорович бросился на землю.

— Соберитесь с силами, Иван Федорович,— стремительно склонившись к нему и жарко дыша ему в лицо, заговорил Нарежный.— Не можно нам отдыхать! За той горкой село то самое, спрячут нас...

И они поползли бахчами за Нарежным, который изредка оборачивал на Ивана Федоровича и на Катю кремневое лицо свое с пронзительными глазами и черной курчавой бородой.

Они выползли на гребень холма и увидели перед собой село с белыми хатами и черными окнами,—оно начиналось метрах в двухстах от них. Бахчи тянулись до самой дороги, пролегавшей вдоль плетней ближнего ряда хат. И почти в тот самый момент, как они выползли на гребень холма, по этой дороге промчалось несколько немцев-мотоциклистов, свернувших в глубь села.

Огонь автоматов по-прежнему вспыхивал то там, то тут; иногда казалось, что кто-то стрелял в ответ, и эти раскатистые звуки в ночи отзывались в сердце Ивана Федоровича болью и мраком. Внук Нарежного, совсем не похожий на деда, белесый, иногда робко и вопросительно подымал на Ивана Федоровича детские глаза,— и трудно было смотреть в эти глаза.

На селе слышны были резкие удары прикладов о двери, немецкая ругань. То наступала тишина, и вдруг доносился детский вскрик или женский вопль, переходивший в плач и снова вздымавшийся до вопля-мольбы в ночи. Иногда и в самом селе, и мимо него, и совсем в стороне взревывали мотоциклы — один, несколько, а то казалось, целый отряд движется. Луна вовсю сияла на небе. Иван Федорович, Катя, у которой саднила нога, натертая сапогом, и Нарежный с внуком — все лежали на земле, мокрые и съежившиеся от холода.

Так дождались они, когда все стихло и на селе и в степи.

— Ну, пора, бо развидняе,— шепнул Нарежный.— Будем ползти по одному, друг за дружкой..

По селу слышны были шаги немецких патрулей. Изредка то там, то здесь вспыхивал огонек спички или зажигалки. Иван Федорович и Катя остались лежать в бурьяне позади хаты, где-то в центре села, а Нарежный с внуком перелезли через плетень. Некоторое время их не слышно было.

Запели первые петухи. Иван Федорович вдруг усмехнулся.

— Ты что? — шепотом спросила Катя.

— Немцы всех петухов порезали, два-три на все село поют!

Они впервые внимательно, осмысленно посмотрели друг другу в лицо и улыбнулись одними глазами. И в это время послышался шепот из-за плетня:

— Где вы? Идите до хаты...

Высокая худая женщина, сильной кости, повязанная белой хусткой, высматривала их через плетень. Черные глаза ее сверкали при свете луны.

— Вставайте, не бойтесь, нема никого,— сказала она.

Она помогла Кате перелезть через плетень.

— Как вас зовут? — тихо спросила Катя.

— Марфа,— сказала женщина.

— Ну, як новый порядок? — с угрюмой усмешкой спрашивал ее Иван Федорович, когда и он, и Катя, и старик Нарежный с внуком уже сидели в хате за столом при свете коптилки.

— А новый порядок ось який: приихав до нас нимець з комендатуры и наложив шесть литров молока з коровы у день, та девьять штук яець з курицы в мисяць,— застенчиво и в то же время с какой-то диковатой женственностью покашиваясь на Ивана Федоровича своими черными глазами, сказала Марфа.

Ей было уже лет под пятьдесят, но во всех движениях ее, с какими она подавала на стол еду и убирала посуду, было что-то молодое, ловкое. Чисто прибранная беленая хата, украшенная вышитыми рушниками, была полна ребят — мал мала меньше. Сын, четырнадцати лет, и дочь, двенадцати, поднятые с постелей, дежурили теперь на улице.

— Як два тыждня, так и нове завдання сдавать худобу. Ось дивитесь, у нашому сели не бильш, як сто дворов, а вже в другий раз получили завдання на двадцять голов худобы,— ото вам и новий порядок,— говорила она.

— Ты ж не журись, тетка Марфа! Мы знаемо их ще по осьмнадцатому року. Воны як прийшли быстро, так и уйдуть!..— сказал Нарежный и вдруг захохотал, показав крепкие зубы. Его турковатые глаза на кремневом загорелом лице мужественно и лукаво сверкнули.

Трудно было даже представить себе, что это говорит человек, только что лицом к лицу видевший смерть.

Иван Федорович искоса взглянул на Катю, строгие черты лица которой распустились в доброй улыбке. После многих суток боев и этого страшного бегства такою молодой свежестью повеяло на Ивана Федоровича и на Катю от двух этих уже не молодых людей.

— А що ж я бачу, тетка Марфа, як воны вас не ободрали, а у вас ще е трошки,— подмигнув Нарежному, сказал Иван Федорович, указав кивком головы на стол, на который Марфа «от щирого сердца» выставила и творог, и сметану, и масло, и яичницу на сале.

— Хиба ж вы не знаете, що у доброй украинской хати, як бы ни шуровав, всего не съисты, ни скрасты, пока жинку не убьешь! — отшутилась Марфа с таким девическим смущением, до краски в лице, и с такой грубоватой откровенностью, что и Иван Федорович и Нарежный прыснули в ладони, а Катя улыбнулась.— Я ж все заховала! — засмеялась и Марфа.

— Ах ты ж, умнесенька жинка! — сказал Проценко и покрутил головой.— Кто ж ты теперь — колхозница чи единоличница?

— Колгоспница, вроде як в отпуску, пока немцы не уйдуть,— сказала Марфа.— А немцы считають нас ни за кого. Всю нашу колгоспну землю воны считають за германьским... як воно там — райхом? Чи як воно там, Корний Тихонович?

— Та райхом, нехай ему! — с усмешкой сказал старик.

— На сходи зачитывали якуюсь-то там бумагу,— як его там, Розенберга, чи як его там, злодия, Корний Тихонович!

— Та Розенберга ж, хай ему! — отвечал Нарежный.

— Цей Розенберг каже, що колысь получим землю у единоличне пользование, та не уси, а хто буде добро робити для германьского райха и хто буде маты свою худобу та свий инвентарь. А який же там, бачите, инвентарь, коли воны гонють нас колгоспну пшеницу жаты серпами, а хлиб забирають для своего райха. Мы, бабы, вже отвыкли серпами жаты! Выйдем на поле, ляжем пид пшеницу от сонця та спим...

— А староста? — спросил Иван Федорович.

— А староста у нас свий,— отвечала Марфа.

— Ах ты, умнесенька жинка! — снова сказал Проценко и снова покрутил головой.— А де ж чоловик твий?

— Де ж вин! На фронти. Мий Гордий Корниенко на фронти,— серьезно сказала она.

— А скажи прямо: вон у тебя сколько детей, а ты нас прячешь,— неужто не боишься за себя и за них? — вдруг по-русски спросил Иван Федорович.

— Не боюсь! — тоже по-русски отвечала она, прямо взглянув на него своими черными молодыми глазами.— Пусть рублять голову. Не боюсь. Знать буду, за что пойду на смерть. А вы мне тоже скажите: вы с нашими, с теми, что на фронте, связь отселе имеете?

— Имеем,— отвечал Иван Федорович.

— Так скажите ж нашим, пусть воны бьются до конца. Пусть наши мужья себя не жалиють,— говорила она с убежденностью простой честной женщины.— Я так скажу: може, наш батько,— она сказала «наш батько» как бы от лица детей своих, имея в виду мужа,— може, наш батько и не вернется, може, вин сложит свою голову в бою, мы будем знать, за що! А коли наша власть вернется, вона будет отцом моим детям!..

— Умнесенька жинка! — в третий раз нежно сказал Иван Федорович и наклонил голову и некоторое время не подымал ее.

Марфа оставила Нарежного с внуком ночевать в хате: оружие их она спрятала и не боялась за них. А Ивана Федоровича и Катю она проводила в заброшенный, поросший сверху бурьяном, а внутри холодный, как склеп, погреб.

— Трошки буде сыро, да я вам прихватила два кожушка,— застенчиво говорила она.— Ось сюда, тут солома...

Они остались одни и некоторое время молча сидели на соломе в полной темноте.

Вдруг Катя теплыми руками обхватила голову Ивана Федоровича и прижала ее к своей груди.

И что-то мягко распустилось в его душе.

— Катя! — сказал он.— Это все партизанство мы поведем по-другому. Все, все по-другому,— в сильном волнении говорил он, высвобождаясь из ее объятий.— О, як болит душа моя!.. Болит за тех, кто погиб,— погиб по нашему неумению. Да не все ж погибли? Я ж думаю, большинство вырвалось? — спрашивал он, словно бы ища поддержки.— Ничего, Катя, ничего! Мы в народе найдем еще тысячи таких людей, як Нарижный, як Марфа, тысячи тысяч!.. Не-ет! Пускай этот Гитлер оглупил целую немецкую нацию, а не думаю я, щоб вин передурив Ивана Проценка,— ни, не може того буты! — яростно говорил Иван Федорович, не замечая, что он перешел на украинский язык, хотя жена его, Екатерина Павловна, была русская.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Как незаметно для человеческого глаза под корнями деревьев и трав, по трещинам и капиллярным сосудам земли, под почвой, бесшумно, беспрерывно сочатся в разных направлениях грунтовые воды, так под властью немцев степными, лесными, горными тропами, балками, под крутыми берегами рек, по улицам и закоулкам городов и сел, по людным базарам и черным ночным яругам двигались с места на место миллионы мужчин, женщин, детей, стариков всех национальностей, населяющих нашу землю.

Согнанные с родных мест, вновь возвращающиеся на родные места, ищущие таких мест, где их не знают, пробирающиеся через рубежи фронта на свободную советскую землю, выбирающиеся из окружения, бежавшие из немецкого плена или из концентрационных лагерей, просто брошенные нуждою на поиски одежды и пищи, поднявшие оружие для борьбы с угнетателем — партизаны, подпольщики, диверсанты, агитаторы, разведчики в тылу врага, разведчики отступившей великой армии великого народа,— они идут, идут, неисчислимые, как песок...

По степной дороге от Донца идет под солнцем маленький румяный человек. Он в простой крестьянской одежде, у него темно-русая мягкая мужицкая борода, за плечами у него грубый полотняный мешок. Так же, как он, идут тысячи, тысячи... Как узнать, кто он? У него синие глаза, но разве можно всем заглянуть в глаза и разве все можно узнать по глазам? Может быть, в них поскакивают чертовские искры, а к господину вахтмайстеру или даже гауптвахтмайстеру они обернутся глазами самого обыкновенного человека.

Маленький человек в одежде крестьянина и с темно-русой бородой входит в город Ворошиловград и теряется в уличной толпе. Зачем он пришел в город? Может быть, он несет в мешке на базар масло, или творог, или утку, чтобы обменять это на гвозди, на бязь или на соль? А может быть, это сам Проценко, страшный человек, способный подорвать власть даже самого советника седьмого отдела фельдкомендатуры доктора Шульца!..

В деревянном домике на окраине маленького шахтерского городка, у вершины узкой темной балки, уходящей в степь, в горенке с одним окном, завешенным одеялом, сидят двое при свете коптилки: сильно пожилой мужчина с тяжелым, оплывшим книзу лицом и юноша, полный сил, с широко открытыми глазами в темно-золотистых ресницах.

Есть что-то общее в них — и в молодом и в старом,— даже в том, что в такой поздний час ночи, в эти злосчастные дни немецкой оккупации, оба они сидят одетые подчеркнуто чисто и аккуратно, при галстуках.

— Воспитывайте в себе гордость за наш родной Донбасс. Помнишь, как боролись наши старшие товарищи — Артем, Клим Ворошилов, Пархоменко? — говорит старик, и кажется, что это не тусклый свет коптилки, а отсвет тех давно прошедших битв отражается в строгих глазах его.— Помнишь? Сумеешь рассказать ребятам?

Юноша сидит, наивно склонив голову к левому плечу, которое немного выше правого.

— П-помню... Сумею,— отвечает он, чуть заикаясь.

— В чем слава нашего Донбасса? — продолжает старик.— Как бы трудно нам ни было — и в годы гражданской, и после, и в первую пятилетку, и вторую, и те-

перь, в дни войны,— всегда мы выполняли наш долг с честью. Ты это внуши ребятам...

Старик делает паузу. Юноша смотрит на него почтительно и молчит. Старик продолжает:

— И помните: бдительность — мать подполья... Картину «Чапаев» видел? — спрашивает он без улыбки.

— Видел.

— Почему погиб Василий Иванович Чапаев? Он погиб потому, что его дозоры уснули и близко подпустили неприятеля. Будьте начеку — и ночью, и днем, будьте аккуратны... Соколову Полину Георгиевну знаешь?

— Знаю.

— Откуда ты ее знаешь?

— Работала вместе с мамой среди женщин. Они и сейчас д-дружат.

— Верно... Все, что полагается знать только тебе и мне, будешь передавать Полине Георгиевне. А обычная связь — через Осьмухина, как сегодня. Нам встречаться больше нельзя...— И, как бы желая предупредить выражение обиды или огорчения, а то и протеста на лице юноши, Лютиков вдруг весело улыбается ему.

Но лицо Олега не выражает ни одного из этих чувств. Доверие, оказанное ему,— настолько, что Филипп Петрович даже позволил прийти на дом к себе, да еще в такой час, когда ходить по городу нельзя,— наполняет сердце Олега чувством гордости и преданности беспредельной. Широкая детская улыбка озаряет его лицо, и он говорит тоже очень весело:

— Спасибо!

Никому не известный юноша, съежившись, спит в низинке в степи, солнце пригревает его, и от одежды его подымается пар. Солнце подсушило мокрый след на траве, который юноша оставил за собой после того, как вылез из реки. Как же он устал, плывя по реке, если он заснул в степи ночью в мокрой одежде.

Но когда солнце начинает калить, юноша просыпается и идет. Светлые волосы его высохли и сами собой небрежными живописными волнами распались на его голове. Вторую ночь он ночует в шахтерском поселке в случайной квартире, где ему дают приют, потому что

он почти земляк: он из Краснодона, он учился в Ворошиловграде, а теперь возвращается домой. И он свободно, среди бела дня входит в Краснодон. Он не знает что с его родителями, не стоят ли у них на квартире немцы, и поэтому он идет сначала к своему товарищу по школе, Володе Осьмухину.

У Володи раньше стояли немцы, но сейчас их нет.

— Женя!.. Откуда ты?

Но товарищ Володи в обычной своей несколько горделивой и официальной манере говорит:

— Ты мне скажи сначала, чем ты дышишь?..

Это старый товарищ Володи, комсомолец Евгений Стахович, перед ним нечего таиться,— конечно, не в делах организации, а там, где речь идет о личных взглядах и настроениях,— и Володя рассказывает Стаховичу все, что касается лично Володи.

— Так...— говорит Стахович.— Это хорошо. Я другого от тебя и не ждал...

Он говорит это с оттенком покровительства. Но, должно быть, он имеет на это право. Он не только жаждет приобщиться к подпольной борьбе, как Володя,— соблюдая тайну, Володя сказал, что он только еще жаждет приобщиться,— Стахович уже сражался в партизанском отряде, и, по его словам, он послан официально штабом, чтобы организовать это дело и в Краснодоне.

— Здорово!..— с уважением говорит Володя.— Мы немедленно должны пойти к Олегу...

— А кто такой этот Олег? — самолюбиво спрашивает Стахович, потому что Володя произносит имя Олега с большим уважением.

— Это, брат, такой парень!..— неопределенно говорит Володя.

Нет, Стахович не знает Олега. Но если это ценный парень, почему бы к нему и не пойти.

Человек с военной выправкой, одетый в штатское, очень серьезный, тихо стучит в дверь квартиры Борц.

Дома только одна маленькая Люся. Мама ушла на рынок обменять кое-что из вещей на продукты, а Валя... Нет, дома находится еще папа, но это и есть самое страшное. Папа в своих темных очках мгновенно пря-

чется в гардероб. А Люся с замиранием сердца, приняв взрослое выражение, подходит к двери и спрашивает как можно независимее:

— Кто там?

— Валя дома? — приятным застенчивым тенорком спрашивает из-за двери мужской голос.

— Ее нет...— Люся притихла в ожидании.

— А вы откройте, не бойтесь,— говорит тот же голос.— Кто это говорит со мной?

— Люся.

— Люся? Валина сестренка? Вы откройте, не бойтесь...

Люся открывает. На крыльце стоит незнакомый ей высокий, стройный и скромный молодой человек. Люся воспринимает его как взрослого мужчину. У него добрые глаза и мужественная складка очень серьезного лица. Он, улыбаясь одними глазами, смотрит на Люсю и делает ей под козырек.

— Скоро она вернется? — вежливо спрашивает он.

Люся принимает этот знак уважения благосклонно.

— Не знаю,— говорит она, снизу вверх глядя в глаза этому мужчине.

В лице у него разочарование. Некоторое время он стоит молча, потом снова берет под козырек. Но едва он по-солдатски поворачивается уходить, Люся быстро спрашивает:

— А что передать?

В глазах у него мгновенно возникает насмешливое выражение, и он говорит:

— Передайте, что жених приходил...

И сбегает с крыльца.

— И вы сразу уходите? А как же она вас найдет? — в волнении торопливо говорит Люся вслед ему.

Но она говорит это слишком робко и слишком поздно. Он уже удаляется по Деревянной улице в сторону к переезду.

У Вали жених... Люся взволнована. Конечно, она не может рассказать об этом папе. Об этом невозможно рассказать и маме. «Никто же его у нас в доме не знает!.. Но, может быть, они еще не женятся?» — успокаивает себя Люся.

Молодые люди — двое юношей, почти мальчиков, и две девушки гуляют в степи. Почему в такое страшное

время, когда решительно никто не гуляет, двое юношей и две девушки гуляют в степи? Они гуляют очень далеко от города в будний день, в рабочее время. Но, с другой стороны, гулять никем не запрещено.

Они гуляют попарно, юноша с жесткими, чуть курчавыми волосами, босой, ловкий и быстрый в движениях и загорелая девушка с голыми, покрытыми пушком ногами и руками и светло-русыми золотистыми косами; другой юноша, белоголовый, маленький, веснушчатый, и с ним девушка, тихая, не броско одетая, с умненькими глазками,— ее зовут Тося Мащенко. Пары то расходятся далеко-далеко, то опять сходятся в одно место. Они гуляют неутомимо с утра до вечера, страдая от жажды, под слепящим солнцем, от которого у белоголового юноши становится втрое больше веснушек. И всякий раз приносят что-нибудь в руках и в карманах: патроны, гранаты, иногда немецкое ружье, револьвер, русскую винтовку. В этом нет ничего удивительного: они гуляют в районе последних боев отступившей Красной Армии, возле станции Верхнедуванной. Вместо того чтобы снести это оружие немецкому коменданту, они сносят его в одно скрытое место у рощи и зарывают. Но их никто не видит.

Однажды паренек, быстрый в движениях, который всеми коноводит, находит заряженную мину и на глазах девушки со светло-русыми косами, с необыкновенной точностью орудуя шустрыми пальцами, разряжает эту мину.

Несомненно, в этом районе должно быть много мин. Он научит всех, как их разряжать. Мины тоже пригодятся.

Девушка с золотистыми косами возвращается домой вечером, сильно загоревшая, усталая, возбужденная,— и это уже не в первый вечер. Люсе удается на минутку увлечь ее в садик. Поблескивая в темноте белками глаз, Люся страшным шепотом сообщает ей о женихе.

— Какой жених? Что ты мелешь? — сердито говорит Валя, немного растерявшись.

Мысль о том, что, может быть, это шпион, подосланный немцами, и противоположная мысль, что это представитель подпольной большевистской организации, узнавший о деятельности Вали, разыскивает ее,— оба эти предположения быстро отпадают. Хотя Валя начинена

литературой приключений, как мина взрывчатым веществом, она человек реального, практического склада, как все ее поколение. Она перебирает в памяти всех своих знакомых. И вдруг ее точно озаряет. Весна прошлого года... прощальный спектакль драмкружка в клубе имени Ленина,— проводы Вани Туркенича в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище. Он в роли жениха, Валя — невесты... «Жених»!.. Ну да, конечно!

Ваня Туркенич! Обычно он всегда играл роли комических стариков. Конечно, здесь не Московский художественный театр. «Моя установка такая,— говорил Ваня,— зритель от первого ряда до последнего должен сидеть мокрый от хохота». И это ему вполне удавалось. В чем бы он ни выступал, в «Бесталанной» или «На перши гули», он неизменно гримировался под садовника Данилыча. Но ведь он же на фронте, как же он мог очутиться в Краснодоне? Он же лейтенант Красной Армии. Прошлой зимой он заезжал в город по дороге в Сталинград, куда его послали переучиваться стрелять из зенитных пушек по танкам.

— Вечно ты, мама,— ну какое тебе дело? Я не хочу ужинать! — И Валя мчится к Олегу.

Туркенич в Краснодоне!

Маленькая беленькая девушка идет через всю большую землю. Она прошла уже всю Польшу и всю Украину,— песчинка в неисчислимом людском песке, заблудившееся семечко... Так доходит она до «Первомайки» и стучится в окно маленького домика.

«Если среди сестер Иванцовых ты видишь одну беленькую, то знай, что это сестры Иванихины...»

Лиля Иванихина, пропавшая без вести на фронте, вернулась под родной кров.

Уля узнала об этом от Майи Пегливановой и Саши Бондаревой. Вернулась Лиля, добрая веселая Лиля, душа их компании, первая из них оторвавшаяся от семьи и подруг, первая окунувшаяся в этот страшный мир борьбы, пропавшая без вести, уже похороненная и вновь воскресшая!

И все три подруги — тоненькая, с мальчишескими ухватками, Саша Бондарева, смуглая, как цыганка,

Майя, с самолюбиво вывернутой полной нижней губкой, всегда деятельная и даже при немецком господстве нисколько не утратившая привычки всех поправлять и всех воспитывать, и Уля со своими волнистыми черными косами, выпущенными на грудь, поверх темно-синего, в белую крапинку, простого платья, почти единственного, оставшегося после пребывания в их доме немецких солдат,— все три подруги побежали к Иванихиным, жившим в центре поселка, недалеко от школы.

Было даже странно бежать по поселку, в котором не было уже ни одного немца. Девушками овладело чувство свободы, они сами не заметили, как оживились. В черных глазах Ули заблестела веселая и такая неожиданная на ее лице озорная улыбка, и эта улыбка вдруг словно отразилась на лицах подруг и на всем, что их окружало. Едва они поравнялись с зданием школы, в глаза им бросился наклеенный на одной створке большой школьной двери яркий плакат. Точно по уговору, девушки разом взбежали на крыльцо.

На плакате изображена немецкая семья. Улыбающийся пожилой немец в шляпе, в рабочем переднике и в полосатой сорочке с галстуком бабочкой, с сигарой в руке. Белокурая, тоже улыбающаяся, моложавая полная женщина, в чепчике и розовом платье, окруженная детьми всех возрастов, начиная от толстого годовалого, с надутыми щеками мальчика и кончая белокурой девушкой с голубыми глазами. Они стоят у двери сельского домика с высокой черепичной крышей, по которой гуляют зобатые голуби. И этот мужчина, и женщина, и все дети, из которых младший даже протягивает ручонки, улыбаются навстречу идущей к ним девушке с белым эмалированным ведром в руке. Девушка в ярком сарафане, в белом кружевном переднике, в таком же чепчике, как хозяйка, и в изящных красных туфельках, полная, с сильно вздернутым носом, неестественно румяная. Она тоже улыбается так, что все ее крупные белые зубы наружу. На дальнем плане картины рига и хлев под высокой черепичной крышей с прогуливающимися голубями, кусок голубого неба, кусок поля с колосящейся пшеницей и большие пятнистые коровы у хлева.

Внизу плаката написано по-русски: «Я нашла здесь дом и семью». А ниже, справа: «Катья».

Уля, Майя и Саша особенно сблизились между собой за то время, что в городе стояли немецкие солдаты. Они даже ночевали одна у другой, когда у кого-нибудь из них останавливались немцы на постой, а квартира какой-либо из подруг была свободна. Но за все это время они, точно по молчаливому соглашению, как бы чувствуя, что еще не созрели для этого, не говорили друг с другом по самому большому и главному вопросу их жизни — о том, как жить при немцах. Так и теперь они только переглянулись и молча сошли с крыльца и так же молча, не глядя друг на друга, пошли к Иванихиным.

Сиявшая от счастья младшая из сестер, Тоня, со своими длинными ногами еще не девушки и уже не девочки, со своим крупным носом и толстыми прядями темно-каштановых волос, выбежала из домика навстречу им.

— Девочки! Слыхали? Боже, я так рада! — заговорила она, сразу увлажняясь слезами.

В доме полно было девушек. Среди них Уле бросились в глаза недавно вернувшиеся в город сестры Иванцовы, Оля и Нина, которых она не видела уже много месяцев.

Но что сталось с Лилей! Со своими светлыми волосами и добрыми-добрыми веселыми глазами, она всегда была такая беленькая, чистая, мягкая, круглая, как сдобная. Теперь она стояла перед Улей, опустив вдоль высохшего тела беспомощные руки, ссутулившись. Бледное личико ее подернулось нездоровым загаром, один крупный похудевший носик выделялся на лице ее, да глаза смотрели с прежним, добрым выражением... Нет, не прежним!

Уля молча, порывисто обняла Лилю и долго не отпускала ее, прижав ее личико к своей груди. А когда Лиля отняла лицо свое от груди Ули, в нем не было выражения размягченности или растроганности. Добрые глаза Лили глядели с каким-то нездешним, отчужденным выражением, как будто то, что Лиля пережила, так отдалило ее от подруг детства, что она не могла уже разделять с ними их обычных, повседневных чувств, как бы сердечно и бурно они ни выражались.

Саша Бондарева перехватила Лилю и завертела ее по комнате.

— Лилька! Ты ли это?.. Лилечка, дружочек, золотко мое! Как же ты исхудала! Но ничего, ничего, ничего, мы тебя откормим. Счастье, что ты нашлась, Лилечка, счастье наше! — говорила Саша со своей непосредственной стремительной манерой выражения чувств и кружила Лилю по комнате.

— Да отпусти ты ее! — смеялась Майя, самолюбиво вывернув нижнюю полную своевольную губку. И она тоже обняла Лилю и расцеловала ее.— Рассказывай, рассказывай!— тотчас же сказала Майя.

И Лиля, усевшись на стул в центре кружка дивчат, сдвинувшихся к ней, продолжала рассказывать спокойным, тихим голосом:

— Правда, нам трудно было среди мужчин, но я была рада, не то что рада, а просто счастлива, что меня не разлучили с нашими ребятами из батальона. Ведь мы же все отступление прошли вместе, столько людей потеряли... Знаете, девочки, всегда жалко, когда гибнут свои люди. Но когда в ротах по семь-восемь человек в строю и всех знаешь по именам, тогда каждого, как родного, отрываешь от сердца... Помню, в прошлом году меня привезли в Харьков, раненную, положили в хороший госпиталь, а я все думаю: «Ну, как же они там, в батальоне, без меня?» Каждый день письма писала, и мне все писали, и отдельные и коллективные, а я все думала: «Когда же, когда же?» Потом мне отпуск дали, а после отпуска я попала бы в другую часть, а я упросила коменданта, и он меня устроил в эшелон к нашим... Я по Харькову все пешком ходила, потому что один раз села в трамвай и так расстроилась. Увидела, что есть у нас такие люди, что друг дружку толкают, оскорбляют: и я не за себя, а за них расстроилась,— даже неудобно: военная, а у меня слезы текут, а мне вдруг так обидно и жалко стало за этих людей. «Ах, если бы вы знали,— думала я,— как у нас на фронте каждый день гибнут люди, тихо, без лишних слов, как они друг друга берегут, а не самих себя, а ведь это же ваши мужья, отцы, сыновья... Если бы вы только вдумались в это, вы бы вместо того, чтобы грубить, оскорблять друг друга, вы бы должны были уступать друг дружке дорогу, говорить самые ласковые слова, а если кого-нибудь невзначай обидели, утешить и погладить его по головке...»

Она рассказывала все это ровным, тихим голосом, глядя не на подруг, а куда-то сквозь них, а они, притихшие, подавшись к ней, слушали, не отводя от нее просветленных глаз.

— Жили мы в лагере прямо под небом. Дождь идет, так под дождём трусимся; кормили нас одной баландой на отрубях, а то на картофельной шелухе, а работа все ж таки тяжелая, дороги копать, ребята наши таяли, как свечки. День за днем, день за днем, а многих уж нет. Мы, женщины,— Лиля так и сказала: «мы, женщины», а не девушки,— мы, женщины, все ж таки выдерживали дольше, чем мужчины. Там был один наш парень из батальона, сержант Федя, я с ним дружила, очень дружила,— тихо сказала Лиля,—он все шутил про нас, про женщин: «У вашей сестры внутренний запас». А сам он, когда нас уже стали перегонять в другой лагерь, сам-то уж он не выдержал, и его конвойный пристрелил. Но он не сразу умер, а еще жил и все смотрел на меня, как я ухожу, а я уже не могла его ни обнять, ни поцеловать, а то б и меня убили...

Лиля рассказала, как их перегнали в другой лагерь, и там, в женском отделении лагеря, была надсмотрщица немка, Гертруда Геббех, и эта волчица терзала девушек до смерти. И Лиля рассказала, как они, женщины, сговорились или погибнуть самим, или уничтожить Гертруду Геббех. Им удалось, возвращаясь ночью с работы в лесу, обмануть охрану, подкараулить Гертруду Геббех и накрыть ее шинелью и задушить. И они, несколько женщин и девушек, бежали. Но они не могли вместе идти через всю Польшу и Украину и разошлись. Лиля одна добиралась эти сотни и сотни километров, и ее прятали и кормили поляки, а потом наши украинцы.

Все это рассказывала Лиля, когда-то такая же обыкновенная краснодоночка, беленькая, толстая, добрая девочка,— она была такая же, как они все. И трудно было представить себе, что это она душила Гертруду Геббех и потом прошла вот этими маленькими ногами с вздувшимися жилками через всю Польшу и Украину, занятую немцами. И каждая из девушек думала о себе: «А если бы все это выпало на мою долю, смогла ли бы я вынести все это и как бы я себя вела?»

Она была прежняя Лиля, но она была другая. Нельзя сказать, чтобы она ожесточилась сердцем после всего, что перенесла, она не выказывалась и не заносилась перед подругами, нет, она стала многое понимать в жизни. В каком-то смысле она стала даже добрее к людям, точно она узнала им цену. И при всем том, что она и физически и душевно стала как бы суше, этот великий человеческий свет добра озарял ее исхудавшее лицо.

Все девушки снова стали целовать Лилю, каждой хотелось погладить ее или хотя бы дотронуться до нее. И только Шура Дубровина, девушка постарше, студентка, была сдержаннее других, потому что она уже ревновала Майю Пегливанову к Лиле.

— И что это, дивчата, у всех глаза на мокром месте в самом деле! — воскликнула Саша Бондарева.— Давайте заспиваем!

И она было затянула «Спят курганы темные», но тут девушки зашикали на нее: разные люди жили в поселке, и мог забрести кто-нибудь из «полицаев». Стали подбирать какую-нибудь старинную украинскую, а Тоня предложила «Землянку».

— Она и наша, и вроде не придерешься,— робко сказала Тоня.

Но все нашли, что и так невесело на душе, а с этой «Землянкой» еще расплачешься. И Саша, которая среди всех первомайских девушек была главная певунья, затянула:

На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего...

И все подхватили. В этой песне не было ничего, что могло бы насторожить полицейское ухо. Но это была песня, много раз слышанная девушками по радио в исполнении любимого хора имени Пятницкого, и именно потому, что они не раз слышали песню по радио из Москвы, теперь они точно проделывали с этой песней обратный путь отсюда, из «Первомайки», в Москву.

Вся та жизнь, в которой девушки росли, которая была для них такой же естественной жизнью, какой живут в поле жаворонки, вошла в комнату вместе с этой песней.

Уля подсела к сестрам Иванцовым, но старшая, Оля, увлеченная пением, только ласково и сильно пожала Уле руку повыше локтя,— в глазах у нее точно синий пламень горел, отчего ее лицо с неправильными чертами стало даже красивым. А Нина, с вызовом смотревшая вокруг себя из-под могучего раскрылия бровей, вдруг склонилась к Уле и жарко шепнула ей в ухо:

— Тебе привет от Кашука.

— Какого Кашука? — так же шепотом спросила Уля.

— От Олега. Для нас,— подчеркнуто сказала Нина,— он теперь всегда будет Кашук.

Уля смотрела перед собой, не понимая.

Поющие девушки оживились, раскраснелись. Как им хотелось забыть, хотя бы на это мгновение, все, что окружало их, забыть немцев, «полицаев», забыть, что надо регистрироваться на немецкой бирже труда, забыть муки, перенесенные Лилей, забыть, что дома уже волнуются их матери, почему так долго нет дочерей! Как им хотелось, чтобы все было, как прежде! Они кончали одну песню и начинали другую.

— Девочки, девочки! — вдруг сказала Лиля своим тихим, проникновенным голосом.— Сколько раз, когда я сидела в лагере, когда шла через Польшу, ночью, босая, голодная, сколько раз я вспоминала нашу Первомайку, нашу школу и всех вас, девочки, как мы собирались и как в степь ходили и пели... и кому же это, и зачем же это надо было все это разломать, растоптать? Чего же это не хватает людям на свете?.. Улечка! — вдруг сказала она.— Прочти какие-нибудь хорошие стихи, помнишь, как раньше...

— Какие же? — спросила Уля.

Девушки наперебой стали выкликать любимые стихи Ули, которые они не раз слышали в ее исполнении.

— Улечка, прочти «Демона»,— сказала Лиля.

— А что из «Демона»?

— На твой выбор.

— Пусть всего читает!

Уля встала, тихо опустила руки вдоль тела и, не чинясь и не смущаясь, с той природной, естественной манерой чтения, которая свойственна людям, не пишущим стихов и не исполняющим их со сцены, начала спокойным, свободным, грудным голосом:

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой...
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!..

И странное дело,— как и все, что пели девушки, то, что Уля читала, тоже мгновенно приобрело живое, жизненное значение. Словно та жизнь, на которую девушки были теперь обречены, вступала в непримиримое противоречие со всем прекрасным, созданным в мире, независимо от характера и времени создания. И то, что в поэме говорило как бы и за Демона и как бы против него,— все это в равной степени подходило к тому, что испытывали девушки, и в равной мере трогало их.

Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений? —

читала Уля. И девушкам казалось, что действительно никто так не страдает на свете, как они.

Вот уже ангел на своих золотых крыльях нес грешную душу Тамары, и адский дух взвился к ним из бездны.

Исчезни, мрачный дух сомненья!—

читала Уля с тихо опущенными вдоль тела руками.

...Дни испытания прошли;
С одеждой бренною земли
Оковы зла с нее ниспали.
Узнай! давно ее мы ждали!
Ее душа была из тех,
Которых жизнь одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех...
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!

Лиля уронила свою белую головку на руки и громко, по-детски заплакала. Девушки, растроганные, кину-

лись ее утешать. И тот ужасный мир, в котором они жили, снова вошел в комнату и словно отравил душу каждой из них.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

С того самого дня, как Анатолий Попов, Уля и Виктор с отцом вернулись в Краснодон после неудачной эвакуации, Анатолий не жил дома, а скрывался у Петровых, на хуторе Погорелом. Немецкая администрация еще не проникла на хутор, и Петровы жили открыто.

Анатолий вернулся в «Первомайку», когда ушли немецкие солдаты.

Нина Иванцова передала ему и Уле, чтобы они — лучше Уля, которую меньше знали в городе,— немедленно установили личную связь с Кошевым и наметили группу ребят и дивчат, первомайцев, которые хотят бороться против немцев и на которых можно положиться. Нина намекнула, что Олег действует не только от себя, и передала некоторые его советы: говорить с каждым поодиночке, не называть других, не называть, конечно, и Олега, но дать понять, что они действуют не от себя лично.

Потом Нина ушла. А Анатолий и Уля прошли к спуску в балочку, разделявшую усадьбы Поповых и Громовых, и сели под яблоней.

Вечер опустился на степь, на сады.

Немцы изрядно повредили садик Поповых, особенно вишневые деревья, на многих из которых обломаны были ветви с вишнями, но все же он сохранился внешне такой же уютный, опрятный, как и в те времена, когда им занимались вместе отец и сын.

Преподаватель естествознания, влюбленный в свой предмет, подарил Анатолию при переходе из восьмого класса в девятый книгу о насекомых: «Питомцы грушевого дерева». Книга была так стара, что в ней не было первых страниц и нельзя было узнать, кто ее автор.

У входа в садик Поповых стояла старая-старая груша, еще более старая, чем книга, и Анатолий очень любил эту грушу и эту книгу.

Осенью, когда поспевали яблоки,— яблоневые деревья были гордостью семейства Поповых,— Анатолий

обычно спал на топчане в саду, чтобы мальчишки не покрали яблок. А если была дождливая погода и приходилось спать в комнате, он проводил сигнализацию: опутывал ветви яблонь тонким шпагатом, который соединялся с веревкой, протянутой из сада в окно. Стоило коснуться хотя бы одной из яблонь, как у изголовья кровати Анатолия с грохотом обрушивалась связка пустых консервных банок, и он в одних трусах мчался в сад.

И вот они сидели в этом саду, Уля и он, серьезные, сосредоточенные, полные ощущения того, что с момента разговора с Ниной они вступили на новый путь жизни.

— Нам не приводилось говорить с тобой по душам, Уля,— говорил Анатолий, немножко смущаясь ее близостью,— но я давно уважаю тебя. И я думаю, пришла пора поговорить нам откровенно, до конца откровенно... Я думаю, это не будет преувеличением нашей роли, зазнайством, что ли, дать отчет в том, что именно ты и я можем взять на себя все это — организовать наших ребят и дивчат на Первомайке. И мы должны договориться прежде всего, как мы сами-то будем жить... Например, сейчас идет регистрация на бирже. Я лично не пойду на биржу. Я не хочу и не буду работать на немцев. Клянусь перед тобой, я не сойду с этого пути! — говорил он сдержанным, полным силы голосом.— Если придется, я буду скрываться, прятаться, перейду на подпольное положение, погибну, но не сойду с этого пути!

— Толя, ты помнишь руки того немца, ефрейтора, который копался в наших чемоданах? Они были такие черные от грязи, заскорузлые, цепкие, я теперь их всегда вижу,— тихо говорила Уля.— В первый же день, когда я приехала, я опять их увидела, как они рылись в наших постелях, в сундуке, они резали платья материнские, мои и сестрины на свои шарфы-косынки, они не брезгали даже искать в грязном белье, но они хотят добраться и до наших душ... Толя! Я провела не одну ночь без сна у нас на кухоньке,— ты знаешь, она у нас совсем отдельная,— я сидела в полной темноте, слушала, как немцы горланят в доме и заставляют прислуживать больную мать, я сидела так не одну ночь, я проверяла себя. Я все думала: хватит ли силы у меня, имею ли я

право вступить на этот путь? И я поняла, что иного пути у меня нет. Да, я могу жить только так, или я не могу жить вовсе. Клянусь матерью своей, что до последнего дыхания я не сверну с этого пути! — говорила Уля, глядя на Анатолия своими черными глазами.

Волнение охватило их. Некоторое время они молчали.

— Давай наметим, с кем поговорить в первую очередь,— хрипло сказал Анатолий, овладев собой.— Может быть, начнем с дивчат?

— Конечно, Майя Пегливанова и Саша Бондарева. И, конечно, Лиля Иванихина. А за Лилей пойдет и Тоня. Думаю, еще — Лина Самошина, Нина Герасимова,— перечисляла Уля.

— А эта наша активистка, ну, как ее,— пионервожатая?

— Вырикова? — Лицо Ули приняло холодное выражение.— Знаешь, я тебе что скажу. Бывало, мы все в тяжелые дни резко высказывались о том, о другом. Но должно же быть у человека в душе святое, то, над чем, как над матерью родной, нельзя смеяться, говорить неуважительно, с издевкой. А Вырикова... Кто ее знает?.. Я бы ей не доверилась...

— Отставить, присмотримся,— сказал Анатолий.

— Скорей уж Нина Минаева,— сказала Уля.

— Светленькая, робкая такая?

— Ты не думай, она не робкая, она застенчивая, а она очень твердых убеждений.

— А Шура Дубровина?

— О ней мы у Майи спросим,— улыбнулась Уля.

— Слушай, а почему ты не назвала лучшей своей подруги, Вали Филатовой? — вдруг с удивлением спросил Анатолий.

Уля некоторое время сидела молча, и Анатолий не мог видеть, какие чувства отражались на лице ее.

— Да, она была лучшей моей подругой, я по-прежнему люблю ее, и я, как никто, знаю ее доброе сердце, но она не может вступить на этот путь, она бессильная,— мне кажется, она может быть только жертвой,— сказала Уля, и что-то дрогнуло у нее в губах и в ноздрях.— А из ребят кого? — спросила она, точно желая отвести разговор.

— Среди ребят, конечно, Виктор, я уже с ним говорил. И если ты назвала Сашу Бондареву, и назвала, конечно, правильно, то надо и Васю, брата ее. И, конечно, Женька Шепелев и Володька Рагозин... Кроме того, я думаю, Боря Главан,— знаешь, молдаванин, что эвакуировался из Бессарабии...

Так они перебирали своих подруг и товарищей. Месяц, уже пошедший на убыль, но все еще большой, красным заревом стоял за деревьями, густые резкие тени легли вдоль сада, тревожная таинственность была разлита во всей природе.

— Какое счастье, что и ваша и наша квартиры свободны от немцев! Мне невыносимо было бы видеть их, особенно сейчас,— сказала Уля.

Со времени возвращения Уля жила одна в крохотном помещении кухоньки, примыкавшей к ряду домашних пристроек. Уля засветила ночник, стоявший на печке, и некоторое время сидела на постели, глядя перед собой. Она была наедине с собой и своей жизнью, в том состоянии предельной открытости перед собой, какое бывает в минуты больших душевных свершений.

Она опустилась возле постели, вытащила чемоданчик и из глубины его, из-под белья, вынула сильно потрепанную клеенчатую тетрадку. С момента отъезда из дома Уля не брала ее в руки.

Полустершаяся запись карандашом на первой же странице, как бы эпиграф ко всему, сама говорила о том, почему Уля завела эту тетрадку и когда это было:

«В жизни человека бывает период времени, от которого зависит моральная судьба его, когда совершается перелом его нравственного развития. Говорят, что этот перелом наступает только в юности. Это неправда: для многих он наступает в самом розовом детстве (Помяловский)».

С чувством одновременно и грустно-приятным, и удивления перед тем, что она, будучи почти ребенком, записывала то, что так отвечало ее теперешнему душевному состоянию, она читала на выборку то одно, то другое:

«В сражении нужно уметь пользоваться минутой и обладать способностью быстрого соображения».

«Что может противостоять твердой воле человека? Воля заключает в себе всю душу, хотеть — значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, жить; одним словом, воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, творческая власть, которая из ничего делает чудеса!.. (Лермонтов)».

«Я не могу найти себе места от стыда. Стыдно, стыдно,— нет, больше, позорно смеяться над тем, кто плохо одет! Я даже не могу вспомнить, когда я взяла это себе в привычку. А сегодня этот случай с Ниной М.,— нет, я даже не могу писать... Все, что я ни вспомню, заставляет меня краснеть, я вся горю. Я сблизилась даже с Лизкой У., потому что мы вместе высмеивали, кто плохо одет, а ведь ее родители... об этом не нужно писать, в общем она дрянная девчонка. А сегодня я так надменно, именно надменно насмеялась над Ниной и даже потянула за кофточку так, что кофточка вылезла из юбки, а Нина сказала... Нет, я не могу повторить ее слова. Но ведь я никогда не думала так дурно. Это началось у меня от желания, чтобы все, все было красиво в жизни, а вышло по-другому. Я просто не подумала, что многие еще могут жить в нужде, а тем более Нина М., она такая беззащитная... Клянусь, Ниночка, я больше никогда, никогда не буду!»

Дальше шла приписка карандашом, сделанная, очевидно, на другой день: «И ты попросишь у нее прощения, да, да, да!..»

Через две странички было записано:

«Самое дорогое у человека — жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое (Н. Островский)».

«Все-таки комичный этот М. Н.! Конечно, я не скрою, мне приятно провести с ним время (иногда). И он хорошо танцует. Но он очень любит подчеркнуть свое звание и прихвастнуть своими орденами, а мне это как раз совсем неважно. Вчера он заговорил о том, что я уже давно ждала, но чего совсем не хотела... Я посмеялась и не жалею. А то, что он сказал,— покончу с собой,— это и неправда, и свинство с его стороны. Он такой толстый,

ему бы надо быть на фронте, с ружьем походить. Никогда, никогда, никогда!..»

«Храбрейший среди скромных наших командиров и скромнейший среди храбрых — таким я помню товарища Котовского. Вечная ему память и слава! (Сталин)».

Уля сидела, склонившись над своей ученической тетрадкой, пока не услышала, как тихо хлопнула калитка и чьи-то легкие маленькие ноги пробежали через дворик к двери в кухоньку.

Дверца без стука отворилась, и Валя Филатова, ничего не видя перед собой, подбежала к Уле, упала на колени на земляной пол и уткнулась лицом в колени Ули.

Некоторое время они молчали. Уля чувствовала вздымающуюся грудь Вали и биение ее сердца.

— Что с тобой, Валечка? — тихо спросила Уля.

Валя подняла лицо с полуоткрытым влажным ртом.

— Уля! — сказала она.— Меня угоняют в Германию!

При всем своем глубоком отвращении к немцам и ко всему, что они делали в городе, Валя Филатова до дурноты боялась немцев. С первого дня их прихода она все время ждала, что вот-вот должно случиться что-то ужасное с ней или с матерью.

После того как вышел приказ о регистрации на бирже, а Валя все еще не выполнила этого приказа, она жила в ожидании ареста, чувствуя себя преступницей, ставшей на путь борьбы с немецкой властью.

Этим утром, идя на рынок, она встретила несколько первомайцев, уже сходивших на регистрацию: они шли на работу по восстановлению одной из мелких шахтенок, каких немало было в районе «Первомайки».

И тогда Валя, стыдясь признаться Уле в своей слабости, тайно от нее пошла на регистрацию.

Биржа труда помещалась в одноэтажном белом доме, на холме, неподалеку от районного исполкома. Небольшая очередь в несколько десятков человек, молодых и пожилых, главным образом женщин и девушек, стояла у входа в здание. Валя издали узнала в очереди одноклассницу по первомайской школе Зинаиду Вырикову. Валя узнала ее по маленькому росточку и по гладким,

точно приклеенным волосам и торчащим вперед коротким острым косичкам и подошла к ней, чтобы попасть в очередь поближе.

Нет, это была не одна из тех очередей, в которых немало пришлось постоять людям в дни войны — и в хлебной, и в продовольственной, и за получением продкарточек, и даже при мобилизации на трудовой фронт. Тогда каждый старался попасть поближе, и люди ссорились, если кто-нибудь проходил без очереди, используя знакомство или служебное положение. Это была очередь на немецкую биржу труда, никто не стремился попасть туда раньше других. Вырикова молча взглянула на Валю недобрыми, близко сведенными глазами и уступила ей место перед собой.

Очередь продвигалась довольно быстро,— входили по двое. Валя, державшая у груди в потной руке паспорт, завернутый в платочек, вошла вместе с Вырико вой.

В комнате, где регистрировали, прямо против входа стоял длинный стол, за которым сидели толстый немецкий ефрейтор и русская женщина с очень нежной розовой кожей лица и неестественно развитым длинным подбородком. И Валя и Вырикова знали ее: она преподавала в краснодонских школах, в том числе и в первомайской, немецкий язык. Как это ни странно, но фамилия ее тоже была Немчинова.

Девушки поздоровались с ней.

— А... мои воспитанницы! — сказала Немчинова и неестественно улыбнулась, опустив длинные темные ресницы.

В комнате стучали машинки. К дверям направо и налево протянулись две небольшие очереди.

Немчинова спрашивала у Вали сведения о возрасте, родителях, адрес и записывала в длинную ведомость. Одновременно она переводила все эти данные немецкому ефрейтору, и он заносил все это в другую ведомость по-немецки.

Пока Немчинова спрашивала ее, кто-то вышел из комнаты направо, а кто-то вошел. Вдруг Валя увидела молодую женщину со сбившейся прической, неестественно красным лицом, со слезами на глазах. Она быстро прошла через комнату, одной рукой застегивая кофточку на груди.

В это время Немчинова еще что-то спросила Валю.

— Что? — спросила Валя, провожая глазами эту молодую женщину со сбившейся прической.

— Здорова? Ни на что не жалуешься? — спрашивала Немчинова.

— Нет, я здорова,— сказала Валя.

Выpикова вдруг дернула ее сзади за кофточку. Валя обернулась, но Выpикова смотрела мимо нее близко сведенными. безразличными глазами.

— К директору! — сказала Немчинова.

Валя машинально перешла в очередь направо и оглянулась на Вырикову. Вырикова механически отвечала на те же вопросы, какие задавали и ее подруге.

В комнате у директора было тихо, только изредка доносились отрывистые негромкие восклицания по-немецки. Пока опрашивали Вырикову, из комнаты директора вышел паренек лет семнадцати. Он был растерян, бледен и тоже застегивал на ходу гимнастерку.

В это время Валя услышала, как маленькая Вырикова резким своим голосом сказала:

— Вы же сами знаете, Ольга Константиновна, что у меня тебеце,— вот, слышите? — И Вырикова стала демонстративно дышать на Немчинову и на толстого немецкого ефрейтора, который, отпрянув на стуле, с изумлением смотрел на Вырикову круглыми петушиными глазами. В груди у Вирковой действительно что-то захрипело.— Я нуждаюсь в домашнем уходе,— продолжала она, бесстыдно, глядя то на Немчинову, то на ефрейтора,— но если бы здесь, в городе, я бы с удовольствием, просто с удовольствием! Только я очень прошу вас, Ольга Константиновна, по какой-нибудь интеллигентной, культурной профессии. А я с удовольствием пойду работать при новом порядке, просто с удовольствием!

«Боже мой, что она городит такое?» — подумала Валя, с бьющимся сердцем входя в комнату директора.

Перед ней стоял немец в военном мундире, упитанный, с гладко прилизанными на прямой пробор серо-рыжими волосами. Несмотря на то, что он был в мундире, он был в желтых кожаных трусиках и в коричневых чулках, с голыми коленками, обросшими волосами, как шерстью. Он бегло и равнодушно взглянул на Валю и закричал:

— Раздевайт! Раздевайт!

Валя беспомощно повела глазами. В комнате, за столом, сидел еще только немецкий писарь, возле него стопками лежали старые паспорта.

— Раздягайся, чуешь? — сказал немецкий писарь по-украински.

— Как?..— Валя вся так и залилась краской.

— Как! Как! — передразнил писарь.— Скидай одежду!

— Schneller! Schneller! — отрывисто сказал офицер с голыми, обросшими волосами коленями. И вдруг, протянув к Вале руки, он чисто промытыми узловатыми пальцами, тоже поросшими рыжими волосами, раздвинул Вале зубы, заглянул в рот и начал расстегивать ей платье.

Валя, заплакав от страха и унижения, быстро начала раздеваться, путаясь в белье.

Офицер помогал ей. Она осталась в одних туфлях. Немец, бегло оглядев ее, брезгливо ощупал ее плечи, бедра, колени и, обернувшись к солдату, сказал отрывисто и так, точно он говорил о солдате:

— Tauglich! [1]

— Пачпорт! — не глядя на Валю, крикнул писарь, протянув руку.

Валя, прикрываясь одеждой, всхлипывая, подала ему паспорт.

— Адрес!

Валя сказала.

— Одягайся,— мрачно и тихо сказал писарь, бросив ее паспорт на другие.— Будет извещенье, когда являться на сборный пункт.

Валя пришла в себя уже на улице. Жаркое дневное солнце лежало на домах, на пыльной дороге, на выжженной траве. Уже больше месяца как не было дождя. Все вокруг было пережжено и высушено. Воздух дрожал, раскаленный.

Валя стояла посреди дороги в густой пыли по щиколотку. И вдруг, застонав, опустилась прямо в пыль. Платье ее надулось вокруг пузырем и опало. Валя уткнула лицо в ладони.

---

[1] Годен!

Вырикова привела ее в себя. Они спустились с холма, где стояло здание райисполкома, и мимо здания милиции, через «Восьмидомики», пошли к себе на «Первомайку». Валю то знобило, то бросало в жаркий пот.

— Дура ты, дура! — говорила Вырикова.— Так вам и надо, таким!.. Это же немцы,— с уважением и даже подобострастием сказала Вырикова,— к ним надо уметь приспособиться!

Валя, не слыша, шла рядом с ней.

— У ты, дура такая! — со злобой говорила Вырикова.— Я же дала тебе знак. Надо было дать понять, что ты хочешь им помогать здесь, они это ценят. И надо было сказать: нездорова... Там, на комиссии, врачом Наталья Алексеевна с городской больницы, она всем дает освобождение или неполную годность, а немец там просто фельдшер и ни черта не понимает. Дура, дура и есть! А меня определили на службу в бывшую контору «Заготскот», еще и паек дадут...

Первым движением Ули было движение жалости. Она обняла Валину голову и стала молча целовать ей волосы, глаза. Потом у нее зародились планы спасения Вали.

— Тебе надо бежать,— сказала Уля,— да, да, бежать!

— Куда же, куда, боже мой? — беспомощно и в то же время раздраженно говорила Валя.— У меня же нет теперь никаких документов!

— Валечка, милая,— заговорила Уля ласковым шепотом,— я понимаю, кругом немцы, но ведь это же наша страна, она большая, ведь кругом все те же люди, среди которых мы жили, ведь можно же найти выход из положения! Я сама помогу тебе, все ребята и дивчата помогут.

— А мама? Что ты, Улечка! Они же замучают ее! — Валя заплакала.

— Да не плачь же ты, в самом деле! — в сердцах сказала Уля.— А если тебя в Германию угонят, ты думаешь, ей будет легче? Разве она это переживет?

— Улечка... Улечка... За что ты еще больше мучаешь меня?

— Это отвратительно, что ты говоришь, это... это позорно, гадко... Я презираю тебя! — со страшным, же-

стоким чувством сказала Уля.— Да, да, презираю твою немощность, твои слезы... Кругом столько горя, столько людей, здоровых, сильных, прекрасных людей гибнет на фронте, в фашистских концлагерях, застенках,— подумай, что испытывают их жены, матери, но все работают, борются! А ты, девчонка, тебе все дороги открыты, тебе предлагают помощь, а ты хнычешь, да еще хочешь, чтобы тебя жалели. А мне тебя не жалко, да, да, не жалко! — говорила Уля.

Она резко встала, отошла к двери и, прислонившись к ней заложенными за спину руками, стояла, глядя перед собой гневными черными глазами. Валя, уткнувшись лицом в постель Ули, молча стояла на коленях.

— Валя! Валечка!.. Вспомни, как мы жили с тобой. Сердечко мое! — вдруг сказала Уля.— Сердечко мое!

Валя зарыдала в голос.

— Вспомни, когда же я посоветовала тебе что-нибудь дурное? Помнишь, тогда, с этими сливами, или когда ты кричала, что не переплывешь, а я сказала, что я тебя сама утоплю? Валечка! Я тебя умоляю...

— Нет, нет, ты покинула меня! Да, ты покинула меня сердцем, еще когда ты уезжала, и потом уже ничего не было между нами. Ты думаешь, я этого не чувствовала? — вне себя говорила Валя, рыдая.— А сейчас?.. Я совсем, совсем одна на свете...

Уля ничего не отвечала ей.

Валя встала и, не глядя на Улю, утерла лицо платком.

— Валя, я говорю тебе в последний раз,— тихо и холодно сказала Уля.— Или ты послушаешь меня, тогда мы сейчас же разбудим Анатолия и он проводит тебя к Виктору на Погорелый, или... не терзай мне сердца.

— Прощай, Улечка!.. Прощай навсегда...— Валя, сдерживая слезы, выбежала из кухоньки на двор, залитый светом месяца.

Уля едва сдержалась, чтобы не догнать ее и не покрыть поцелуями все ее несчастное, мокрое лицо.

Она потушила ночник, отворила оконце и, не раздеваясь, легла на постель. Сон бежал от нее. Она при-

слушивалась к неясным ночным звукам, доносившимся из степи и из поселка. Ей все казалось, что пока она лежит здесь, к Вале уже пришли немцы и забирают ее, и нет никого, кто мог бы сказать бедной Вале доброе и мужественное слово на прощание.

Вдруг ей почудились шаги по мягкой земле и шорох листьев где-то на огороде. Шаги приближались, шел не один человек. Надо было бы закрыть дверь на крючок и захлопнуть окно, но шаги зашуршали уже под самым окном, и в окне возникла белая голова в узбекской шапочке.

— Уля, ты спишь? — шепотом спрашивал Анатолий.

Уля уже была у окна.

— Ужасное несчастье,— сказал Анатолий: — у Виктора отца взяли.

Уля увидела приблизившееся к окну освещенное месяцем бледное мужественное лицо Виктора с затененными глазами.

— Когда взяли?

— Сегодня вечером. Пришел немец, эсэсовец, в черном, толстый такой, с золотыми зубами, вонючий,— с ненавистью сказал Виктор,— с ним еще солдат и русский полицай... Били его. Потом отвели к конторе лесхоза, там стоял грузовик, полный арестованных, всех повезли сюда... Я бежал за ними все двадцать километров... Если бы ты не ушел позавчера, они б и тебя взяли,— сказал Виктор Анатолию.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Немало дней и ночей прошло с того дня, как Матвей Шульга был брошен в тюрьму, и он потерял счет времени. В камере его почти все время было темно,— свет пробивался через затянутую снаружи колючей проволокой и полуприкрытую навесом узкую щель под потолком.

Матвей Костиевич чувствовал себя одиноким и забытым всеми.

Иногда той или иной женщине, матери или жене, удавалось умолить немецкого солдата из жандармерии или кого-нибудь из русских «полицаев» передать аре-

стованному сыну или мужу что-нибудь из еды, белья. Но у Костиевича не было в Краснодоне родных. Никто из близких ему людей, кроме Лютикова и старика Кондратовича, не знал, что Костиевич оставлен в Краснодоне на подпольной работе, что сидящий в этой темной камере безвестный Евдоким Остапчук — это Костиевич. Он понимал, что Лютиков может и не знать, что с ним случилось, а узнав, не найти к нему доступа. И Матвей Костиевич не ждал помощи от Лютикова.

Единственные люди, с которыми он имел дело, были люди, которые мучили его, и это были немецкие жандармы. Среди них только двое говорили по-русски: немец-переводчик в кубанке на черной костяной головке и начальник полиции Соликовский в старинных, с желтыми лампасами, необъятных казачьих шароварах и с кулаками, как конские копыта, про которого можно было бы сказать, что он еще хуже немецких жандармов, если бы возможно было быть хуже, чем они.

Костиевич с первого момента ареста не скрывал, что он человек партийный, коммунист, потому что скрывать это было бесполезно и потому что эта прямота и правда укрепляли его силы в борьбе с людьми, которые мучили его. Он только выдавал себя за человека обыкновенного, рядового. Но как ни глупы были люди, мучившие его, они по облику его и поведению видели, что это неправда. Они хотели, чтобы он назвал еще людей, своих сообщников. Поэтому они не могли и не хотели сразу убить его. И его ежедневно по два раза допрашивали старший жандармский вахмистр Брюкнер или его заместитель вахмистр Балдер, надеявшиеся раскрыть через него организацию большевиков в Краснодоне и выслужиться перед главным фельдкомендантом области генерал-майором Клером.

Они допрашивали Костиевича и били его, когда он выводил их из себя. Но чаще его бил и пытал по их поручению ротенфюрер команды СС Фенбонг, полный лысоватый унтер с золотыми зубами и бабьим голосом, в очках со светлой роговой оправой. От унтера исходил такой дурной запах, что даже вахтмайстер Балдер и гауптвахтмайстер Брюкнер поводили носами и бросали ему сквозь зубы презрительные реплики, когда унтер оказывался слишком близко от них. Унтер Фен-

бонг бил и пытал связанного Костиевича, которого к тому же держали солдаты, методично, со знанием дела и совершенно равнодушно. Это была его профессия, его работа. А в те часы, когда Костиевич был не на допросе, а у себя в камере, унтер Фенбонг уже не трогал его, потому что боялся Костиевича, когда тот не был связан и солдаты не держали его, и потому что это были у Фенбонга не рабочие часы, а часы отдыха, которые он проводил в специально отведенной для него и его солдат дворницкой во дворе тюрьмы.

Но как ни терзали Костиевича и как ни долго это тянулось, Матвей Костиевич ничего не изменил в своем поведении. Он был так же независим, строптив и буен, и все очень утомлялись с ним, и вообще он причинял только одни неприятности.

В то время, когда так непоправимо безнадежно и мучительно однообразно протекала внешняя жизнь Костиевича, с тем большей силой напряжения и глубиной развертывалась его жизнь духовная. Как все большие и чистые люди перед лицом смерти, он видел теперь и себя и всю свою жизнь с предельной, прозрачной ясностью, с необыкновенной силой правды.

Усилием воли он отводил от себя мысли о жене и детях, чтобы не размягчить себя. Но с тем большей теплотой и любовью он думал о находившихся здесь, в городе, неподалеку от него, друзьях его молодости — Лизе Рыбаловой, Кондратовиче, и горевал, что даже смерть его останется им неизвестной, смерть, которая оправдала бы его в их глазах. Да, он знал, что привело его в эту темную камеру, и мучился сознанием того, что он ничего уже не сможет поправить, даже объяснить людям, в чем он виноват, чтобы облегчить свою душу и чтобы люди не повторяли его ошибки.

Однажды днем, когда Костиевич отдыхал после утреннего допроса, у камеры его послышались развязные голоса, дверь распахнулась с каким-то жалобным звоном, и в камеру вошел человек с повязкой «полицая» и со свисавшей на ремне тяжелой кобурой с желтым шнурком. В дверях стоял дежурный по коридору, усатый немецкий солдат из жандармерии.

Костиевич, привыкший к темноте, мгновенно рассмотрел полицейского, вошедшего к нему. Совсем еще юный, почти мальчик, черненький и одетый во все чер-

ное, он, не в силах разглядеть Костиевича, смущаясь и стараясь держаться развязно, растерянно поводил вокруг зверушечьими глазами и весь вихлялся, как на шарнирах.

— Вот ты и в клетке зверя! Сейчас мы закроем дверь и посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. Хоп-ля! — по-немецки сказал усатый солдат из жандармерии, громко захохотал и захлопнул дверь за спиной юного «полицая».

Полицейский быстро нагнулся к приподнявшемуся на темном полу Костиевичу и, обжигая Костиевича пронзительным и испуганным взглядом черных своих глаз, прошептал:

— Ваши друзья не дремлют. Ждите ночью, на той неделе, я вас предупрежу...

В то же мгновение полицейский выпрямился и, приняв нахальное выражение, сказал неверным голосом:

— Не испугаешь... небось... Не на таковского... Немчура проклятая!

Немецкий солдат с хохотом отворил дверь и крикнул что-то веселое.

— Ха, достукался? — говорил юный «полицай», вихляясь перед Шульгой худым своим телом.— Счастье твое, что я человек честный и тебя не знаю... У, ты! — неожиданно воскликнул он и, замахнувшись тонкой рукой, легонько толкнул Костиевича в плечо и на мгновение стиснул пальцы на плече, и в этом хрупком пожатии Костиевичу снова почудилось что-то дружеское.

«Полицай» вышел из камеры, и дверь захлопнулась, и ключ завизжал в замке.

Конечно, это могла быть провокация. Но зачем это нужно им, когда он в их руках и они всегда могут убить его? Это мог быть первый пробный шар на доверие, с тем чтобы в подходящих условиях Костиевич раскрыл себя перед этим «полицаем», как перед своим человеком. Но неужели они могут думать, что он так наивен?

И надежда ударила в сердце Костиевича и волнами погнала кровь по его истерзанному богатырскому телу.

Значит, Филипп Петрович жив и действует? Значит, они там помнят о нем? Да как же он мог думать иначе...

Чувство благодарности к друзьям с их заботой о нем, надежда на спасение семьи, вновь воспрянувшая, радость возможного избавления от мук, от непосильных дум — все это слилось в душе его в один могучий зов борьбы, жизни. И он, пожилой, грешный, большой человек, почувствовал, что в груди его закипают счастливые слезы, когда представил себе, что он будет жить и еще сможет выполнить свой долг.

Сквозь дощатые двери и стену ему день и ночь слышна была вся жизнь тюрьмы: как людей приводили и уводили, как мучили и как расстреливали за стеной, во дворе. Однажды ночью он был разбужен шумом, говором и топотом людей в камерах и коридорах, выкриками жандармов и полицейских на немецком и русском языках, бряцанием оружия, плачем детей и женщин. Было такое впечатление, что людей выводили из тюрьмы. Доносился рев моторов нескольких грузовых машин, одна за другой съезжавших со двора.

И действительно, когда Костиевича вели по коридору на дневной допрос, он почувствовал, что тюрьма пуста.

Ночью его впервые не потревожили. Он слышал, как к тюрьме подошла грузовая машина и жандармы и полицейские с приглушенными ругательствами, торопливо, точно они стыдились друг перед другом, разводили по камерам арестованных, молча и тяжело волочивших ноги по коридору. Арестованных подвозили всю ночь.

Было еще далеко до утра, когда Костиевича подняли на допрос и повели, не связав рук. Он понял, что его не будут пытать. И действительно, его привели не в камеру, специально оборудованную для пыток, находившуюся в той же половине, что и камеры для заключенных, а в кабинет майстера Брюкнера, где Костиевич увидел самого Брюкнера в подтяжках (офицерский мундир его висел на кресле: в кабинете было невыносимо душно), вахмистра Балдера в полной форме, переводчика Шурку Рейбанда и трех немецких солдат в мышиных мундирчиках.

За дверью послышался грузный топот, и в кабинет, нагнув голову, чтобы не задеть притолоки, вошел начальник полиции Соликовский в старинной казачьей фуражке, а за ним Костиевич увидел своего мучителя, унтера Фенбонга, с солдатами СС, державшими полураздетого рослого пожилого человека, с мясистым сильным лицом, со связанными за спиной руками, босого. Матвей Костиевич признал в нем своего земляка, участника партизанской борьбы в 1918 году — Петрова, с которым он не виделся лет пятнадцать. Петров, видно, давно не ходил босой, поранился, ему больно было ступать даже по полу. Мясистое лицо его было в синяках и кровоподтеках; с той поры, как Костиевич видел его, он мало постарел, только раздался в плечах и в поясе. Держался он угрюмо, но с достоинством.

— Узнаешь его? — спросил майстер Брюкнер.

Шурка Рейбанд перевел вопрос Костиевичу.

И Петров и Костиевич сделали вид, что впервые видят друг друга. И уже придерживались этого во все время допроса.

Майстер Брюкнер кричал на молча стоявшего перед ним с угрюмым лицом и с босыми ногами Петрова:

— О, ти льгун, льгун, старый крис! — И топал начищенным штиблетом так, что низко опущенный живот майстера Брюкнера подпрыгивал.

Потом Соликовский громадными своими кулаками стал избивать Петрова, пока не свалил его на пол. Шульга хотел уже кинуться на Соликовского, но внутренний голос подсказал ему, что он сможет этим только навредить Петрову. Он чувствовал, кроме того, что наступило время, когда ему лучше будет так и остаться с развязанными руками. И, сдерживая себя, раздувая ноздри, он молча смотрел, как избивают Петрова.

Потом их обоих увели.

Несмотря на то, что Костиевича на этот раз не били, он был так потрясен тем, что происходило на его глазах, что к концу этого, второго за одни сутки, допроса могучий организм его сдал. Костиевич не помнил, как его отвели в камеру, впал в тяжелое забытье, из которого его снова вывел визг ключа в двери. Он слышал возню в дверях, но не мог проснуться. Потом ему почудилось, что дверь отворилась и кого-то втолкнули

в камеру к нему. Костиевич сделал усилие и открыл глаза. Над ним, наклонившись, стоял человек с черными сросшимися бровями и черной цыганской бородой и пытался рассмотреть Костиевича.

Человек этот попал со света в темную камеру и то ли без привычки не мог разглядеть лица Костиевича, то ли Костиевич был уже не похож на самого себя. Но Костиевич сразу узнал его,— это был земляк, тоже участник той войны, директор шахты № 1-бис, Валько.

— Андрий...— тихо сказал Костиевич.

— Матвий?.. Судьба! Судьба!..

Валько резким, порывистым движением обнял приподнявшегося Костиевича за плечи.

— Все делали, шоб вызволить тебя, а судьба сулила самому попасть до тебе... Дай же, дай подивиться на тебя,— через некоторое время заговорил Валько резким, хриплым голосом.— Что ж они сделали с тобой! — Валько отпустил Костиевича и заходил по камере.

В нем точно проснулась его природная цыганская горячность, а камера была так мала, что он действительно походил на тигра в клетке.

— Видать, и тебе досталось,— спокойно сказал Костиевич и сел, обхватив колени.

Одежда Валько была вся в пыли, рукав пиджака полуоторван, одна штанина лопнула на колене, другая распоролась по шву, поперек лба — ссадина. Все же Валько был в сапогах.

— Дрался. видать?.. То — по-моему,— с удовольствием сказал Костиевич, представив себе, как все это было.— Ладно, не порть себе нервы. Сидай, расскажи, як воно там...

Валько сел на пол против Костиевича, поджав под себя ноги, потрогал рукой склизкий пол, поморщился.

— Дуже ответственный. ще не привык,— сказал он о себе и усмехнулся.— Що ж тоби казаты? Дела идут нормально, наши дела. Ну, а я...

Вдруг все лицо этого грубого человека задергалось такой мукой, что у Костиевича озноб пошел по спине. Валько махнул рукой и уткнул свое черное лицо в ладони.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

С того самого дня, как Валько удалось установить связь с Филиппом Петровичем, ему, как человеку, хорошо знавшему шахты треста «Краснодонуголь», были переданы в руки все тайные нити саботажа и диверсий в районе.

Близость инженера Баракова к дирекциону, к самому Швейде, а особенно к его заместителю Фельднеру, который в отличие от своего молчаливого начальника был болтлив, обеспечивала Баракову, а через него и Валько возможность всегда быть в курсе хозяйственных начинаний администрации.

Постороннему, даже очень наблюдательному человеку трудно было бы установить связь, которая существовала между очередной встречей Баракова с Фельднером и тем, что несколько часов спустя на улицах Краснодона вдруг появлялась скромная, тихая девушка с неправильными чертами бронзового от загара лица — Оля Иванцова. В один домик скромная девушка занесет помидоры на продажу, в другой просто зайдет в гости к хозяевам, а через некоторое время странным образом рушатся все благие начинания немецкой администрации.

Оля Иванцова работала теперь как связная Валько.

Но не только о хозяйственных мероприятиях узнавал Бараков от Фельднера. В доме лейтенанта Швейде пьянствовали днями и ночами чины местной жандармерии. Все, о чем они небрежно болтали между собой, господин Фельднер так же небрежно выбалтывал Баракову.

Не одну бессонную ночь провел Филипп Петрович, обдумывая, каким путем спасти Матвея Костиевича и других заключенных в краснодонской тюрьме. Но долгое время не удавалось ему установить даже связи с тюрьмой.

Связь помог установить Иван Туркенич.

Туркенич происходил из почтенной краснодонской семьи, хорошо известной Лютикову. Глава ее, Василий Игнатьевич, старый шахтер, уже вышедший на инвалидность, и жена его, Феона Ивановна, родом из обрусевших украинцев Воронежской губернии, перекочевали

в Донбасс в неурожайном двадцать первом году. Ваня тогда еще был грудным. Феона Ивановна всю дорогу несла его на руках, а старшая сестренка шла пешком, держась за материнский подол.

Они так бедствовали в пути, что приютившие их на ночь в Миллерове бездетные пожилые кооператор с женой стали упрашивать Феону Ивановну отдать младенца на воспитание. И родители было заколебались, а потом взбунтовались, поссорились, прослезились и не отдали сыночка, кровиночку.

Так они добрались до рудника Сорокина и здесь осели. Когда Ваня подрос, уже кончал школу и выступал в драматическом кружке, Василий Игнатьевич и Феона Ивановна любили рассказывать гостям, как кооператор в Миллерове хотел взять их сына и как они не отдали его.

В дни прорыва немцами Южного фронта лейтенант Туркенич, командир батареи противотанковых орудий, имея приказ стоять насмерть, отбивал атаки немецких танков в районе Калача-на-Дону до тех пор, пока все орудийные расчеты не выбыли из строя и сам он не свалился, раненный. С остатками разрозненных рот и батарей он был взят в плен и, как раненный, не могущий передвигаться, был пристрелен немецким лейтенантом. Но недострелен. Вдова-казачка в две недели выходила Туркенича. И он появился дома, перебинтованный крест-накрест под сорочкой.

Иван Туркенич установил связь с тюрьмой с помощью старинных своих приятелей по школе имени Горького — Анатолия Ковалева и Васи Пирожка.

Трудно было бы найти друзей более разных и по физическому облику, и по характеру.

Ковалев был парень чудовищной силы, приземистый, как степной дуб, медлительный и добрый до наивности. С отроческих лет он решил стать знаменитым гиревиком, хотя девушка, за которой он ухаживал, и издевалась над этим: она говорила, что в спортивном мире на высшей ступени лестницы стоят шахматисты, а гиревики на самой низшей — ниже гиревиков идут уже просто амебы. Он вел размеренный образ жизни, не пил, не курил, ходил и зимой без пальто и шапки, по утрам купался в проруби и ежедневно упражнялся в подымании тяжестей.

А Вася Пирожок был худощавый, подвижной, вспыльчивый, с черными, зверушечьими глазами, любимец и любитель девушек, драчун, и если что и интересовало его в спорте, так только бокс. Вообще он был склонен к авантюрам.

Туркенич подослал к Пирожку младшую замужнюю сестру за пластинками для патефона, и она завлекла Васю вместе с пластинками, а Вася по дружбе притащил с собой Ковалева.

К великому негодованию всех жителей Краснодона, особенно молодых людей, лично знавших Ковалева и Пирожка, их обоих вскоре увидели со свастикой на рукаве, среди «полицаев», упражнявшихся в новой своей специальности на пустыре возле парка под руководством немца — сержанта с голубоватыми погонами.

Они специализировались по охране городского порядка. На их долю выпадали дежурства в городской управе, дирекционе, районной сельскохозяйственной комендатуре, на бирже труда, на рынке, ночные обходы по участкам. Повязка «полицая» была признаком благонадежности в их общении с немецкими солдатами из жандармерии. И Васе Пирожку удалось не только узнать, где сидит Шульга, но даже проникнуть к нему в камеру и дать понять, что друзья заботятся о том, чтобы освободить его.

Освободить! Хитрость и подкуп были здесь бессильны. Освободить Матвея Костиевича и других можно было, только напав на тюрьму.

Такая операция была теперь под силу районной подпольной организации.

К этому времени организация пополнилась офицерами Красной Армии из числа раненых, лежавших в краснодонском госпитале, спасенных стараниями Сережки Тюленина, его сестры Нади и няни Луши.

С появлением Туркенича группа молодежи, созданная Филиппом Петровичем при подпольном райкоме, получила боевого руководителя — боевого в прямом значении этого слова, то есть руководителя военного.

Подобно тому как подпольный райком в случае боевых операций превращался в штаб, а руководители райкома Бараков и Лютиков становились соответственно

командиром и комиссаром отряда, подобно этому они хотели построить и организацию молодежи.

Все эти дни августа Бараков и Лютиков готовили боевую дружину к нападению на тюрьму. И по их поручению Иван Туркенич и Олег подбирали группу молодежи для участия в этой операции. В помощь себе Ваня и Олег привлекли Земнухова, Сережку Тюленина, Любу Шевцову и Евгения Стаховича, как человека, уже нюхнувшего пороху.

Как ни увлечена была Уля своей новой ролью и как ни понимала все значение скорейшей встречи с Олегом, она еще настолько не привыкла обманывать отца и мать и так погружена была в дела по дому, что выбралась к Олегу только на другой день после разговора с Виктором и Анатолием, уже под вечер, и не застала Олега дома.

Генерал барон фон Венцель и штаб его выехали на восток. Дядя Коля, открывший Уле дверь, сразу узнал ее, но, как ей показалось, не проявил не только радости, но даже приветливости, после того как они столько испытали вместе и так много дней не виделись...

Бабушки Веры и Елены Николаевны не было дома. На стульях друг против друга сидели Марина и Оля Иванцова и мотали шерсть.

Увидев Улю, Марина выронила моток и с криком кинулась ей на шею.

— Улечка! Де ж ты пропала? Будь они прокляты, злыдни! — радостно говорила она с выступившими на глаза слезами.— Ось дивись, распустила жакет сыночку на костюмчик. Думаю, жакет все одно отберут, а у малого, може, не тронут!..

И она такой же скороговоркой стала перебирать в памяти их совместный путь, гибель детей на переправе, и как разорвало заведующую детским домом, и как немцы отобрали у них шелковые вещи.

Оля, держа перед собой шерсть на растопыренных смуглых до черноты, сильных руках, с таинственным и, как показалось Уле, тревожным выражением молча смотрела перед собой немигающими глазами.

Уля не сочла возможным объяснить, зачем она пришла,— сказала только об аресте отца Виктора. Оля, не меняя положения рук, быстро взглянула на дядю Колю, а дядя Коля на нее. И Уля вдруг поняла, что дядя Коля был не неприветлив, а встревожен чем-то, чего Уля не могла знать. И смутное чувство тревоги охватило и Улю.

Оля все с тем же таинственным выражением, усмехнувшись как-то вбок, сказала, что она договорилась встретиться с сестрой Ниной у парка и они сейчас придут сюда вместе. Она сказала это, ни к кому не обращаясь, и тотчас же вышла.

Марина все говорила, не подозревая того, что происходит вокруг нее.

Через некоторое время Оля вернулась с Ниной.

— Как раз о тебе вспоминали в одной компании. Хочешь, зайдем, сейчас же познакомлю? — сказала Нина без улыбки.

Она молча повела Улю через улицы и дворы, куда-то в самый центр города. Она шла, не глядя на Улю; выражение ее широко открытых карих глаз было рассеянное и свирепое.

— Нина, что случилось? — тихо спросила Уля.

— Наверное, тебе скажут сейчас. А я ничего не могу сказать.

— Ты знаешь, у Вити Петрова отца арестовали,— снова сказала Уля.

— Да? Этого надо было ждать.— Нина махнула рукой.

Они вошли в стандартный дом того же типа, что и все дома вокруг. Уля никогда не бывала здесь.

Крупный старик полулежал на широкой деревянной кровати, одетый, голова его покоилась среди взбитых подушек, видны были только линия большого лба и мясистого носа и светлые густые ресницы. Пожилая худая женщина широкой кости, желтая от загара, сидела возле кровати на стуле и шила. Две молодые красивые женщины, с крупными босыми ногами, без дела сидели на лавке у окна; они с любопытством взглянули на Улю.

Уля поздоровалась. Нина быстро провела ее в другую горницу.

В большой комнате, за столом, уставленным закусками, кружками, бутылками с водкой, сидело несколько молодых людей и одна девушка. Уля узнала Олега, Ваню Земнухова и Евгения Стаховича, который как-то, перед войной, выступал у первомайцев с докладом. Двое ребят были неизвестны ей. А девушка была Люба, «Любка-артистка», которую Уля видела у калитки ее дома в тот памятный день. Обстоятельства их встречи так ярко встали перёд Улей, что она поразилась, увидев Любу здесь. Но в то же мгновение она все поняла, и поведение Любы в тот день вдруг предстало перед ней в истинном свете.

Нина ввела Улю и тотчас же вышла.

Олег встал Уле навстречу, немного смутился, поискал глазами, куда бы посадить ее, и широко улыбнулся ей. И так вдруг согрела ее эта улыбка перед тем непонятным и тревожным, что предстояло ей узнать...

Этой ночью, когда взяли отца Виктора, в городе и в районе были арестованы почти все не успевшие эвакуироваться члены партии, советские работники, люди, ведшие ту или иную общественную деятельность, многие учителя и инженеры, знатные шахтеры и кое-кто из военных, скрывавшихся в Краснодоне.

Страшная весть эта с утра распространилась по городу. Но только Филипп Петрович и Бараков знали, какой урон эта, не вызванная чьим-либо провалом, а предупредительная операция немецкой жандармерии нанесла подпольной организации. В свой «частый бредень» полиция захватила многих из тех, кто должен был участвовать в нападении на тюремную охрану.

К Олегу прибежали Оля и Нина Иванцовы. Бледность, проступившая на их бронзовых от загара, осунувшихся лицах, мгновенно передалась и ему. Со слов Ивана Кондратовича они сообщили, что ночью арестован дядя Андрей.

Та никому, кроме Кондратовича, не известная квартира, где скрывался Валько, внезапно подверглась обыску. Как потом выяснилось, искали не Валько, а мужа хозяйки, который был в эвакуации. Дело происходило на одном из малых «шанхайчиков», обыск производил Игнат Фомин и сразу опознал Валько.

По словам хозяйки, Валько при аресте держался спокойно, но когда Фомин ударил его по лицу, Валько вспылил и сбил полицейского с ног. Тогда на Валько набросились солдаты из жандармерии.

Оставив Олю с родными, Олег и Нина побежали к Туркеничу. Во что бы то ни стало нужно было повидать Васю Пирожка или Ковалева. Но то, что узнала младшая сестра Туркенича, сбегавшая на квартиру Пирожка и Ковалева, было уже вовсе непонятно и тревожно. По словам их родителей, оба они ушли вчера из дому рано вечером. А немного попозже на квартиры к ним забегал служивший вместе с ними полицейский Фомин, который расспрашивал, где они могут быть, и очень грубил оттого, что их не застал. Потом он забегал еще раз ночью и все говорил: «Вот ужо будет им!..» Ковалев и Вася вернулись по домам перед утром, совершенно пьяные, что было тем более поразительно, что Ковалев никогда не пил. Они сказали родным, что гуляли у шинкарки, и, не обращая внимания на переданные им угрозы Фомина, завалились спать. А утром пришли полицейские и арестовали их.

Олег через Нину поставил в известность обо всем Полину Георгиевну Соколову, чтобы она при первой возможности рассказала все это Филиппу Петровичу. Они вызвали на совещание Сережку Тюленина, Любку, Ваню Земнухова и Стаховича. Совещание происходило на квартире Туркенича.

В тот момент, когда вошла Уля, между Стаховичем и Ваней шел спор, сразу захвативший и Улю.

— Не понимаю, где же тут логика? — говорил Стахович.— Мы готовились освободить Остапчука, торопились, собрали оружие, мобилизовали ребят, а когда арестовали дядю Андрея и других, то есть назрела еще большая срочность и необходимость, нам предлагают ждать еще и еще...

Должно быть, авторитет Стаховича среди ребят был велик. Ваня смущенно спросил своим глуховатым баском:

— Что же ты предлагаешь?

— Я предлагаю не дальше как в ночь на послезавтра напасть на тюрьму. Если бы мы вместо того, чтобы разговаривать, начали действовать с утра, нападение

можно было бы произвести этой же ночью,— сказал Стахович.

Он развил свою мысль. Уля отметила, что он сильно изменился с той поры, как она слышала его доклад на комсомольском собрании «Первомайки» перед войной. Правда, он и тогда свободно обращался с такими книжными словами, как «логика», «объективно», «проанализируем», но тогда он не держался так самоуверенно. Теперь он говорил спокойно, без жестов, прямо держа голову с свободно закинутыми светлыми волосами, положив на стол сжатые в кулаки длинные худые руки.

Предложение его, видно, поразило всех, никто не решился сразу ответить ему.

— Ты на чувства бьешь, вот что...— сказал наконец Ваня застенчиво, но очень твердым голосом.— И нечего в прятки играть. Хотя мы ни разу не говорили об этом, но я думаю, ты, как и все, достаточно хорошо понимаешь, что мы готовили ребят к такому серьезному делу не по своему личному почину. И пока не будет новых указаний, мы не имеем права даже пальцем шевельнуть. Эдак можно не только людей не спасти, а еще и новых завалить... Не мальчики же мы в самом деле! — вдруг сказал он сердито.

— Не знаю, может быть, мне не доверяют и не говорят всего,— Стахович самолюбиво поджал губы.— Во всяком случае, я до сих пор не получал ни одной четкой, боевой директивы. Все ждем, ждем. Дождемся того, что людей действительно убьют... Если уже не убили,— жестко сказал он.

— Нам всем одинаково больно за людей,— сказал Ваня с обидой в голосе.— Но неужели ты действительно думаешь, что у нас у самих хватило бы сил?..

— У первомайцев найдутся смелые, преданные ребята? — вдруг спросил Стахович Улю, прямо взглянув ей в глаза с покровительственным выражением.

— Да, конечно,— сказала Уля.

Стахович безмолвно посмотрел на Ваню.

Олег сидел, вобрав голову в плечи, и то внимательно-серьезно переводил свои большие глаза со Стаховича на Ваню, то, задумавшись, глядел прямо перед собой, и глаза его точно пеленой подергивались.

Сережка, потупившись, молчал. Туркенич, не вмешиваясь в спор, неотрывно смотрел на Стаховича, словно изучая его.

В это время Любка подсела к Уле.

— Узнала меня? — шепотом спросила Любка.— Помнишь отца моего?

— Это при мне было...— Уля шепотом передала подробности гибели Григория Ильича.

— Ах, что только приходится переживать! — сказала Любка.— Ты знаешь, у меня к этим фашистам да полицаям такая ненависть, я бы их резала своими руками! — сказала она с наивным и жестоким выражением в глазах.

— Да... да...— тихо сказала Уля.— Иногда я чувствую в душе такое мстительное чувство, что даже боюсь за себя. Боюсь, что сделаю что-нибудь опрометчивое.

— Тебе Стахович нравится? — на ухо спросила ее Любка.

Уля пожала плечами.

— Знаешь, уж очень себя показывает. Но он прав. Ребят, конечно, можно найти,— сказала Любка, думая о Сергее Левашове.

— Дело ведь не только в ребятах, а кто будет нами руководить,— шепотом отвечала Уля.

И — точно она сговорилась с ним — Олег в это время сказал:

— За ребятами дело не станет, смелые ребята всегда найдутся, а все дело в организации...— Он сказал это звучным юношеским голосом, заикаясь больше, чем обычно, и все посмотрели на него.— Ведь мы же не организация... Вот соб-брались и разговариваем! — сказал он с наивным выражением в глазах.— А ведь есть же партия. Как же мы можем действовать без нее, помимо нее?

— С этого и надо было начинать, а то получается, что я против партии,— сказал Стахович, и на лице его появилось одновременное выражение смущения и досады.— До сих пор мы имели дело с тобой и с Ваней Туркеничем, а не с партией. По крайней мере скажите толково, зачем вы нас созвали?

— А вот зачем,— сказал Туркенич таким тихим, спокойным голосом, что все повернулись к нему,— чтобы

быть готовыми. Откуда ты знаешь, что нас действительно не призовут в эту ночь? — спросил он, в упор глядя на Стаховича.

Стахович молчал.

— Это первое. Второе,— продолжал Туркенич: — мы не знаем, что сталось с Ковалевым и Пирожком. А разве можно действовать вслепую? Я никогда не позволю себе сказать о ребятах плохое, но если они провалились? Разве можно предпринимать хоть что-нибудь, не связавшись с арестованными?

— Я в-возьму это на себя,— быстро сказал Олег.— Родня, наверно, понесет передачи, можно будет кому-нибудь записку передать — в хлебе, в посуде. Я организую это ч-через маму...

— Через маму! — фыркнул Стахович.

Олег густо покраснел.

— Немцев ты, видно, не знаешь,— презрительно сказал Стахович.

— К немцам не надо применяться, надо заставить их применяться к нам.— Олег едва сдерживал себя и избегал смотреть на Стаховича.— К-как твое мнение, Сережа?

— Лучше бы напасть,— сказал Сережка, смутившись.

— То-то и есть... Силы найдутся, не беспокойся!

Стахович сразу оживился, почувствовав поддержку.

— Я и говорю, что у нас нет ни организации, ни дисциплины,— сказал Олег, весь красный, и встал.

В это время Нина открыла дверь, и в комнату вошел Вася Пирожок. Все лицо его было в ссохшихся ссадинах, в кровоподтеках, и одна рука — на перевязи.

Вид его был так тяжел и странен, что все привстали в невольном движении к нему.

— Где тебя так? — после некоторого молчания спросил Туркенич.

— В полиции.— Пирожок стоял у двери со своими черными зверушечьими глазами, полными детской горечи и смущения.

— А Ковалев где? Наших там не видел? — спрашивали все у Пирожка.

— И никого мы не видели: нас в кабинете начальника полиции били,— сказал Пирожок.

— Ты из себя деточку не строй, а расскажи толково,— не повышая голоса, сердито сказал Туркенич.— Где Ковалев?

— Дома... Отлеживается. А чего рассказывать? — сказал Пирожок с внезапным раздражением.— Днем, в аккурат перед этими арестами, нас вызвал Соликовский, приказал, чтобы к вечеру были у него с оружием — пошлет нас с арестом, а к кому — не сказал. Это в первый раз он нас наметил, а что не нас одних и что аресты будут большие, мы, понятно, не знали. Мы пошли домой, да и думаем: «Как же это мы пойдем какого-нибудь своего человека брать? Век себе не простим!» Я и сказал Тольке: «Пойдем к Синюхе, шинкарке, напьемся и не придем,— потом так и скажем: запили». Ну, мы подумали, подумали,— что, в самом деле, с нами сделают? Мы не на подозрении. В крайнем случае, морду набьют да выгонят. Так оно и получилось: продержали несколько часов, допросили, морду набили и выгнали,— сказал Пирожок в крайнем смущении.

При всей серьезности положения вид Пирожка был так жалок и смешон и все вместе было так по-мальчишески глупо, что на лицах ребят появились смущенные улыбки.

— А н-некоторые т-товарищи думают, что они способны ат-таковать немецкую жандармерию! — сильно заикаясь, сказал Олег, и в глазах его появилось беспощадное, злое выражение.

Ему было стыдно перед Лютиковым, что в первом же серьезном деле, порученном молодежи, было проявлено столько ребяческого легкомыслия, неорганизованности, недисциплинированности. Ему было стыдно перед товарищами оттого, что все они чувствовали это так же, как он. Он негодовал на Стаховича за мелкое самолюбие и тщеславие, и в то же время ему казалось, что Стахович со своим боевым опытом имел право быть недовольным тем, как Олег организовал все дело. Олегу казалось, что дело провалилось из-за его слабости, по его вине, и он был полон такого морального осуждения себя, что презирал себя еще больше, чем Стаховича.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В то время, когда на квартире Туркенича шло совещание ребят, Андрей Валько и Матвей Шульга стояли перед майстером Брюкнером и его заместителем Балдером в том самом кабинете, где несколько дней назад делали очные ставки Шульге.

Оба немолодые, невысокие, широкие в плечах, они стояли рядом, как два брата-дубка среди поляны. Валько был чуть посуше, черный, угрюмый, белки его глаз недобро сверкали из-под сросшихся бровей, а в крупном лице Костиевича, испещренном крапинами, несмотря на резкие мужественные очертания, было что-то светлое, покойное.

Арестованных было так много, что в течение всех этих дней их допрашивали одновременно и в кабинете майстера Брюкнера, и вахтмайстера Балдера, и начальника полиции Соликовского. Но Валько и Костиевича еще не потревожили ни разу. Их даже кормили лучше, чем кормили до этого одного Шульгу. И все эти дни Валько и Матвей Костиевич слышали за стенами своей камеры стоны и ругательства, топот ног, возню и бряцанье оружия, и звон тазов и ведер, и плескание воды, когда подмывали кровь на полу. Иногда из какой-то дальней камеры едва доносился детский плач.

Их повели на допрос, не связав им рук, и отсюда они оба заключили, что их попробуют подкупить и обмануть мягкостью и хитростью. Но чтобы они не нарушили порядка, Ordnung'а, в кабинете майстера Брюкнера находилось, кроме переводчика, еще четыре вооруженных солдата, а унтер Фенбонг, приведший арестованных, стоял за их спиной с револьвером в руке.

Допрос начался с установления личности Валько, и Валько назвал себя. Он был человек известный в городе, его знал даже Шурка Рейбанд, и когда переводили ему вопросы майстера Брюкнера, Валько видел в черных глазах Шурки Рейбанда выражение испуга и острого, почти личного любопытства.

Потом майстер Брюкнер спросил Валько, давно ли он знает человека, стоящего рядом, и кто этот человек. Валько чуть усмехнулся.

— Познакомились в камере,— сказал он.

— Кто он?

— Скажи своему хозяину, чтоб он Ваньку не валял,— хмуро сказал Валько Рейбанду.— Он же понимает, что я знаю только то, что мне этот гражданин сам сказал.

Майстер Брюкнер помолчал, округлив глаза, как филин, и по этому выражению его глаз стало ясно, что он не знает, о чем еще спросить, и не умеет спрашивать, если человек не связан и человека не бьют, и что от этого майстеру Брюкнеру очень тяжело и скучно. Потом он сказал:

— Если он хочет рассчитывать на обращение, соответствующее его положению, пусть назовет людей, которые оставлены вместе с ним для подрывной работы.

Рейбанд перевел.

— Этих людей не знаю. И не мыслю, чтобы их успели оставить. Я вернулся из-под Донца, не успел эвакуироваться. Каждый человек может это подтвердить,— сказал Валько, прямо глядя сначала на Рейбанда, потом на майстера Брюкнера цыганскими черными глазами.

В нижней части лица майстера Брюкнера, там, где оно переходило в шею, собрались толстые надменные складки. Так он постоял некоторое время, потом взял из портсигара на столе сигару без этикетки и, держа ее посредине двумя пальцами, протянул к Валько с вопросом:

— Вы инженер?

Валько был старый хозяйственник, выдвинутый из рабочих-шахтеров еще по окончании гражданской войны и уже в тридцатых годах окончивший Промышленную академию. Но бессмысленно было бы рассказывать все это немцу, и Валько, сделав вид, что не замечает протянутой ему сигары, ответил на вопрос майстера Брюкнера утвердительно.

— Человек вашего образования и опыта мог бы занять более высокое и материально обеспеченное положение при новом порядке, если бы он этого захотел,— сказал майстер Брюкнер и грустно свесил голову набок, по-прежнему держа перед Валько сигару.

Валько молчал.

— Возьмите, возьмите сигару...— с испугом в глазах сказал Шурка Рейбанд свистящим шепотом.

Валько, как бы не слыша его, продолжал молча смотреть на майстера Брюкнера с веселым выражением в черных цыганских глазах.

Большая желтая морщинистая рука майстера Брюкнера, державшая сигару, начала дрожать.

— Весь Донецкий угольный район со всеми шахтами и заводами перешел в ведение Восточного общества по эксплуатации угольных и металлургических предприятий,— сказал майстер Брюкнер и вздохнул так, точно ему трудно было произнести это. Потом он еще ниже свесил голову набок и, решительным жестом протянув Валько сигару, сказал: — По поручению общества я предлагаю вам место главного инженера при местном дирекционе.

При этих его словах Шурка Рейбанд так и обмер, втянул голову в плечи и перевел слова майстера Брюкнера так, будто у него в горле першило.

Валько некоторое время молча смотрел на майстера Брюкнера. Черные глаза Валько сузились.

— Я согласился бы на это предложение...— сказал Валько.— Если мне создадут хорошие условия для работы...

Он даже нашел в себе силы придать голосу выражение вкрадчивости. Больше всего он боялся, что Шульга не поймет, какие перспективы открывает это неожиданное предложение майстера Брюкнера. Но Шульга не сделал никакого движения в сторону Валько и не взглянул на него,— должно быть, понял все, как нужно.

— Условия?— На лице майстера Брюкнера возникла усмешка, придавшая лицу зверское выражение.— Условия обыкновенные: вы раскроете мне вашу организацию — всю, всю!.. Вы сделаете это! Вы сделаете это сию минуту! — Майстер Брюкнер взглянул на часы.— А через пятнадцать минут вы будете на свободе и через час — сидеть в вашем кабинете в дирекционе.

Валько сразу все понял.

— Я не знаю никакой организации, я попал сюда случайно,— сказал Валько обычным своим голосом.

— А-а, ти подлец! — злорадно вскричал майстер Брюкнер, как бы торопясь подтвердить, насколько Валько правильно его понял.— Ти глявний! Ми всё знайт!..— И не в силах сдержать себя, он ткнул сигарой в лицо дяди Андрея. Сигара сломалась, и сжатые щепотью пальцы жандарма, пахнущие отвратительными духами, ткнулись дяде Андрею в губы.

В то же мгновение Валько, широко и резко замахнувшись смуглой сильной рукой, ударил майстера Брюкнера между глаз.

Майстер Брюкнер обиженно хрюкнул, сломанная сигара выпала из его руки, и он прямо, массивно опрокинулся на пол.

Прошло несколько мгновений всеобщего оцепенения, в течение которых майстер Брюкнер недвижимо лежал на полу с выпукло обозначившимся над всей его массивной фигурой круглым тугим животом. Потом все невообразимо перемешалось в кабинете майстера Брюкнера.

Вахтмайстер Балдер, невысокий, очень тучный, спокойный, во все время допроса молча стоял у стола, медленно и сонно поводя набрякшими влагой многоопытными голубыми глазами, мерно сопел, и при каждом вдохе и выдохе его тучное покойное тело, облаченное в серый мундир, то всходило, то опадало, как опара. Когда прошло оцепенение, вахтмайстер Балдер вдруг весь налился кровью, затрясся на месте и закричал:

— Возьмите его!

Унтер Фенбонг, за ним солдаты кинулись на Валько. Но хотя унтер Фенбонг стоял ближе всех, ему так и не удалось схватить Валько, потому что в это мгновение Матвей Костиевич с ужасным хриплым непонятным возгласом: «Ах ты, Сибир нашого царя!» — одним ударом отправил унтера Фенбонга вперед головой в дальний угол кабинета и, склонив широкое темя, как разъяренный вол, ринулся на солдат.

— Ах, то дуже добре, Матвий! — с восторгом сказал Валько, порываясь из рук немецких солдат к тучному, багровому вахтмайстеру Балдеру, который, выставив перед собой маленькие плотные сизые ладошки, кричал солдатам:

— Не стрелять!.. Держите, держите их, будь они прокляты!

Матвей Костиевич, с необычайной силой и яростью работая кулаками, ногами и головой, раскидал солдат, и освобожденный Валько все-таки ринулся на вахтмайстера Балдера, который с неожиданной в его тучном теле подвижностью и энергией побежал от него вокруг стола.

Унтер Фенбонг снова попытался прийти на помощь к шефу, но Валько с оскаленными зубами, словно огрызнувшись, ударил его сапогом между ног, и унтер Фенбонг упал.

— Ах, то дуже добре, Андрий! — с удовольствием сказал Матвей Костиевич, ворочаясь справа налево, как вол, и при каждом повороте отбрасывая от себя солдат.— Прыгай у викно, чуешь!

— Да там проволока... А ты ж пробивайся до мене!

— Ух, Сибир нашого царя! — взревел Костиевич и, могучим рывком вырвавшись из рук солдат, очутился возле Валько и, схватив кресло майстера Брюкнера, занес его над головой.

Солдаты, кинувшиеся было за ним, отпрянули. Валько, с оскаленными зубами и восторженно-свирепым выражением в черных глазах, срывал со стола все, что стояло на нем,— чернильный прибор, пресс-папье, металлический подстаканник,— и во весь замах руки швырял все это в противника с такой разгульной яростью, с таким грохотом и звоном, что вахтмайстер Балдер упал на пол, прикрыв полными руками лысоватую голову, а Шурка Рейбанд, дотоле жавшийся у стенки, тихо взвизгнув, полез под диван.

Вначале, когда Валько и Костиевич кинулись в битву, ими владело то последнее чувство освобождения, какое возникает у смелых и сильных людей, знающих, что они обречены на смерть. И этот последний отчаянный всплеск жизни удесятерил их силы. Но в ходе битвы они вдруг поняли, что враг не может, не имеет права, не получил распоряжения от начальства убить их, и это наполнило их души таким торжеством, чувством такой полной свободы и безнаказанности, что они были уже непобедимы.

Окровавленные, разгульные, страшные, они стояли плечо к плечу, упершись спинами в стену, и никто не решался к ним подступиться.

Потом майстер Брюкнер, пришедший в чувство, опять натравил на них солдат. Воспользовавшись свалкой, Шурка Рейбанд выскользнул из-под дивана за дверь. Через несколько минут в кабинет ворвалось еще несколько солдат, и все жандармы и полицейские, какие были в комнате, скопом обрушились на Валько и Костиевича. Они свалили рыцарей на пол и, дав выход ярости своей, стали мять, давить и бить их кулаками, ступнями, коленями и долго еще терзали их и после того, как свет померк в очах Валько и Костиевича.

Был тот темный тихий предрассветный час, когда молодой месяц уже сошел с неба, а утренняя чистая звезда, которую в народе зовут зорянкой, еще не взошла на небо, когда сама природа, как бы притомившись, уже крепко спит с закрытыми глазами и самый сладкий сон сковывает очи людей, и даже в тюрьмах спят уставшие палачи и жертвы.

В этот темный тихий предрассветный час первым очнулся от сна, глубокого, безмятежного, такого далекого от той страшной жизни-судьбы, что предстояла ему, Матвей Шульга,— очнулся, заворочался на темном полу и сел. И почти в то же мгновение с беззвучным стоном,— это был даже не стон, а вздох, такой он был тихий,— проснулся и Андрей Валько. Оба они присели на темном полу и приблизили друг к другу лица, распухшие, запекшиеся в крови.

Ни проблеска света не брезжило в темной и тесной камере, но им казалось, что они видят друг друга. Они видели друг друга сильными и прекрасными.

— А ты дюжий козак, Матвий, дай тоби господи силы! — хрипло сказал Валько. И вдруг, откинувшись всем корпусом на руки, захохотал так, точно оба они были на воле.

И Шульга завторил ему хриплым добродушным смехом:

— И ты добрый сичевик, Андрий, ох, добрый!

В ночной тишине и темноте их страшный богатырский хохот сотрясал стены тюремного барака.

Утром им не принесли поесть и днем не повели на допрос. И никого не допрашивали в этот день. В тюрьме было тихо; какой-то смутный говор, как журчание ручья под листвою, доносился из-за стен камеры. В пол-

день к тюрьме подошла легковая машина с приглушенным звуком мотора и через некоторое время отбыла. Костиевич, привыкший различать все звуки за стенами своей камеры, знал, что эта машина подходит и уходит, когда майстер Брюкнер или его заместитель, или они оба выезжают из тюрьмы.

— До начальства поихалы,— тихо, серьезно сказал Шульга.

Валько и Костиевич переглянулись и не сказали ни слова, но взгляды их сказали друг другу, что оба они, Валько и Костиевич, знают, что конец их близок и они готовы к нему. И, должно быть, это знали все люди в тюрьме — такое тихое, торжественное молчание воцарилось вокруг.

Так просидели они молча несколько часов, наедине со своей совестью. Уже сумерки близились.

— Андрий,— тихо сказал Шульга,— я еще не говорил тебе, как я сюда попал. Послухай меня...

Все это он уже не раз обдумал наедине. Но теперь, когда он рассказывал все это вслух человеку, с которым его соединяли узы, более чистые и неразрывные, чем какие-либо другие узы на свете, Матвей Шульга едва не застонал от мучительного сожаления, когда снова увидел перед собой прямодушное лицо друга своей молодости Лизы Рыбаловой, с запечатленными на нем морщинами труда и этим резким и матерински-добрым выражением, с каким она встретила и проводила его.

И, не щадя себя, он рассказал Валько о том, что говорила ему Лиза Рыбалова, и что Шульга отвечал ей в своей самонадеянности, и как ей не хотелось, чтобы он уходил, и она смотрела на него, как мать, а он ушел, поверив больше неверным явкам, чем простому и естественному голосу своего сердца.

По мере того как он говорил, лицо Валько делалось все сумрачней.

— Бумага! — воскликнул Валько.— Помнишь, що казав нам Иван Федорович?.. Поверил бумаге больше, чем человеку,— сказал он с мужественной печалью в голосе.— Да, так бывает у нас частенько... Мы ж сами ее пишем, а потом не бачим, як вона берет верх над нами...

— То ж не все, Андрий,— грустно сказал Шульга,— я маю ще рассказать тебе о Кондратовиче...

И он рассказал Валько, как усомнился в Кондратовиче, которого знал с молодых лет, усомнился, узнав историю с сыном Кондратовича и то, что Кондратович скрыл ее, когда давал согласие предоставить свою квартиру подпольной организации.

Матвей Костиевич снова вспомнил все это и ужаснулся тому, как могло получиться, что простая жизненная история, каких немало бывает в жизни простых людей, могла очернить в его глазах Кондратовича. А в то же время ему мог понравиться Игнат Фомин, которого он совсем не знал и в котором было столько неприятного.

И Валько, который знал все это из уст Кондратовича, стал еще мрачнее.

— Форма! — хрипло сказал Валько.— Привычка до формы... Многие из нас так привыкли, что народ живет лучше, чем жили наши батьки при старом времени, что каждого человека любят видеть по форме — чистеньким да гладеньким. Кондратович, божья душа, из формы выпал и показался тебе черненьким. А тот Фомин, будь он проклят, в аккурат пришелся по форме, чистенький да гладенький, а он-то и был чернее ночи... Мы когда-то проглядели его черноту, сами набелили его, выдвинули, прославили, подогнали под форму, а потом она же застила нам глаза... А теперь за то ты расплачиваешься жизнью.

— То правда, то святая правда, Андрий,— сказал Матвей Костиевич, и, как ни тяжело было то, о чем они говорили, глаза его вдруг брызнули ясным светом.— Сколько дней и ночей я тут сижу, а не было часа, чтобы я не думал об этом... Андрий! Андрий! Я же низовой человек, и не мне говорить, сколько труда пало в жизни на мои плечи. А как оглянусь я сейчас на свою жизнь, вижу, в чем моя ошибка, и вижу, что не сегодня я ее сделал. Мне вот уже сорок шестой пошел, а я все кручусь, кручусь на одном месте, як кажуть, в уездном масштабе — лет двадцать! И все в чьих-нибудь заместителях... Ей-богу! Про нас раньше так и казали — укомщики, а теперь кажуть — райкомщики,— с усмешкой сказал Шульга.— Вокруг меня столько новых работников поднялось, столько товарищей моих, таких же

райкомщиков, пошло в гору, а я все тащу, тащу тот же воз. И привык! Сам не знаю — як, колысь воно началось, а привык. А привык — значит отстал...

Голос Шульги вдруг пресекся, и он в волнении схватился за голову большими своими руками.

Валько понимал, что Матвей Костиевич очищает душу свою перед смертью и нельзя теперь его уже ни укорять, ни оправдывать, и молча слушал его.

— Что может быть у нас самого дорогого на свете,— снова заговорил Шульга,— ради чего стоит жить, трудиться, умирать? То ж наши люди, человек! Да есть ли на свете что-нибудь красивше нашего человека? Сколько труда, невзгоды принял он на свои плечи за наше государство, за народное дело! В гражданскую войну осьмушку хлеба ел — не роптал, в реконструкцию стоял в очередях, драную одёжу носил, а не променял своего советского первородства на галантерею. И в эту Отечественную войну со счастьем, с гордостью в сердце понес он свою голову на смерть, принял любую невзгоду, труд, даже ребенок принял это на себя, не говоря уже о женщине,— а это ж все наши люди, такие же, як мы с тобой. Мы вышли из них, все лучшие, самые умные, талантливые, знатные наши люди,— все вышли из них, из простых людей!.. Не тебе говорить, что всю мою жизнь трудился я ради них... Да ведь знаешь, как у нас бывает: вертишься, вертишься ты в этих делах, а дела все самые важные, самые срочные, и вот уже не замечаешь, что дела идут сами по себе, а человек живет сам по себе... Ах, Андрий! Як уходил я от Лизы Рыбаловой, видал я там трех парубков и дивчину, сына ее и дочь, та двух их товарищей, як я понимаю... Андрий!.. Какие были у них глаза! Як воны подивились на меня! Как-то ночью проснулся я здесь, у камере, меня аж в дрожь кинуло. Комсомольцы! То ж наверняка комсомольцы! Як же я прошел мимо них? Как то могло случиться? Почему? А я знаю, почему. Сколько раз ко мне обращались комсомольцы района! «Дядько Матвий, сделай доклад ребятам об уборке, о севе, о плане развития нашего района, об областном съезде советов, да мало ли о чем». А я им: «Да некогда мне, да ну вас, комсомолия,— сами управляйтесь!» А иной раз не отбрыкаешься, согласишься, а потом так трудно этот доклад сделать! Тут, понимаешь, сводка в облземотдел, там оче-

редная комиссия по согласованию и размежеванию, а тут еще надо успеть к директору рудоуправления хоть на часок — ему, видишь ли, пятьдесят лет стукнуло, а мальчишке его исполнился год, и он так этим гордится, что справляет вроде именины и крестины; не придешь — обидится... Вот ты промежду этих дел, не подготовившись, и бежишь к комсомольцам на доклад. Говоришь по памяти, «в общем и целом», вытягиваешь из себя слова такие, що у самого скулы воротит, а у молодых людей и подавно. Ай, стыд! — вдруг сказал Матвей Костиевич, и его большое лицо побагровело, и он спрятал его в ладони.— Они ждут от тебя доброго слова, як им жить, а ты — «в общем и целом»... Кто есть первый воспитатель молодежи нашей? Учитель. Учитель! Слово-то какое!.. Мы с тобой кончали церковноприходскую школу, ты ее кончил лет на пять раньше, чем я, а и ты, наверно, помнишь учителя Николая Петровича. Он у нас на руднике учил ребят лет пятнадцать, пока от чахотки не помер. Я и сейчас помню, как он рассказывал нам, как устроен мир — солнце, земля и звезды, он, может, первый человек, который пошатнул в нас веру в бога и открыл глаза на мир... Учитель! Легко сказать! В нашей стране, где учится каждый ребенок, учитель — это первый человек. Будущее наших детей, нашего народа — в руках учителя, в его золотом сердце. Надо бы, завидев его на улице, за пятьдесят метров шапку сымать из уважения к нему. А я?.. Стыдно вспомнить, как каждый год, когда вставал у нас вопрос о ремонте школ, об отоплении, директора ловили меня в дверях кабинетов и клянчили лес, кирпич, известку, уголь. А я все отшучивался: не мое дело, мол, пускай районо занимается. И ведь не считал это для себя позором. Думал очень просто: план по углю выполнен, по хлебу перевыполнен, зябь поднята, мясо сдали, шерсть сдали, приветствие секретарю обкома послали,— меня теперь не тронь. Разве не правда?.. Поздненько, поздненько понял я все это, а все ж таки душе моей легче — оттого, что понял. Ведь сам-то я кто такой? — с улыбкой застенчивой, доброй и виноватой сказал Матвей Костиевич.—Я из самой плоти народа, из самого его низу, сын его и слуга. Я еще тогда, в семнадцатом году, как услышал Леонида Рыбалова, понял, что нет выше счастья, как служить народу, и с этого пошла

моя судьба коммуниста-работника. Помнишь то наше подполье, партизанство? Где мы, дети неграмотных отцов и матерей, нашли такую силу души и отвагу, чтобы выдержать и пересилить немцев-оккупантов, белых? Тогда казалось, вот оно, самое трудное,— пересилим, там будет легче. А самое трудное оказалось впереди. Помнишь, комитеты незаможних селян, продразверстка, кулацкие банды, махновщина и вдруг — бац! Нэп! Учись торговать. А? И что ж, стали торговать. И научились!

— А помнишь, як восстанавливали шахты? — вдруг с необычайным оживлением сказал Валько.— Меня ж тогда,— я как раз демобилизовался,— выдвинули директором той самой наклонной старухи, что теперь выработалась. Ото было дело. Ай-яй-яй!.. Хозяйственного опыта никакого, спецы саботируют, механизмы стоят, электричества нет, банк не кредитует, рабочим платить нечем, и Ленин шлет телеграммы — давайте уголь, спасайте Москву и Питер! Для меня те телеграммы были, як святое заклятие. Я Ленина бачив, ось як тебе, еще на Втором съезде советов, в Октябрьский переворот — тогда я був ще солдатом-фронтовиком. Я, помню, подошел до него и пощупал его рукой, бо не мог поверить, що то живой человек, як я сам... И что ж? Дал уголь!

— Да, правда...— радостно сказал Шульга.— А сколько же за эти годы вытянул на своих плечах наш брат укомщик та райкомщик! Сколько шишек свалилось на нашу голову! Кого так ругали за годы советской власти, как нашего брата райкомщика! Наверно, сколько было и есть работников у советской власти, никому не выпадало столько выговоров, як нам! — с счастливым выражением лица говорил Матвей Костиевич.

— Ну, в этом вопросе, я думаю, наш брат хозяйственник вам не уступит, — с усмешкой сказал Валько.

— Нет, правда,— сказал Шульга проникновенным голосом,— как я себя ни ругал, а все-таки нашему брату райкомщику надо памятник поставить в веках. Я вот все говорил — план, план... А попробуй-ка ты из года в год, из года в год, день за днем, как часы, миллионы гектаров земли вспахать, посеять, убрать хлеб, обмолотить, сдать государству, распределить по трудодням.

А мельничный помол, а свекла, а подсолнух, а шерсть, а мясопоставки, а развитие поголовья скота, а ремонт тракторов и всей нашей техники, какой и во всем мире нет, и даже не снилась она им!.. Ведь каждый наш человек хочет хорошо одеться, поесть да еще чайку с сахарком попить. Вот и вертится сердечный наш райкомщик, как белка в колесе, чтобы удовлетворить эту потребность человека. Наш райкомщик, можно сказать, всю Отечественную войну вытягивает на своих плечах по хлебу да по сырью...

— А хозяйственник?! — сказал Валько одновременно и возмущенно и восторженно.— Вот уж кому, правда, памятник поставить, так это ему! Вот уж кто вытащил на себе пятилетки, и первую и вторую, и тащит на себе всю Отечественную войну, так это он! Хиба ж не правда? Разве на селе — то план? В промышленности — вот то план! Разве на селе — то темп? В промышленности — вот то темп! Какие мы научились заводы строить— чистые, элегантные, як часы! А наши шахты? Разве есть у капиталистов хоть одна шахта, як наша один-бис? Конфетка! И они ведь, капиталисты, привыкли на всем готовом. А мы с нашим темпом, с нашим размахом всегда в напряжении: рабочих людей недостача, строительного материала недостает, транспорт отстает, тысяча и одна больших и малых трудностей, а мы все идем и идем вперед. Нет, наш хозяйственник — это гигант!

— То-то вот и оно! — с веселым, счастливым лицом говорил Шульга.— Я помню, на колхозном совещании в Москве вызвали нас на комиссию по резолюции, и там зашел разговор о нашем брате райкомщике. Один такой, в очках, молоденький, из красных профессоров, як их тогда звали, стал о нашем брате, райкомщике, говорить свысока: и отсталые-де мы, и Гегеля не читали, и вроде того, что не каждый день умываемся. Ну, там ему сказали: «Вот вас бы на выучку к райкомщикам, тогда бы вы поумнели...» Ха-ха-ха! — развеселился Шульга.— Я ж тогда считался знатоком деревни, не как-нибудь — меня кидали из села в село, на помощь мужикам по раскулачиванию и по коллективизации... Нет, то великое время было, разве его забудешь? Весь народ пришел в движение. Не знали, когда и спали... Многие мужики тогда колебались. А уже вот перед войной

даже самый отсталый почувствовал великие плоды тех лет... И правда, ведь лучше стали жить перед войной!

— А помнишь, что у нас тогда на шахтах творилось? — сказал Валько, поблескивая своими цыганскими глазами. — Я несколько месяцев и на квартире у себя не был, на шахте ночевал. Ей-богу, сейчас, как оглядываешься — и не веришь: да неужто же это мы все сами сделали? Иной раз, честное слово, кажется, что не я сам это все проделывал, а какой-то мой ближний родственник. Сейчас вот закрою глаза и вижу весь наш Донбасс, всю страну в стройке и все наши штурмовые ночи...

— Да, никакому человеку в истории не выпадало столько, сколько выпало нам на плечи, а видишь, не согнулись. Вот я и спрашиваю: что ж мы за люди? — с наивным, детским выражением сказал Шульга.

— А враги, дурни, думают, що мы смерти боимся! — усмехнулся Валько. — Да, мы, большевики, привыкли к смерти. Нас, большевиков, какой только враг не убивал! Убивали нас царские палачи и жандармы, убивали юнкера в Октябре, убивали беляки, интервенты всех стран света, махновцы и антоновцы, кулаки по нас стреляли из обрезов, а мы все живы любовью народной. Нехай убьют и нас с тобой немцы-фашисты, а все ж таки им, а не нам лежать в земле. Правда, Матвий?

— То великая, то святая правда, Андрий!.. На веки вечные буду я горд тем, що судьба судила мне, простому рабочему человеку, пройти свой путь жизни в нашей партии, що открыла дорогу людям до счастливой жизни...

— Святая правда, Матвий, то наше великое счастье! — с чувством, неожиданным в этом суровом человеке, сказал Валько. — И еще выпала мне счастливая доля: в мой смертный час иметь такого товарища, як ты, Матвий...

— Великое, доброе спасибо тебе за честь... Я сразу понял, какая у тебя красивая душа, Андрий...

— Дай же бог счастья нашим людям, что останутся после нас на земли! — тихо, торжественно сказал Валько.

Так в свой предсмертный час исповедовались друг перед другом и перед своей совестью Андрей Валько и Матвей Шульга.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер отбыли в окружную жандармерию в город Ровеньки, километрах в тридцати от Краснодона, после полудня. Петер Фенбонг, ротенфюрер команды СС, прикомандированной к краснодонскому жандармскому пункту, знал, что майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер повезли в окружную жандармерию материалы допроса и должны получить приказ, как поступить с арестованными. Но Петер Фенбонг уже знал по опыту, каков будет приказ, как знали это и его шефы, потому что перед своим отъездом они отдали приказание Фенбонгу оцепить солдатами СС территорию парка и никого не пропускать в парк, а отделение солдат жандармерии под командой сержанта Эдуарда Больмана было направлено в парк рыть большую яму, в которой могли бы уместиться, стоя вплотную один к другому, шестьдесят восемь человек.

Петер Фенбонг знал, что шефы вернутся не раньше как поздним вечером. Поэтому он отправил своих солдат к парку под командованием младшего ротенфюрера, а сам остался в дворницкой при тюрьме.

В последние месяцы у него было очень много работы, и он был всегда поставлен в такое положение, что ни минуты не оставался один и ему не удавалось не только вымыться с ног до головы, но даже сменить белье, потому что он боялся, что кто-нибудь увидит, что он носит на теле под бельем.

Когда уехали майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер и ушли в парк солдаты СС и солдаты жандармерии и все стихло в тюрьме, унтер Фенбонг прошел к повару на тюремную кухню и попросил у него кастрюлю горячей воды и таз, чтобы умыться,— холодная вода всегда стояла в бочке, в сенях дворницкой.

Впервые после многих жарких дней подул холодный ветер и погнал по небу низкие, набухшие дождем облака; день был серый, похожий на осенний, и вся природа

этих угольных районов,— не говоря уже об открытом всем ветрам городке с его стандартными домами и угольной пылью,— обернулась своими самыми неприглядными сторонами. В дворницкой было достаточно светло, чтобы умыться, но Петер Фенбонг хотел, чтобы его не только не захватили здесь врасплох, но и не могли бы увидеть его через окно, поэтому он опустил черную бумагу на окна и включил свет.

Как ни привык он с начала войны жить так, как он жил, как ни притерпелся к собственному дурному запаху, все-таки он испытывал невыразимое наслаждение, когда наконец-то смог снять все с себя и побыть некоторое время голым, без этой тяжести на теле. Он был полным от природы, а с годами стал просто грузнеть и сильно потел под своим черным мундиром. Белье, не сменявшееся несколько месяцев, стало склизким и вонючим от пропитавшего его и прокисшего пота и изжелта-черным от линявшего с изнанки мундира.

Петер Фенбонг снял белье и остался совсем голым, с телом давно не мытым, но белым от природы, поросшим по груди и по ногам и даже немного по спине светлым курчавым волосом. И когда он снял белье, обнаружилось, что он носит на теле своеобразные вериги. Это были даже не вериги, это походило скорее на длинную ленту для патронов, какую носили в старину китайские солдаты. Это была разделенная на маленькие карманчики, каждый из которых был застегнут на пуговичку, длинная лента из прорезиненной материи, обвивавшая тело Петера Фенбонга крест-накрест через оба плеча и охватывавшая его повыше пояса. Сбоку она была стянута замызганными белыми тесемками, завязанными бантиком. Большая часть этих маленьких, размером в обойму, карманчиков была туго набита, а меньшая часть была еще пуста.

Петер Фенбонг распустил тесемки у пояса и снял с себя эту ленту. Она так давно облегала его тело, что на этом белом полном теле, крест-накрест по спине и груди и ободом повыше пояса, образовался темный след того нездорового цвета, какой бывает от пролежней. Петер Фенбонг снял ленту и аккуратно и бережно,— она была действительно очень длинная и тяжелая,— положил ее на стол и сразу стал яростно чесаться. Он ожесточенно, яростно расчесывал все свое тело короткими тупыми

пальцами, расчесывал себе грудь, и живот, и ноги, и все старался добраться до спины, то через одно плечо, то через другое, то заламывал правую руку снизу, под лопатку, и чесал себя большим пальцем, кряхтя и постанывая от наслаждения.

Когда он немного удовлетворил свой зуд, он бережно отстегнул пуговицу внутреннего кармана мундира и вынул маленький, похожий на кисет кожаный мешочек, из которого он высыпал на стол штук тридцать золотых зубов. Он хотел было распределить их в два-три еще не заполненных карманчика ленты. Но раз уж ему повезло остаться одному, он не удержался, чтобы не полюбоваться содержимым других наполненных карманчиков,— он так давно не видел всего этого. И он, аккуратно расстегивая пуговичку за пуговичкой, стал раскладывать по столу содержимое карманчиков отдельными кучками и стопками и вскоре обложил ими весь стол. Да, было на что посмотреть!

Здесь была валюта многих стран света — американские доллары и английские шиллинги, франки французские и бельгийские, кроны австрийские, чешские, норвежские, румынские леи, итальянские лиры. Они были подобраны по странам, золотые монеты к золотым, серебряные к серебряным, бумажки к бумажкам, среди которых была даже аккуратная стопка советских «синеньких», то есть сотенных, от которых он, правда, не ожидал никакой материальной выгоды, но которые все же оставил у себя, потому что жадность его уже переросла в маниакальную страсть коллекционирования. Здесь были кучки мелких золотых предметов — колец, перстней, булавок, брошек — с драгоценными камнями и без них и отдельно кучки драгоценных камней и золотых зубов.

Тусклый свет электрической лампочки под потолком, засиженной мухами, освещал эти деньги и драгоценности на столе, а он сидел перед ними на табурете, голый, лысый, волосатый, в светлых роговых очках, расставив ноги и все еще изредка почесываясь, возбужденный и очень расположенный к самому себе.

Несмотря на обилие этих мелких предметов и денег, он мог бы, разбирая каждую денежку и каждую безделушку, рассказать, где, когда, при каких условиях и

у кого он ее отобрал или с кого снял и у кого были вырваны зубы, потому что с того самого момента, как он пришел к выводу, что он должен делать это, чтобы не остаться в дураках, он лишь этим и жил,— все остальное было уже только видимостью жизни.

Зубы он вырывал не только у мертвых, а и у живых, но все же он предпочитал мертвых, у которых можно было рвать их без особых хлопот. И когда в партии арестованных он видел людей с золотыми зубами, он ловил себя на том, что ему хотелось, чтобы скорей кончалась вся эта процедура допросов и чтобы этих людей скорей можно было умертвить.

Их было так много, умерщвленных, истерзанных, ограбленных, мужчин, женщин, детей, стоящих за этими денежками, зубами и безделушками, что, когда он смотрел на все это, к чувству сладостного возбуждения и расположения к самому себе всегда примешивалось и некоторое беспокойство. Оно исходило, однако, не от него самого, Петера Фенбонга, а от некоего воображаемого очень прилично одетого господина, вполне джентльмена, с перстнем на полном мизинце, в мягкой дорогой светлой шляпе, с лицом гладко выбритым, корректным и преисполненным осуждения по отношению к Петеру Фенбонгу.

Это был очень богатый человек, богаче Петера Фенбонга со всеми его драгоценностями. Но все же этот человек считал себя вправе осуждать Петера Фенбонга за его способ обогащения, считая этот способ как бы грязным. И с этим джентльменом Петер Фенбонг вел нескончаемый спор, очень, впрочем, добродушный, так как говорил только один Петер Фенбонг, стоящий в этом споре на гораздо более высоких и твердых позициях современного делового человека, знающего жизнь.

«Хе-хе,— говорил Петер Фенбонг,— в конце концов я вовсе не настаиваю, что я буду заниматься этим всю жизнь. В конце концов я стану обыкновенным промышленником или торговцем, или просто лавочником, если хотите, но я должен с чего-нибудь начать! Да, я прекрасно знаю, что вы думаете о себе и обо мне. Вы думаете: «Я — джентльмен, все мои предприятия на виду, каждый видит источник моего благосостояния; у меня семья, дети; я чисто вымыт, опрятно одет и учтив

с людьми, я могу прямо смотреть им в глаза; если женщина, с которой я говорю, стоит, я тоже стою; я читаю газеты, книги, состою в двух благотворительных обществах и пожертвовал солидные средства на оборудование лазаретов в дни войны; я люблю музыку, цветы и лунный свет на море. А Петер Фенбонг убивает людей ради их денег и драгоценностей, которые он присваивает. Он даже не гнушается вырывать у людей золотые зубы и прятать все это на теле, чтобы никто не видел. Он вынужден месяцами не мыться и дурно пахнет, и поэтому я имею право осуждать его»... Хе-хе, позвольте, мой милейший и почтеннейший друг! Не забудьте, что мне сорок пять лет, я был моряком, я изъездил все страны мира, и я видел решительно все, что происходит на свете!.. Не знакома ли вам картина, которую я, как моряк, побывавший в далеких странах, не раз имел возможность наблюдать: как ежегодно где-нибудь в Южной Африке, в Индии или в Индокитае миллионы людей умирают голодной смертью, так сказать, на глазах почтеннейшей публики? Впрочем, зачем же ходить так далеко! Даже в благословенные годы довоенного процветания вы могли бы видеть почти во всех столицах мира целые кварталы, населенные людьми, не имеющими работы, умирающими на глазах почтеннейшей публики, иногда даже на папертях старинных соборов. Очень трудно согласиться с мыслью, что они умирают, так сказать, по собственной прихоти! А кто же не знает, что некоторые почтеннейшие люди, вполне джентльмены, когда им это выгодно, не стесняются выбрасывать на улицу из своих предприятий миллионы здоровых мужчин и женщин. И за то, что эти мужчины и женщины плохо мирятся со своим положением, их ежегодно в громадных количествах морят в тюрьмах или просто убивают на улицах и площадях, убивают вполне законно, с помощью полиции и солдат!.. Я привел вам несколько разнообразных способов,— я мог бы их умножить,— способов, которыми на земном шаре ежегодно умерщвляют миллионы людей, и не только здоровых мужчин, а и детей, женщин и стариков,— умерщвляют, собственно говоря, в интересах вашего обогащения. Я уже не говорю о войнах, когда в кратчайшие сроки производится особенно большое умерщвление людей в интересах вашего обогащения.

Милейший и почтеннейший друг! Зачем же нам играть в прятки? Скажем друг другу чистосердечно: если мы хотим, чтобы на нас работали другие, мы должны ежегодно, тем или иным способом, некоторое число их убивать! Во мне вас пугает только то, что я нахожусь, так сказать, у подножия мясорубки, я чернорабочий этого дела, и по роду своих занятий вынужден не мыться и дурно пахнуть. Но согласитесь, что вы никогда не могли обходиться без таких, как я, а чем дальше идет время, тем вы все больше и больше нуждаетесь во мне. Я плоть от вашей плоти, я ваш двойник, я — это вы, если вас вывернуть наизнанку и показать людям, каковы вы на самом деле. Придет время, я тоже вымоюсь и буду вполне опрятным человеком, просто лавочником, если хотите, и вы сможете покупать у меня для своего стола вполне доброкачественные сосиски...»

Такой принципиальный спор вел Петер Фенбонг с воображаемым джентльменом с гладко выбритым, корректным лицом и в хорошо проглаженных брюках. И на этот раз, как всегда, одержав победу над джентльменом, Петер Фенбонг пришел в окончательно добродушное настроение. Он запрятал кучки денег и ценностей в соответствующие кармашки и аккуратно застегнул кармашки на пуговички, после чего стал мыться, пофыркивая и повизгивая от наслаждения и разливая по полу мыльную воду, что, впрочем, его совершенно не беспокоило: придут солдаты и подотрут.

Он вымылся не так уж начисто, но все же облегчил себя, снова обвил и перепоясал себя лентой, надел чистое белье, спрятал грязное и облачился в свой черный мундир. Потом он чуть отогнул черную бумагу и выглянул в окно, и ничего не увидел, так было темно во дворе тюрьмы. Опыт, уже превратившийся в инстинкт, подсказал ему, что шефы вот-вот должны прибыть. Он вышел во двор и некоторое время постоял у дворницкой, чтобы привыкнуть к темноте, но к ней нельзя было привыкнуть. Холодный ветер нес над городом, над всей донецкой степью тяжелые темные тучи, их тоже не видно было, но казалось, что они шуршат, обгоняя и задевая одна другую влажными и шерстистыми боками.

И в это время Петер Фенбонг услышал приближающийся приглушенный звук мотора и увидел две ог-

ненные точки полуприкрытых фар машины, спускавшейся с горы мимо здания — раньше районного исполкома, а теперь районной сельскохозяйственной комендатуры,— которое при свете фар чуть выступило из тьмы одним своим крылом. Шефы возвращались из окружной жандармерии. Петер Фенбонг прошел через двор и черным ходом, охранявшимся солдатом жандармерии, узнавшим ротенфюрера и отдавшим ему честь ружьем, вошел в зданьице тюрьмы.

Заключенные в камере тоже слышали, как машина с приглушенным мотором подошла к тюрьме. И та необыкновенная тишина, которая стояла в тюрьме весь день,— эта тишина была сразу нарушена шагами по коридору, щелканьем ключа в замке, хлопаньем дверей и поднявшейся в камерах возней и этим знакомым, ранящим в самое сердце плачем ребенка в дальней камере. Он вдруг поднялся до пронзительного надрывного крика, этот плач,— ребенок кричал с предельным напряжением, из последних сил, он уже хрипел.

Матвей Костиевич и Валько слышали эту приближающуюся к ним возню в камерах и плач ребенка. Иногда им казалось, что они слышат голос женщины, которая что-то горячо говорила, кричала и умоляла и тоже, кажется, заплакала. Потом щелкнул ключ в замке, жандармы вышли из камеры, где сидела женщина с ребенком, и зашли в соседнюю, где сразу поднялась возня. Но и тогда сквозь эту возню, казалось, доносился необыкновенно печальный и нежный голос женщины, уговаривающей ребенка, и затихающий, словно убаюкивающий самого себя голос ребенка:

— А... а... а... А... а... а...

Жандармы вошли в камеру, соседнюю с той, где сидели Валько и Матвей Костиевич, и оба они поняли смысл той возни, что возникала в камерах с приходом жандармов: жандармы связывали заключенным руки.

Их последний час наступил.

В соседней камере было много народу, и жандармы пробыли там довольно долго. Наконец они вышли, замкнули камеру, но не сразу вошли к Валько и Костиевичу. Они стояли в коридоре, обмениваясь торопливыми замечаниями, потом по коридору кто-то побежал к выходу. Некоторое время стояла тишина, в которой слышны были только бубнящие голоса жандармов. По-

том по коридору зазвучали шаги нескольких человек, приближавшихся к камере, раздался удовлетворенный возглас по-немецки, и в камеру, осветив ее электрическими фонариками, вошло несколько жандармов во главе с унтером Фенбонгом; они держали револьверы на изготовку; в дверях виднелось еще человек пять солдат. Видно, жандармы боялись, что эти двое, как всегда, окажут им физическое сопротивление. Но Матвей Костиевич и Валько даже не посмеялись над ними; их души были уже далеко от этой суеты сует. Они спокойно дали связать руки за спиной, а когда Фенбонг знаками показал, что они должны сесть и им свяжут ноги, они дали связать ноги, и им наложили на ноги путы, чтобы можно было только ступать мелким шагом и нельзя было убежать.

После того их снова оставили одних, и они молча просидели в камере еще некоторое время, пока немцы не перевязали всех заключенных.

И вот зазвучал в коридоре мерный и быстрый топот шагов: он все нарастал, пока не заполнил всего коридора,— солдаты отбивали шаг на месте и по команде стали и повернулись, грохнув ботинками и взяв ружья к ноге. Загрохотали двери камер, и заключенных начали выводить в коридор.

Как ни тускло светили в коридоре лампочки под потолком, Матвей Костиевич и Валько невольно зажмурились, так долго они пробыли в темноте. Потом они стали оглядывать своих соседей и тех, кто стоял дальше в шеренге — в том и в другом конце коридора.

Через одного человека от них стоял, также со спутанными ногами, как и они, рослый пожилой босой мужчина в окровавленном нижнем белье. И Валько и Матвей Костиевич невольно отшатнулись, признав в этом человеке Петрова. Все тело его было так истерзано, что белье влипло в него, как в сплошную рану, и присохло,— должно быть, каждое движение доставляло этому сильному человеку невыносимые мучения. Одна щека его была развалена до кости ударом ножа или штыка и гноилась. Петров узнал их и склонил перед ними голову.

Но что заставило Валько и Матвея Костиевича содрогнуться от жалости и гнева,— это то, что они уви-

дели в дальнем конце коридора, у выхода из тюрьмы, куда с выражением страдания, ужаса и изумления смотрели почти все заключенные. Там стояла молодая, с измученным, но сильным по выражению лицом женщина, в бордовом платье, с ребенком на руках, и руки ее, обнимавшие ребенка, и самое тело ребенка были так скручены веревками, что ребенок был наглухо и навечно прикреплен к телу матери. Ребенку еще не было и года, его нежная головенка с редкими светлыми волосиками, чуть завивавшимися на затылке, лежала на плече у матери, глаза были закрыты, но он не был мертв,— ребенок спал.

Матвей Костиевич вдруг представил свою жену и детей, и слезы брызнули у него из глаз. Он боялся, что жандармы, да и свои люди увидят эти слезы и неправильно подумают о Шульге. И он был рад, когда унтер Фенбонг наконец пересчитал заключенных и их вывели во двор между двумя шеренгами солдат.

Ночь была так черна, что люди, стоявшие рядом, не могли видеть друг друга. Их построили в колонну по четыре, оцепили, вывели за ворота и, освещая путь и самую колонну электрическими фонариками, вспыхивавшими то спереди, то сзади, то с боков, повели по улице в гору. Холодный ветер, однообразно, с ровным напряжением несшийся над городом, обвил их своими сырыми струями, и слышен стал влажный шорох туч, мчавшихся так низко над головой, что, казалось, до них можно было бы достать рукою. Люди жадно хватали ртом воздух. Колонна шла медленно, в полном безмолвии. Изредка унтер Фенбонг, шагавший впереди, оборачивался и направлял свет большого, висевшего на руке фонаря на колонну, и тогда снова выступала из тьмы женщина с привязанным к ней ребенком, шагавшая крайней в первой шеренге,— ветер заносил вбок подол ее бордового платья.

Матвей Костиевич и Валько шли рядом, касаясь друг друга плечом. Слез уже не было на глазах Матвея Костиевича. Чем дальше они шли, Валько и Матвей Костиевич, тем все дальше и дальше отходило от них все то личное, даже самое важное и дорогое, что подспудно так трогало и волновало их до самой последней минуты и не хотело отпустить из жизни. Величие осенило их своим крылом. Невыразимый ясный покой опу-

стился на их души. И они, подставляя лица ветру, молча и тихо шли навстречу своей гибели под этими низко шуршавшими над головой тучами.

У входа в парк колонна остановилась. Некоторое время унтер Фенбонг, сержант жандармерии Эдуард Больман и младший ротенфюрер, командовавший солдатами СС, охранявшими парк, при свете электрического фонаря рассматривали бумагу, которую унтер Фенбонг достал из внутреннего кармана мундира.

После этого сержант пересчитал людей в колонне, освещая их короткими вспышками фонаря.

Ворота медленно, со скрипом распахнулись. Колонну перестроили по двое и повели главной аллеей, между зданиями клуба имени Ленина и школой имени Горького, где помещался теперь дирекцион объединенных предприятий, входивших ранее в трест «Краснодонуголь». Но почти сразу за школой унтер Фенбонг и сержант Больман свернули в боковую аллею. Колонна свернула за ними.

Ветер сгибал деревья и заносил листву в одном направлении, и шум трепещущей, бьющейся листвы, немолчный, многоголосо-однообразный, наполнял собой все пространство тьмы вокруг.

Их привели на тот запущенный, мало посещаемый даже в хорошие времена край парка, что примыкал к пустырю с одиноким каменным зданием немецкой полицейской школы. Здесь посреди продолговатой поляны, окруженной деревьями, была выкопана длинная яма. Еще не видя ее, люди почувствовали запах вывороченной сырой земли.

Колонну раздвоили и развели по разные стороны ямы, разлучив Валько и Костиевича. Люди стали натыкаться на бугры вывороченной земли и падать, но их тут же подымали ударами прикладов.

И вдруг десятки фонариков осветили эту длинную темную яму, и валы вывороченной земли по бокам ее, и измученные лица людей, и отливавшие сталью штыки немецких солдат, оцеплявших поляну сплошной стеной. И все, кто стоял у ямы, увидели у ее окончания, под деревьями, майстера Брюкнера и вахтмайстера Балдера в накинутых на плечи черных прорезиненных плащах. Позади, немного сбоку от них, грузный, серый, багро-

вый, с выпученными глазами, стоял бургомистр Василий Стаценко.

Майстер Брюкнер сделал знак рукой. Унтер Фенбонг высоко поднял над головой фонарь, висевший на его руке, и тихо скомандовал своим сиплым бабьим голосом. Солдаты шагнули вперед и штыками стали подталкивать людей к яме. Люди, спотыкаясь, увязая ногами и падая, молча взбирались на валы земли. Слышно было только сопенье солдат и шум бьющейся на ветру листвы.

Матвей Шульга, тяжело ступая, насколько позволяли ему спутанные ноги, поднялся на вал. Он увидел при вспышке фонариков, как людей сбрасывали в яму; они спрыгивали или падали, иные молча, иные с протестующими или жалобными возгласами.

Майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер недвижимо стояли под деревьями, а Стаценко истово, в пояс, кланялся людям, которых сбрасывали в яму,— он был пьян.

И снова Шульга увидел женщину в бордовом платье, с привязанным к ней ребенком, который, ничего не видя и не слыша, а только чувствуя тепло матери, по-прежнему спал, положив голову ей на плечо. Чтобы не разбудить его,— не имея возможности двигать руками, она села на валу и, помогая себе ногами, сама сползла в яму. Больше Матвей Шульга никогда ее не видел.

— Товарищи! — сказал Шульга хриплым, сильным голосом, покрывшим собой все остальные шумы и звуки.— Прекрасные мои товарищи! Да будет вам вечная память и слава! Да здравствует...

Штык вонзился ему в спину меж ребер. Шульга, напрягши всю свою могучую силу, не упал, а спрыгнул в яму, и голос его загремел из ямы:

— Да здравствует великая коммунистическая партия, що указала людям путь к справедливости!

— Смерть ворогам! — грозно сказал Андрей Валько рядом с Шульгой: судьба судила им вновь соединиться — в могиле.

Яма была так забита людьми, что нельзя было повернуться. Наступило мгновение последнего душевного напряжения: каждый готовился принять в себя свинец. Но не такая смерть была уготована им. Целые лавины земли посыпались им на головы, на плечи, за вороты

рубах, в рот и глаза, и люди поняли, что их закапывают живыми.

Шульга, возвысив голос, запел:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...

Валько низко подхватил. Все новые голоса, сначала близкие, потом все более дальние, присоединялись к ним, и медленные волны «Интернационала» неслись из-под земли к темному, тучами несущемуся над миром небу.

В этот темный, страшный час в маленьком домике на Деревянной улице тихо отворилась дверь, и Мария Андреевна Борц и Валя, и еще кто-то небольшого роста, тепло одетый, с котомкой за плечами и палкой в руке, сошли с крыльца.

Мария Андреевна и Валя взяли человека за обе руки и повели по улице в степь. Ветер подхватывал их платья.

Через несколько шагов этот человек остановился.

— Темно, лучше тебе вернуться,— сказал он почти шепотом.

Мария Андреевна обняла его, и так они постояли некоторое время.

— Прощай, Маша,— сказал он и беспомощно махнул рукой.

И Мария Андреевна осталась, а они пошли, отец и дочь, не отпускавшая его руки. Валя должна была сопровождать отца до того, как начнет светать. А потом, как ни был он плох глазами, ему предстояло самому добираться до города Сталино, где он предполагал укрыться у родственников жены.

Некоторое время Мария Андреевна еще слышала их шаги, потом и шагов не стало слышно. Беспросветная холодная чернота двигалась вокруг, но еще чернее было у Марии Андреевны на душе. Вся жизнь — работа, семья, мечты, любовь, дети — все это распалось, рушилось, впереди ничего не было.

Она стояла, не в силах стронуться с места, и ветер, свистя, обносил платье вокруг нее, и слышно было, как низко-низко тихо шуршат тучи над головой.

И вдруг ей показалось — она сходит с ума... Она прислушалась... Нет, ей не почудилось, она снова услышала это... Поют! Поют «Интернационал»... Нельзя было определить источник этого пения. Оно вплеталось в вой ветра и шорох туч и вместе с этими звуками разносилось по всему темному миру.

У Марии Андреевны, казалось, остановилось сердце, и все тело ее забилось дрожью.

Словно из-под земли, доносилось до нее:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем...

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Александрович
ФАДЕЕВ
Собрание сочинений
в четырех томах
Том III
Редактор тома
М. Г. Гринева
Оформление художника
Р. И. Боролина
Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 28.08.79. Подписано к печати 09.01.80.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 20,58. Уч.-изд. л. 20,91. Тираж 600 000 экз.
Изд. № 3019. Заказ № 1171. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70684

